Т. Г. ШЕВЧЕНКО



НЕВНИК



A C A D E M I A


ACADEMIA

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ДНЕВНИК

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1931

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ДНЕВНИК

Предисловие А. Старчакова, редакция, вступительная статья и примечания С. П. Шестерикова.

ACADEMIA
МОСКВА – ЛЕНИНГРАД
1931

Портрет Шевченко, обложка, супер-обложка. заставка и концовка исполнены гравюрой на дереве худ. П. А. Шиллинговским

Ленинград. Областлит № 64829
Тираж 4000 экземпляров.
4-я типография ОГИЗ'а
Ленинград.
Ул. Правды, 15.
Зак. № 11382


1931
Т. Шевченко

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

День 5 апреля 1847 года Шевченко провел в пути. Он торопился из Седнева в Киев, где его ожидали друзья. Это был сияющий период в жизни поэта. „Кобзарь“, вышедший первым изданием в 1840 году, был восторженно встречен на родной Украине. Корифей украинской литературы—Квитка в письме к Шевченку так говорил о впечатлении, которое произвел на читателей „Кобзарь“:

„Начали читать. Жена плачет. Я прижал вашу книгу к сердцу. Хорошо, очень хорошо... Больше не умею сказать...“

Шевченка читала не только украинская интеллигенция. „Кобзаря“ можно было найти и под бедной стріхой (крышей) крепостной хаты и в неприглядном углу дворового раба. Один из современников рассказывает, что вся крепостная дворня помещицы Сухановой знала наизусть его „Кобзаря“. Небольшая зачитанная книжка переходила из поварской в переднюю, из кучерской в буфетную.

„Я—мужицкий поэт“,—говорил о себе Шевченко. Белинский, не понявший значения—литературного и политического—„Кобзаря“ (эту крупнейшую ошибку „неистового Виссариона“ почему-то принято замалчивать), иронизировал по адресу Шевченка: „Хороша литература, которая только и дышит что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума“.

Но Шевченко был не только мастером слова, но и мастером кисти. Его работы были уже отмечены несколькими

наградами Академии художеств. Ученик знаменитого Брюллова,—Карла Великого, как называли в кругу художников творца „Последнего дня Помпеи“ и „Осады Пскова“, —Шевченко в те дни собирался в Италию для завершения своего художественного образования. Казалось, ничто не омрачало ясный небосклон.

Под Киевом, в Броварах, поэт переоделся в необычное для него одеяние: он сменил дорожную свитку и вышитую украинскую рубаху на фрак и белый галстук—поэт должен был присутствовать на свадьбе Н. И. Костомарова, будущего известного историка и писателя, близкого друга Шевченка и товарища по тайному—Кирилло-Мефодиевскому обществу.

Шумный паром причалил к берегу. Вместе с другими Шевченко сошел на берег. Но тут же на берегу он был арестован и отвезен к киевскому губернатору. Из разговора с губернатором Шевченко понял, что свадебное торжество расстроено бесповоротно, что его товарищи по обществу уже в тюрьме.

— Что это вы, Тарас Григорьевич, во фраке и белом галстуке?—иронически спросил поэта губернатор.

— Я спешил на свадьбу к Костомарову. Я приглашен к нему шафером,—ответил поэт.

— Ну куда жениха, туда повезут и шафера.

— Добре весилля!—со свойственным ему юмором заметил Шевченко.

Год тому назад, в апреле 1846 года, поэт примкнул к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Если Н. И. Костомаров был душой украинского славянофильства, организатором и вдохновителем общества, то Шевченко был его пламенным и неутомимым пропагандистом. Всюду, где только он мог,—будь то базарная площадь или шинок,—Шевченко говорил о днях, когда „уси славяне станут добрыми братами и сынами сонця правды“. О царях московских,

уничтожающих национальную независимость Украины, о смертной муке крепостной—„кріпацской“—массы, о хищных и жадных панах, поэт пророчил: скоро, скоро не останется и „сліду панського на Вкраїні“. И тогда забудется позор национального порабощения, „забудеться срамотня, давняя година і оживе добра слава, слава Україні“.

Через двенадцать дней после ареста квартальный надзиратель Гришков домчал поэта на перекладных в Петербург и сдал его в третье отделение, куда уже были доставлены другие члены Кирилло-Мефодиевского общества. К концу мая следствие было закончено. Шеф корпуса жандармов, граф Орлов, лично руководивший следствием, отнесся довольно милостиво к членам общества. Мечты украинских славянофилов о всеславянском объединении, об уничтожении племенной и религиозной розни между славянскими племенами не содержали в себе ничего угрожающего „видам правительства“. Правда, украинские славянофилы были демократичнее своих московских собратьев. Слияние „славянских ручьев“ в велико-русском море их не привлекало. Будущее рисовалось им в образе федерации славянских государств, возглавляемых сеймом, где депутаты от всех республик решали бы дела, относящиеся ко всему славянскому союзу. Правда, учредители Кирилло-Мефодиевского общества считали необходимым отмену крепостного права и распространение грамоты среди крестьян.

Но дело в том, что планы эти носили весьма отвлеченный, не связанный с конкретной действительностью, характер. Это сознавал и сам учредитель общества Н. Костомаров. „Мы не могли, — говорит он, — уяснить в подробности образ, в каком должна была явиться наша воображаемая федерация государств. Создать этот образ мы предоставляли будущей истории“.

К тому же арестованные сумели убедить судей, что переустройство должно было совершаться не революцион-

ными методами, но исключительно путем мирной пропаганды и чуть ли не при ближайшем содействии русского царя.

В докладе шефа жандармов по делу общества мы читаем: „Цель общества заключалась в соединении славянских племен под скипетром русского императора. Средствами для достижения цели предполагалось воодушевление славянских племен к уважению и собственной народности и водворению между славянами согласия“. В этом же докладе мы находим следующую характеристику украинских славянофилов: „В мыслях их никогда не было ни народных потрясений, ни возмущений, ни преобразования законных властей в России, а тем более каких-либо вооруженных движений“.

Но, „дабы отвратить других славянофилов от подобного направления“, решено было наложить на членов общества некоторые взыскания. Гулак и Костомаров заплатили за свои панславистские мечты четырьмя годами крепости и страхом на всю жизнь перед жандармами—о последнем есть несколько любопытных страниц в записках А. Я. Панаевой. Другие отделались гауптвахтой и перемещением по службе.

И только Шевченко, оправданный следствием и сумевший доказать обвинителям свою мнимую непричастность к обществу, понес тягчайшее наказание. „Как одаренный крепким телосложением“ (официальная мотивировка), Шевченко был определен рядовым в оренбургский отдельный корпус со строжайшим запретом писать и рисовать. Дело в том, что среди прочих бумаг, взятых при обыске, у Шевченки была отобрана и поэма „Сон“, пропитанная пламенной ненавистью к самодержавию и крепостникам и к тому же изливавшая „с невероятной дерзостью клеветы и желчь на особ императорского дома“. Поэма „Сон“ и стала главной уликой при его осуждении. Стихи поэта

показались шефу жандармов несравненно страшней славянофильских мечтаний Костомарова и его единомышленников.

„Сон“ изображал сатирически двор Николая I, — поэт не пожалел красок для портрета жены царя, Александры Федоровны. В своей поэме Шевченко обращался к читателю с вопросом: „Долго ль будут править нами палачи лихие?“ Поэма Шевченка крепко запомнилась „самодержавным хозяевам земли русской“. Уже после смерти Николая I, когда его сыну Александру II, в связи с предстоящей амнистией, был представлен список политических ссыльных, царь собственноручно вычеркнул Шевченка, кратко пояснив: „Он оскорбил мою мать“.

Поэт был освобожден двумя годами позже.

II

Итак, в последний день мая 1847 года приговор был утвержден, и 9 июня, в 11 часов ночи, Шевченко был доставлен в Оренбург, а оттуда отправлен в Орск за триста верст для определения в пятый батальон. С высокого плоскогория поэту открылась унылая картина. В пустынной выжженной солнцем степи одиноко белели стены Орской крепости. Она показалась Шевченку раскрытой могилой. „Поют ли здесь птицы?“ думал поэт, вглядываясь в безлюдную, лишенную растительности, степь. Под горою против казематов для каторжников были расположены слизкие бревенчатые казармы — будущее обиталище поэта. Ротный командир с первого абцуга пообещал Шевченку выпороть его розгами, „в случае если он будет вести себя дурно“. Молча, вытянувшись во фрунт, певец Украины выслушал угрозы ротного громовержца. Но Шевченко ничего иного и не ожидал. „И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито и злобно посмеяться надо мной, толкнув меня в самый вонючий осадок христолюбивого воинства“, — говорил он по своему адресу. Он

знал, что в такие каторжные норы, как Орск, шли служить отбросы, пятнавшие собой даже невзыскательную среду армейского офицерства.

„Бездушные, грубые лицедеи“, с которыми пришлось поэту в течение десяти лет разыгрывать эту мрачную монотонную драму, оставили в памяти поэта неизгладимый след. Уже на свободе, вдали от ненавистной казармы, поэт записал в свой дневник: „Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся, и долго не мог притти в себя от этого возмутительного сновидения“. Дневник Шевченка сберег целую портретную галлерею армейских забулдыг, пьяниц и мздоимцев, измывавшихся над поэтом. Достаточно перечитать описание событий, отмеченных датой 27 июня 1857 года, чтобы понять, каким унижениям подвергался автор „Кобзаря“.

С приездом в Орск потянулись однообразные казарменные будни. Ровно в 6 часов утра „гарнизу“ будил барабан. На плацу начиналось учение, изнуряющая бессмысленная шагистика. Добродетель николаевского солдата измерялась тем, в какой мере он овладел искусством „тянуть носок“ и плавно на него опускаться. В свой дневник поэт заносит: „Даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек“. После пятичасовой пытки в строю поэт отправлялся на „словесность“. Так называлась зубрежка со слов ефрейтора имен, отчеств, фамилий от ротного командира до военного министра. В 9 часов вечера солдат запирали в казарме. Усталые до отупения, они размещались на нарах. Начинались рассказы о том, кого били, кого обещали бить. О письме, рисовании не могло быть и речи,— во всяком случае в первые годы ссылки. В дневнике Шевченки мы находим такие негодующие строки:

„Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом... И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью. Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Николай запретил мне и то и другое. Оба палачи".

Примостившись на табурете, при свете сального огарка, поэт неумелой рукой чинил свою ветхую аммуницию. В одиннадцать часов в казарме наступала ночь.

III

Ненависть Шевченки к самодержавию была непримирима. Ее не могли угасить ни ссылка, ни годы. В полудиких степях, в раскаленной, сверкающей солончаками пустыне, он ненавидел так же остро, как и на том майском параде, в Петербурге, когда складывал первые строки своего „Сна". Еще так недавно его домчал на телеге к месту ссылки фельдъегерь Видлер, покрыв в несколько дней больше 2000 верст. Еще не отзвучали в памяти слова приговора, объявленного ему всесильным Леонтием Дубельтом. Но, рискуя жизнью, он тайно от всех заносит на клочке бумаги свою „Молитву":

Дай бог, чтоб палачи распяли
Царей, сих палачей людских!..

Шевченко в Нижнем-Новгороде. Всего несколько недель тому назад в его каторжную нору докатилась весть об освобождении.

В столице еще не решен вопрос о его дальнейшей судьбе. В Нижнем Шевченко пишет своего „Юродивого“ где жестоко достается земному, а заодно и небесному царю. Снова гремит его опаляющая речь, обличающий стих Шевченки:

„Встают опять передо мною твои безбожные дела, безбожный царь. Виновник зла, гонитель истины жестокий, что сотворил ты на земле? А ты, всевидящее око, ужели было так высоко, что не видало в серой мгле, когда закованными гнали в Сибирь невольников?“

„Поэт после 10-летней ссылки вернулся в Петербург. Его обнимают друзья. Его чествуют на товарищеских обедах. Он занят литературными и семейственными хлопотами. Но мольба его неизменна: „Царей, всесветных шинкарей, в оковы крепкие закуй, в глубоком склепе замуруй“.

Поэт зашел в мастерскую своего знакомца, скульптора Микешина, занятого лепкой фигуры Екатерины II для памятника „Тысячелетие России“. Шевченко, угрюмый и сосредоточенный, набрасывает стихи: „О муки, о скорбь моя, моя печаль. Когда ты минешь!“ Что это? Вылитый перевод из Байрона? Нет, Шевченко в мастерской Микешина вспоминает, что Екатерина распространила на казацкую старшину права российского дворянства, что она окончательно закабалила украинских крестьян и роздала своим любовникам в дар миллионы рабов. И на бумагу ложатся неистовые проклятия: „Тебя же, сука, и сами мы и наши внуки всем миром дружно проклянут“... Он проклинает даже ребенка, полюбовавшегося золотой галерой, в которой Екатерина путешествовала по Днепру.

Сколько гимнов сложили поэты в честь „Северной Пальмиры“ и ее основателя! „Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Да примирится же с тобой и покоренная стихия“. Пушкин звал к миру стихию, скованную

самодержавием. Но Шевченку чуждо слово „мир". Что ему до красот „Северной Пальмиры"? Он не может забыть, что город построен на костях невольников; что две тысячи его земляков были согнаны сюда, к чухонскому морю, Петром; что здесь они сложили свои головы. В ночной тиши он слышит их голоса.

Шевченко стоит белой ночью перед творением Фальконета, перед памятником Петру. Меньше всего он склонен любоваться очертаниями гениального памятника. Его не пленяет вид „гордого властелина судьбы". Он не прочь даже посмеяться над его лавровым венком и ниспадающей тогой. Шевченко твердо помнит одно: пред ним „палач и людоед, распинавший нашу Украину". И снова проклятия слетают с его уст... Нет пощады никому. Даже ребенку, напоившему царского коня.

Петра не любили славянофилы, много „продерзких слов" бросил по его адресу Толстой. Но их речи меркнут перед огненными иеремиадами Шевченка. Потому что он был плоть от плоти тех, кто устилал своими костями эти болота. Он сам был сыном невольника, выкупленным у своего хозяина за две с половиной тысячи рублей.

„Прекрасна Северная Пальмира". Но что ему в ней! Другим занята его мысль. „О, если б волею судьбы не никли в трепете рабы, то не стояли б над Невою вот эти дивные дворцы... А нынче мрак. Как горя много".

О цареубийстве много писали поэты из дворян. Но в их строках было слишком много от классицизма. Тираноубийца—герой и его кинжал подобен молнии. „Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды". Но Шевченко говорит о цареубийстве как о чем-то неизбежном, о чем-то весьма будничном. И тирана казнит не герой, не Брут вольнолюбивый, но народ, люди.

„Люди *тихо, без всякого лихого лиха* царя до ката поведут".

Он мстил своими стихами и за рабство миллионов „крепаків“, за национальное угнетение горячо любимого, родного края.

IV

Соратник несчастного гетмана Остраницы, Тарас Бульба, в свой смертный час обращает взор к далекой московщине. „Уже теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему“, пророчит умирающий Тарас. Он говорит так, словно всю свою жизнь был ревностным читателем благонамереннейшего погодинского „Москвитянина“.

Дело в том, что в центре прекрасной повести Гоголя поставлены не обездоленные крестьянские массы, но казацкая старщина. Она примет из рук российского царя „права и вольности дворянские“, смирится с утратой национальной независимости, отречется от родного языка и станет угнетать крестьянство круче и жесточе, чем собратья из московщины. Подлинная стихия крестьянского восстания, яростного и беспощадного, дана в поэме Шевченка „Гайдамаки“. Читая эту жестокую и прекрасную поэму крестьянского гнева, с трудом веришь, что она написана учеником великолепного Брюллова, поэтом, ласково встреченным царедворцем Жуковским. Шевченко был вхож в аристократические дома Петербурга. Кажется, что ее сложил бездомный певец, бандурист, кочевавший вслед за казацким табором.

Шевченке не нужно было нисходить до „низов“, до масс. Он никогда не отделял себя, да и не мог отделять, от закабаленного крестьянства. „Я сын крепостного крестьянина Григория Шевченко“,—эту истину на всю жизнь запомнил поэт. Он не забывал ее ни в светских салонах, ни в мастерской своего учителя. В тени его изящно-рос-

кошной мастерской, как в знойной дикой степи надднепровской, усеянной курганами, перед ним в мечтах мелькают мученические тени народных вождей. „Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте своей... Я сочинял стихи, которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю", записывает 1 июля в свой дневник Шевченко. Как болезненно переживает он, уже свободный, выкупленный из неволи, встречу с сыном своего бывшего хозяина. Не только потому, что встреча с молодым Энгельгардтом напомнила ему о днях, когда и Венецианов и великий Брюллов должны были вести с его хозяином унизительные переговоры о его выкупе.

— Какая тут филантропия!—ворчал рабовладелец.—Деньги—и больше ничего. Моя решительная цена 2500 рублей

Портрет Жуковского, написанный Брюлловым, был разыгран в лотерею, и 22 апреля 1838 года Тарас Шевченко был выкуплен из рабства. Встреча с Энгельгардтом напомнила ему, что и родной брат и сестра попрежнему являются собственностью помещика Фиорковского. И со страниц его дневника несется громкий, раздирающий плач. Он обращается к товарищам по перу:

— Други мои, искренние мои, пишите, подайте голос за *эту бедную, грязную, спаскуженную чернь, за этого поруганного бессловесного смерда.*

Творчество Шевченка пропитали печаль миллионов крепостных рабов, отчаяние, гнев, жажда мести. Слушая крепостного скрипача, „крепостного Паганини", Шевченко записал в свой дневник: „Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный мрачный глубокий стон миллионов крепостных душ". Эти слова можно отнести полностью к Шевченку. Он и сам был „крепостным Паганини"

гениальным выразителем народной скорби. „Голота“, беднота, низы, те, которых сытый собственник обзывал „варнаками“, „подонками“, заговорили с пламенных страниц шевченковского „Кобзаря“. Именно в этом отличие Шевченка от другого народного поэта—русского Кольцова,—отличие, подмеченное уже Добролюбовым.

„Он поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих песен и даже своими стремлениями он иногда отдаляется от народа. У Шевченка — напротив. Весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни“,—писал о Шевченке Добролюбов.

Великий критик не отметил в своей рецензии, в чем именно Кольцов „отдалялся от народа“. По всему вероятию, он имел в виду склонность Кольцова к некоторой идеализации народного быта. Читая его добродушные стихи, мы на минуту забываем, что речь идет о крепостных рабах. Его благостный, исполненный кротости поселянин, благодарно зажигающий свечу пред иконою, так не похож на босого и оборванного „варнака“ Шевченка.

У Кольцова мужичек пашет и сеет со святой молитвою. „Пашеньку мы рано с Сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую“. Не тем заняты помыслы Шевченки. Как разбудить послушных рабов? „Нужно миру тяжелый обух закалить, стальную отточить секиру и волю спящую будить“. Прочитав в „Русском инвалиде“ фельетон о восстании в Китае, Шевченко аккуратно переписывает себе в дневник речь вождя повстанцев. Слова: „мандарины, это—жирный, убойный скот“—он сопровождает примечанием: „Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать то же самое про русских бояр?“

Узнав, что в селе Заминка у помещика Дадьянова крестьяне, выгнанные на барщину, зажгли при благопри-

ятном ветре озимые хлеба, поэт записывает: „Отрадное происшествие!“ и сожалеет о том, что не поспело яровое. „А то и его за один раз покончили бы“.

Кольцов идилличен и тих по сравнению с Шевченком. У Кольцова даже лютая российская зима обряжена в теплую шубу. Навряд ли такой образ мог притти в голову Шевченку, не раз жестоко страдавшему от стужи. Во время одного из своих невольных путешествий в Петербург он едва не отморозил ноги, шагая в дырявых сапогах. Работая у маляра Ширяева, юноша-поэт ходил в замасленном тиковом халате, в рубахе и штанах из грубого деревенского холста, запачканных в краске, без шапки, босой, „росхристанный“, как рассказывает один из его друзей. Положительно сладчайшей идиллией кажутся стихи русского поэта в сравнении с таким изображением деревенской жизни:

Латану свитину з калики здиймают
З шкурою здиймают, бо ничим обуть
Панят недорослих. А он распиняють
Вдову за подушне, а сина кують,
Единого сина, едину дитину,—
Едину надию,—в вийско оддають
Белого, бачь, трохи... А он-де пид тыном
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщине жне.

Не раз поэт обращается к небу с вызывающим вопросом: „Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?“

О религиозном смирении Шевченка сказано не мало елейных слов. Но сквозь его „смирение“ нет-нет и прорывались атеистические нотки. „Как горя много. Ни бога нет, ни полубога, псари с псарятами царят“.

Рядом с переводами из „писания“ мы находим у него такие кощунственные призывы: „Просветимся! будем

братья, с багряниц онучи драти. Трубки от кадил курить, образами печь топить, а кадилом будем, братья, в новой хате подметать".

Нельзя не вспомнить, что по возвращении из ссылки в 1860 году поэт был вторично арестован по обвинению в богохульстве. На этот раз поэт отделался несколькими часами ареста.

Поэт не только жалобился на горемычную судьбину своих крепостных братьев и сестер. Он напоминал о днях народных восстаний, о днях борьбы со шляхтой. Он будил в народной памяти имена борцов за угнетенное крестьянство. „Вон и курганы, а кто скажет, кто из внуков знает: Гонта, правильный страдалец, где опочивает? Железняк, душа живая, где схоронен? Где он? Тяжко, тяжко".

В. Белинский, воспитанный на образцах дворянской, усадебной литературы, отшатнулся от мужицкой музы Шевченки. „Опыт спивания Шевченка, привилегированного, кажется, украинского поэта, убеждает нас еще более, что подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов",— иронизировал Белинский. Рецензия содержала в себе высокомерный совет „этим г. Кобзарям" бросить „титло" поэта и „запросто служить пером низшему классу своих соотчичей".

Ошибку Белинского поправил 20 лет спустя Добролюбов. Он оценил по достоинству творчество Шевченка, его значение как национального украинского поэта. В „Кобзаре" Добролюбов увидел чудно разнообразную живую силу. В отличие от Белинского Добролюбов знал, что Украина с восторгом примет „Кобзаря". Как мы знаем, он не ошибся.

В поисках политического идеала украинская демократия той эпохи от безотрадного настоящего невольно обращалась к историческому прошлому, к временам борьбы с Польшей за национальную независимость. И шевченковский „Кобзарь", его исторические поэмы и думы были со·

звучны этим исканиям. Нежнейший из лирических поэтов, сумевший в своем творчестве показать и тончайшие оттенки материнской печали и радость первой влюбленности, Шевченко был в то же время поэтом-гражданином, будившим в родном народе скорбь об утраченной национальной независимости.

Однако, было бы ошибкой полагать, что в поисках политического идеала Шевченко обращал свой взор только к далекому прошлому. Он знал, что всесильная экономика рано или поздно взорвет российский феодализм. В его дневнике мы находим следующую многозначительную запись. Обращаясь к великим изобретателям, Фультону и Уатту, Шевченко говорит:

„Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьным леденцом. *То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя.* Мое пророчество несомненно“.

„Кобзарь“ Шевченка возник у самых истоков народного творчества. Он отражал настроения и думы многомиллионного украинского крестьянства, он говорил с ним на родном, единственно понятном языке. Его песни и думы запоминались и разносились по долам и весям Украины. Это делало поэта страшным самодержавию.

Долгие годы имя Шевченка было запретным. „Кобзарь“ выходил в свет исчерченный карандашами придирчивой цензуры. У многих по всему вероятию в памяти та обстановка, в которой протекал столетний юбилей Шевченка. Это был немой юбилей, безмолвное торжество. Чествование поэта было недозволено, закладку памятника в Киеве запретили. Дело доходило до курьезов. Кое-где разрешались литературные вечера, но без речей о Шевченке.

Были запрещены даже церковные панихиды—ничто не должно было напомнить об украинском поэте.

Когда подольские бурсаки обратились в синод за разрешением отслужить панихиду по Шевченке, синод, „заслушав и обсудив“ просьбу, отклонил ходатайство бурсаков, так как „в произведениях Шевченка явно проявляется отрицательное противоцерковное и противогосударственное направление, а также в виду того, что во многих произведениях допускаются явно кощунственные богохульные выражения, направленные против почитания божией матери, святых угодников и святых икон“.

Министерство внутренних дел и департамент полиции делали все от них зависящее, чтобы принудить к молчанию народные массы. Канев, где погребен Шевченко, был наводнен полицией и шпиками, а могилу поэта стерег караул.

Только после Октября Украина, а вместе с ней и вся советская страна, получила возможность познакомиться с литературным наследием Шевченка. Октябрьская революция вывела Украину из самодержавного узилища, „из темницы народов“, утвердила ее право на национальную независимость, право на строительство национальной культуры. Украинский язык, в течение столетий гонимый самодержавием, зазвучал с новой силой. Мы являемся свидетелями подъема и расцвета украинской культуры.

Октябрь не только вернул Украине великого изгнанника. Он осуществил заветнейшие его мечты. „Сирота, убогая вдовица“ Украина сегодня свободна от помещичьего гнета. Впервые в истории человечества бедняк, „смерд“, труженик, о котором так горячо говорил Шевченко, порвав сковывавшие его цепи, в союзе с городским пролетариатом приступил к построению общества, свободного от национального гнета и капиталистической эксплуатации.

А. Старчаков.

ОТ РЕДАКТОРА

Опубликование дневника Шевченка началось немедленно после смерти поэта, но полностью текст его стал известен буквально в наши дни; многие высказывания дневника во времена царизма не могли появиться в печати, и лишь Революция освободила от цензорских сокращений оставленный поэтом замечательный „человеческий документ". 1927 год должен быть отмечен в истории „шевченкознавства", как предельная грань, после которой невозможны никакие новые „открытия" в области текста дневника: в этом году дневник появился в монументальном издании Украинской Академии Наук, как один из томов предпринятого Академией полного собрания сочинений Шевченка, — с аппаратом обширных и ценных комментариев, в разработке которых приняла участие группа видных украинских ученых. [1] Академическое издание дневника оставило, конечно, далеко позади все предшествующие, в том числе и наиболее удачное из них (хотя не лишенное многих недостатков) под редакцией И. Я. Айзенштока (1925 г.); оно положило начало созданию подлинной *Шевченковской энциклопедии*, которая значительно облегчит успешное и всестороннее изучение поэта, его творчества,

[1] Нам известны рецензии на эту книгу *И. Айзенштока* („Академичный Шевченко" — „Червоний шлях" 1928 г., № 4 (61), стр. 110-117), *В. Гадзинского* („Літературна газета" 1927 г., № 4, стр. 5), *А. Дорошкевича* („Новий Шевченко" — Академічное відання шевченкового „Журнала") — „Пролетарська правда" 1927 г., № 58 (1671), 11-го березня [марта]), *П. Ефремова* („Зоря" 1927 г., №4-5, стр 59), *К. Капержинского* („Україна" 1928 г., кн. 3 (28), стр. 113), *М. Марковского* („Україна" 1928 г., кн. 4 (29), стр. 140-142) и *Ю. Оксмана* („Життя й революция" 1928 г, кн. 3, стр. 188-190 и „Каторга и ссылка" 1929 г., № 5 (54), стр. 180-181.

его биографии, его эпохи. Работа по подготовке и изданию дальнейших томов „академического Шевченка“ ведется энергично: за томом дневника через два года (1929 г.) последовал том переписки, столь же тщательно проредактированной и прокомментированной, так что позволительно думать, что Украина скоро будет иметь своего крупнейшего поэта в авторитетном издании, вполне достойном его имени.

В основу настоящего издания дневника Шевченка положено академическое,—недоступное широкому кругу русских читателей по своему объему и по языку, на котором даны комментарии. В *тексте* дневника, однако, мы большею частью не сохранили особенностей шевченковской орфографии и пунктуации; буквальное, в прямом значении слова, воспроизведение поденных записей поэта—с постоянными погрешностями против „узаконенной“ орфографии и многочисленными описками—лишь затруднило бы чтение; необходимое в академическом издании, оно было бы здесь совершенно неуместным. Что же касается *примечаний*, сопровождающих текст,— в них мы поставили себе целью кратко разъяснить все, по возможности, места дневника, нуждающиеся в объяснениях. Неизмеримо меньшие по своему объему, чем комментарии академического издания, они нередко основаны на материале, собранном в последнем, и потому часто лишены ссылок на источники; во многих же случаях учет печатных данных, оставшихся вне поля зрения комментаторов названного издания, определил для нас возможность установления и уточнения ряда фактов (преимущественно биографического порядка), о которых в этом издании не дано никаких справок или даны неточные и недостаточные. [1] В таких случаях, в интересах исследователей, мы давали себе право снабдить комментируемое место ссылками на все исполь-

---

[1]. Таковы, напр. наши справки о театральной переделке „Станционного смотрителя“, о выставке в Академии художеств, о стихотворениях А. Н. Апухтина, А. С. Афанасьева-Чужбинского и П. Л. Лаврова об И. М. Корбе (о котором в академическом издании сведения даны совершенно *неверные*), о К. П. Брюллове и его жене, о Д. А. и М. Ф. Демидовых, А. Е. Бабкине, Бобелине, А. А. Бобржецком, Г. И. Броне, К. И. Бюрно, А. П. и С. Ф. Варенцо-

зованные источники, особенно дорожа, в отношении биографических справок, сведениями о лицах, портреты которых писал Шевченко; тем самым уточнялся список произведений Шевченка-художника. Разумеется, далеко не все установленные нами факты равноценны и важны, но мы исходили из убеждения, что при комментировании дневника, оставленного *Шевченком,* а не каким-нибудь мелким деятелем „на поприще словесности", естественна и необходима сугубая точность даже относительно второстепенных, с первого взгляда, мелочей. Поэтому не должно вызывать удивления внимание, которое уделяется в наших примечаниях своеобразному социальному *фону* дневника, всем тем в большинстве ничтожным и неинтересным личностям, которые выступают на его страницах и с которыми Шевченку приходилось так или иначе сталкиваться на своем пестром жизненном пути.

В заключение своих немногих вступительных строк редактор должен с большой благодарностью помянуть ценное содействие, оказанное ему при издании дневника П. Е. Щеголевым. Исключительная любезность сотрудниц библиотеки Пушкинского Дома Е. А. Милютиной, З. В. Пушкаревой и С. А. Шахматовой-Коплан значительно облегчила ему работу по комментированию дневника—

вых, А. В. Веймарне, Ф. Н. Волконском, А. Г. Гартвиге, А. В. Голенищеве, кн. В. Ф. и Л. Ф. Голицыных, П. М. Голынской, Э. А. Градовиче, И. А. Грековой, И. Н. Дзюбине, Ф. И. Зброжеке, М. И. Зембулатове, А. В. Кадницком, А. А. Кампиони, Г. В. Кебере, И. А. Киреевском, В. В. Кишкине, Клес, гр. П. А. Клейнмихеле, Е. Н. Козаченке, М. П. Комаровском, А. Д. Крылове, П. Д. Кудлае, П. В. Лаппа-Старженецком, Лукьяне, П. П. Малюге, С. А. Незабитовском, К. О. Новицком, И. А. Нордстреме, Е. И. Одинцове, М. В. Остроградском и его жене, Г. Я. Пальмове, Е. А. Панченке, А. В. Перовском, Г. Ф. Петровиче, Н. Э. и С. Г. Писаревых, М. И. Попове, Д. И. ван-Путерене, Д. М. Райковском, Р. П. Ренненкампфе, Розалион-Сошальском, А. А. и Н. А. Сапожниковых, Л. О. Товбиче, кн. В. А. Трубецком, Н. И. Уттермарке, С. Хлебовском, П. У. Чекмареве, Ф. И. Чельцове, Л. К. Шмидгоф, В. П. и П. В. Энгельгардтах, И. Н. и Л. Г. Явленских и многие другие.

как и дружеская помощь Л. Б. Модзалевского, предоставившего в его распоряжение свое ценное книжное собрание. Г. Д. Вержбицкому редактор обязан признательностью за перевод стихотворения А. Совы.

С. Шестериков.

Ленинград, 15 июля 1930 года.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ДНЕВНИК



[1857 г.]

1857 **июня 12.** Первое замечательное происшествие, которое *я* вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, повидимому ничтожное и незаслуживающее того внимания, которое *я* ему оказываю, внося его как что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилося в Киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении, где подобная вещица для грамотного человека, как, например, *я*, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который имеет сообщение с Астраханью, то вы все-таки

не ближе как через месяц—летом, а зимой—через пять месяцев получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е. рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что, вместо ожидаемой вами с нетерпением вещи, он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец, кислым, как он говорит, дамским чихирем. [1] А на вопрос ваш, почему он вам не привез именно то, что вам нужно, он вам пренаивно ответит,—что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего не упомнишь. Что вы ему [скажете] на такой резонный довод? Ругнете его,—он усмехнется, а вы все-таки без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа—событие, заслуживающее бытописания. Но бог с ним— и с укреплением, и с ножом, и с маркитантом; скоро, даст бог, вырвуся я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.

13 июня. Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло, как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия,—увидим, чем кончится вечер? А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очиненные. По милости ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо:—Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в шканечных журналах [2] врут, а в таком домашнем,—и бог велел.

Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго,—пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш,

> Пишу не для мгновенной славы,
> Для развлеченья, для забавы,—
> Для милых искренних друзей,
> Для памяти минувших дней. [3]

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записывал в ней? [4] Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память. Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как простил милосердный человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что сердце продиктует.

От второго мая получил я письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского с приложением 75 рублей. [5] Он извещает меня или, лучше,

поздравляет с свободою. До сих пор, однакож, нет ничего из корпусного штаба, и я, в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсера от рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний-Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! при всем моем старании я узнал только, что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда ли — точные сведения?

Несмотря, однакож, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется в воображении) устроить свое путешествие по Волге уютно, спокойно и — главное — дешево. Пароход буксирует (одно единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалок, до Нижнего-Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву. А из Москвы, помолившись богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. [6] Не правда ли, яркая фантазия? Но на сегодня довольно.

Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие совершилось довольно поздно, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя идет через Гурьев городок. [7] А через Астрахань я весьма редко полу-

чаю письма. Следовательно, мне от парохода ждать нечего. Не вздумает [ли] *Батько кошовый* Кухаренко написать мне? [8] То-то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так [же] не знал и о моем местопребывании. И, будучи в Москве во время коронации * депутатом от своего войска, познакомился со стариком [М. С.] Щепкиным [9] и от него узнал о месте моего заключения. И, благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет и не забыть друга и еще в несчастии друга. Это — редкое явление между себялюбивыми людьми. С этим же письмом по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени, прислал он мне, на поздравку, 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву.

По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие таким образом: через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку. Насмотревшись досыта на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев — в Минск, Несвиж и, наконец, в село *Чирковичи* и, обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залеского, [10] через Вильно проехать в Петербург. План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я уви-

* Александра II (26 августа 1856 года).

дел, что мне, нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги графини Настасии Ивановны Толстой и ее великодушного супруга, графа Федора Петровича. [11] Они—единственные виновники моего избавления, им первый поклон. Независимо от благодарности, этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки, выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно,—я этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще, в хламиде поругания * и с ранцем за плечами, попунтирую в Уральск в штаб батальона № 1; всего еще можно ожидать. И потому не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но—утро вечера мудренее. Посмотрим, что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская почта.

14 июня. Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не вижу болшой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так—от нечего делать. На бездельи и это рукоделье. Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона—тому необходима эта бездушная аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными

* Т. е. солдатском обмундировании.

писателями. А то бы они и пера в руки не брали.

Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых и арапчиков.[12] Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня же его и получили и сегодня же отнесли его Попову (маркитанту) и спиртомеру (целовальнику),[13] а остальное тоже отослали к спиртомеру и начали кутить или, вернее, пьянствовать. Завтра выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец, курятником, т. е. гауптвахтой.

Солдаты—самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, — одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано всё, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще были так называемые старые Бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое, а главное, скорое. Восьмнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.

Кажется, казак Луганский написал книгу под заглавием *Солдацкие досуги.* Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель про-

славленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал); а если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять— какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если б написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров? Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолюбивым родителям. [14]

15 [июня]. Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-нибудь выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать портрет г. Бажанова, черным и белым карандашом, в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное освещение—и я с охотою принялся за работу. Чорт принес приятельницу, [15] помешала. Я закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И, не удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита Молчалина А. [16] Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В укреплении видел пьяную официю, т. е. офицера и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил лоб чубуком тесть своему будущему зятю Ч[арцу] тоже по случаю жалованья. [17] Солдатам выдавали жалованье. Мне тоже выдали. Я передал его своему, еще трезвому, дядьке и велел ему сшить из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому, выслушал в другой раз историю (с некоторыми прибавлениями) о бу-

дущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и возвратился на огород.[18] Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два, и тем кончилось 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.

16 [июня]. Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое явление) помешал мне возвратиться на огород, и я остался обедать у Мостовского. Мостовский один единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса.[19] Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военно-пленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года. Достойно замечания то, что поляк рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений: редкая черта в военном человеке, тем более—в поляке. Одним словом, Мостовский — человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера.[20]

Сегодня же милейшая миледи М.[21] сообщила мне, —впрочем не по секрету,—со всеми подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать его можно *свадебный подарок или недошитая кофта.* Дело вот в чем.[22] Жених в прошедшем месяце отправился в Астрахань купить свадеб-

ные подарки для своей невесты. Для этой милой необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи с тем, чтобы при получении жалованья возвратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой сшить для своей невесты ситцевое платье и коленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а, между тем получается на гарнизон жалованье. Но, увы! несчастному жениху выдают на руки всего на-всего два с полтиной, а все остальное удержано в батальоне по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но, увы! и на старуху бывает проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастьем и в жару мечтаний проговорился, что он получил жалованья всего-на-всего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть тоже в жару негодования хватил своего милого зятька чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь полилась с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ими вышло контро, они принялися вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый герой бежит к портнихе. Но, увы! платье уже отдано невесте, осталась только недошитая кофта; он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку - солдату за две чары водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик. И это гнусное происшествие, не выходящее

из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои начальники — фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На огороде или в саду, летняя резиденция нашей комендантши, и все свободное время теперь я провожу в ее семействе; у нее двое маленьких детей, Наташенька и Наденька, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье.[23]

17 [июня]. Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали, изредка только, сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение. Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения. Особенно перед лицом улыбающейся, цветущей красавицы-матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит бога на земле, как говорит поэт.[24] Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем.[25] А я все-таки не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам под моею любимою вербою, и хоть бы на-смех что-нибудь шевельнулося в воображении. Таки совершенно ничего.

Настоящий застой. И это томительное состояние началося у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. [26] Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. [27] В особенности благодарен я ему за *Записки Южной Руси*. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как-будто с живыми беседую с ее слипыми лирныками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои — заметки пьяного человека и ничего больше. Окроме Субботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. [28] Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаемо на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвалу этой книги, послать ее Кухаренку. И теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвалу. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст бог, я ему из Петербурга вышлю чистенький экземпляр. Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно дракой.

18 [и ю н я]. Сегодня я, как и вчера, точно также рано пришел на огород. Долго лежал под вербою,

слушал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне межигорского спаса Дзвонковую криницю и потом Выдубецкий монастырь. [29] А потом — Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно невиданные предметы. Скоро ли увижу все это я на-яву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня. А тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? [30] Холодные равнодушные Тираны! Вечером возвратился я в укрепление. И получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожиданной почты и с таким трепетом ожиданной Свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать. Так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году, в этом же месяце, меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. [31] А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма. Но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19 [июня]. Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталион-

ного командира.[32] А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли аммуницию. Какое гнусное грядущее событие. Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка аммуниции. Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное, напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе человеческое достоинство, стать на вытяжку, слушать команды и двигаться как бездушная машина. И это единственный опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству и просвещению. Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любуется унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь.[33] В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли или оно так есть в самой вещи, только мне не удалося, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и

света, то также хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким Гетам, не запретил ему *писать и рисовать.* [34] А христианин N [Николай] запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин? и христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире, выросло на началах христовой заповеди. Флорентинская республика—полудикая, исступленная средневековая христианка, но все таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Альгиери. [35] Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин

унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию, или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество и ничего больше. Майор Мешков, [36] желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однакож, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека. Почему я и [в] мысли боялся быть похожим на бравого солдата.

Вторая и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному Сатрапу и наперстнику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал каррикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: *строжайше запретить писать и рисовать*. Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать и сам верховный судия не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное развращенное сердце.

И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славельщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы! [37]

20 [июня]. Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя! Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судьи и карателя пропившиеся до снаги * блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, и паче душевные, и тем спасти их от праведного суда громоносного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата-солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира. Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не

* До последней возможности.

считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву [38] и другим, чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердого эскулапа.

К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было однакоже и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и воздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и, в заключение, выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.

Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел и должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дождусь ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.

Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как-будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш

учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтьми моих убеждений, моих младенчески-светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летящего старика Сатурна, [39] а никак не следствие горького опыта.

Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значит с приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, вторым письмом со вложением еще менее вещественным—со вложением небывалого рассказа мнимого варнака, * под названием *Москалева Криниця*. [40] Я написал его вскоре после получения письма от батька атамана кошевого. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст бог, вырвусь на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы-свободы?

27 [июня].

Вперед, вперед, моя исторья,
Лицо нас новое зовет. [41]

У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление

* Каторжного.

вместе с комендантом [И. А. Усковым], он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике [Илье Александровиче] Кире[е]вском. Полковник этот Кире[е]вский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следующее дело показывает, что г. П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600 крепостных душ.

История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Кире[е]вским, просил его, когда он выехал в Петербург,—просил он его и лично, и письмом из Новопетровского укрепления, как в некотором роде химика и знатока фотографического дела,—просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Кире[е]вский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу и потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое не-

пременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходимыми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. [42] Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, [43] чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Кире[е]вским. От Марковича еще известия не получено. А из „Русского инвалида" видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Кире[е]вский принят новым Генерал-Губернатором Катениным [44] тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600-сот [sic] душ крестьян, аристократ, наперсник Г. П. [Перовского], наконец полковник Кире[е]вский подлец и негоднейшая тряпка. [45]

Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Кире[е]вского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.

Сегодняшним же числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напачкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и

порядочному животному в нем места не останется. А впрочем ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это—двадцатилетний юноша. Сын Статского Советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета. [46]

25 [июня]. Только что успел я написать „следовательно тоже птица не мелкого полета“, как раздалось во всех концах огорода слово „пароход“. Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однакож, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно и волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей, весьма непривлекательной персоны, т. е. привез батальонного командира [Львова], первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до прахвоса. [47] А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни,—приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастье принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра, 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5 и до 7 часов, в ожидании судии праведного, рота равнялась В 7 часов явился, во всем своем грозном величии, сам судия. И испытывал или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10 часов. В заключение

спектакля спросил претензию, [48] ругнул в общих выражениях, посулил суды и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. [49] Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих конфирмованных должен был и я предстать после обеда, в 5 часов, на вторичное, и еще горшее, испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно, как человек, вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину свободного, во мне не осталось. Та же самая мучительная, холодная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние годы, чувство—нет, не чувство, а мертвое бесчувствие—охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово-в-слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов, экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ранжиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.

— Ты за что?—спросил он у первого.

— За утрату казенных денег, ваше высокоблагородие.

— Да, знаю: ты неосторожно загнул угол. Надеюсь, вперед не будешь гнуть углы,—сказал он насмешливо и оборотился к следующему.

— Ты за что?

— По воле родительницы, ваше высокоблагородие.

— Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и... — и обратился к следующему.

— Ты за что?

— За буйные поступки, ваше высокоблагородие.

— Хорошо. Надеюсь, вперед... и...

— Ты за что?—спросил он у следующего.

— По воле родителя, ваше высокоблагородие.

— Надеюсь... А ты за что?—спросил он, обращаясь ко мне.

— За сочинение возмутительных стихов, ваше высокоблагородие.

— Надеюсь, вперед не будешь...

— А ты за что? за что?—спросил он у последнего.

Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обратил к нам сильную, назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за богом молитва и за царем служба не пропадают.

В заключение церемонии спросил он у ротного Командира, почему Порциенко не явился на испытание. На что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти конфирмованные, так называемые господа-дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они—люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так

глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю, [50] с своими отвратительными героями,—пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполняемую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь— вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее—предоставить их попечению нежных родителей. Пускай спотешается на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам.

Слово „несчастный" имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих

пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего Генерал-Губернатора, довольно видного политика Обручева, [51] я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово „несчастный“ более к лицу, нежели этим растленным сыновьям безличных эгоистов родителей.

26 [июня]. Два дня уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что, если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.

Надеждою живут ничтожные умы, сказал покойник Гёте. [52] И покойный мудрец сказал истину вполовину. Надежда свойственна и мелким, и крупным и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная, нянька - любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не го-

ворю—безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хоть к зиме, но непременно буду в Петербурге, увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною невиданный, [53] услышу волшебницу-оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный холодный атеист, есть ли бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.

Материальное свое существование я предполагаю устроить как, разумеется, с помощию друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем, а теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного, балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепиею с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов. И первым эстампом моим будет казарма, с картины Теньера. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов, что можно приехать из Америки, чтобы взглянуть на это дивное произве-

дение. Словам великого Брюллова, в этом деле, можно верить. [54]

Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравером значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть полезным людям и угодным богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галлереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравера!

Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет, в гравюре акватинта и собственное чадо, притчу о блудном сыне, приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков; они уже почти все сделаны на бумаге. [55] Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное — не каррикатурная, скорей драмматический сарказм, нежели — насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов [56] не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.

Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная.

Такая, например, как „Жених" * Федотова или „Свои люди — сочтемся" Островского и „Ревизор" Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую *тму, мну*. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствми. Кроткий способ сатиры тут не действителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастию, полуграмотная масса, это половина народа это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубочная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын.

Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, [57] человек стоющий веры, что будто бы комедия Островского „Свои люди — сочтемся" запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежеству и мошенничеству. Странная мера! [58]

---

* Т. е. „Приезд жениха".

27 [июня]. От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эга привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что купец вежливее офицера. Он офицера называет: „вы, ваше благородие". А офицер его называет: „эй, ты, борода!" Их, однакож, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они, по воспитанию, родные братья. Разница только та, что офицер Вольтерьянец, а купец — старовер. А в сущности одно и то же.

Сегодня к вечеру появились комары на огороде, и я, чтобы избавиться этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида [59] преследует меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:

Коврики на коврики
И шатрики на шатрики.

Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный Кампиньони, инженерный офицер и отчаянный пьяница, [60] выбежал на площадь, не знаю для какой надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познакомив меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме и перед ними красовалась полуведерная бутыль сивухи. Живая сцена из „Двумужницы", князя Шаховского

[А. А.]. [60] Я, чтобы не дополнить собою группы волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицерика было исполнено в точности. После пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте и комендант сказал: „Пускай проспится". Итак, я, избегая кровопийцев-комаров, отдан был на терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?

Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем положении траги-шутку, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю всемогущего бога избавить скорее от этих получеловеков.

Сегодня ожидают парохода с почтой из Гурьева. И никто его не ожидает с таким трепетным нетерпением, как я. Что если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я тогда буду делать? Придется во избежание гауптвахты с блохами и клопами знакомиться со вновь прибывшими офицерами и, в ожидании будущих благ, пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспектива! А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу; о, какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в *чував* (торба) мою мизерию, авось либо и совершится.

28 [июня]. Совершилось, — только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в укрепление, в ожидании парохода, паковать свою мизерию. И, как это обыкновенно бывает, когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы. Так и я, в ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна только минута — и я очутился бы на седьмом — Магометовом небе. Но, не доходя укрепления, [встретился] мне посланный за мною вестовой от Коменданта [Ускова]. „Не пришел ли пароход? — спрашиваю я у вестового". — „Никак нет", — отвечает он. — „Какая же встретилась во мне надобность коменданту?" — спросил я сам себя и прибавил шагу. Прихожу. И комендант, вместо всякого приветствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и вновь прибывшие офицеры. И в заключение рапорта он просит и требует поступить со мной по всей строгости закона, т. е. немедленно произвести следствие. Я остолбенел, прочитав эту неожиданную мерзость. — „Посоветуйте: что мне делать с этой гадиной?" — спросил я коменданта, придя в себя. — „Одно средство, — сказал он: — просите прощения или — по смыслу дисциплины — вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали". — „Я приму присягу, что

это неправда“, — сказал я. — „А он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат“. У, как страшно отозвалось во мне это, почти забытое, слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прощений, унижений даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку, а он принес рапорт и привел своих благородных свидетелей. — Что, батюшка, — сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похмелья руку, — вам неугодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили. — На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть не проговорил: „Мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы“.

29 [июня]. „Широкий битий шлях из раю, а в рай — узенька стежечка, та й та колючим терном поросла“, — говорила мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.

Пароход из Гурьева пришел сегодня и не принес мне совершенно ничего, даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О, мои искренние, мои верные друзья! Если б вы знали, что со мною делают, на расставании, десятилетние палачи мои, — вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнус-

ности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могу себе ее растолковать. Мадам Эйгерт, [62] от 15 мая, из Оренбурга поздравляет меня с свободой, а свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно. Верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, учениями, картами и пьянством прохлаждаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов и правилам военной службы.

На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю! А все это делает со мною ветреница Надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.

Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. * Великий в христианском мире праздник! А у нас — колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.

О, святые, великие верховные апостолы! Если б вы знали, как мы запачкали, как изуродовали провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину! Вы предрекли лжеучителей — и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше, так называемые учители вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. ** Во имя ваше папы римские ворочали земным ша-

* Апостолов Петра и Павла.
** В 325 году.

ром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую бахиналию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество!

30 [июня]. Чтобы придать более прелести моему уединению, я решился завестись медным чайничком. И эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому, прекрасному утру на огороде прибавить стакан чаю — мне казалось это роскошью позволительною. С самого начала весны меня преследует эта милая, непышная затея. Но я никак не мог привести ее в исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером пошел я к Зигмонтовским (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса [63]) и, проходя мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров, с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно. „Не продаешь ли чайник?“ — спросил я его. — „Продаю“, — отвечает он, — „Не хапаный ли?“ — „Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести“. — „Хорошо, я спрошу. А что стоит?“ — „Рубль серебра.“ — „Полтину серебра“, — сказал я сколько мог хладнокровнее и пошел своей дорогой. Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту

вышел из него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. „Туда и дорога!“ подумал я. Проведя вечер в сообществе Телемона и Бавкиды (так я в шутку называю Зигмонтовских), по дороге зашел я к маркитанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахару и сегодня, в 4 часа утра, сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера, благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.

Собираясь путеплавать по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавелся чистой тетрадью для путевого журнала и пологом от комаров, которые неутомимо преследуют путешественника от устьев Волги до самого Саратова. Запасаясь этими необходимыми вещами, мне и в ум не приходил медный чайник. И вчера только — спасибо старику Зигмонтовскому — он объяснил мне важность этой нехитрой посуды во время плавания на речной воде, где необходим крепкий чай во избежание поноса и просто для препровождения времени, как он выразился в заключении. И многим кое-чем советовал он мне запастись в Астрахани на дорогу, но это все лишнее. Я отправлюсь, да не на пароходе, а на одной из барок, буксируемых пароходом, просто отставным солдатом.

Странно, что меня считают здесь все, в том числе и Зигмонтовские, темным богачом. Это, вероятно, потому, что если я делаю долги, разумеется ничтожные, то в сказанный срок аккуратно их выплачиваю, не прибегаю к помощи Израиля и не закладываю последней рубашки, как это делают многие из офицеров Когда я сказал Зигмонтовским, что весь мой капитал состоит из 100 рублей

серебра, на который я, кроме дорожных издержек, намерен еще сделать в Москве необходимое платье, то они в один голос назвали меня Плюшкиным. Я не нашел нужным разочаровывать их своей нищетой и расстался с ними как настоящий богач.

Странные старые люди эти Зигмонтовские. Бездетные, старые, одинокие, имеют — обезпечивающее даже прихотливую старость — состояние, вздумали поселиться в этой безводной, бесплодной пустыне! И добро бы на отдых: нет, он взял обязанность почти целовальника. Я думаю, что это необходимая потребность усвоенной в юности физической деятельности или просто жажда к приобретению; последнее, может быть, только вполовину, потому что в нем незаметно скряжничества, нередко сопровождающего в могилу одинокую, беспомощную старость. Она, т. е. Зигмонтовская, мне очень нравится; это — добродушно улыбающаяся, гостеприимная, кубическая старушка, бывшая немка, а теперь православная. Он тоже добродушный старик, но пренаивный и самый безвредный лгунишка. Например, он очень простодушно и каждый раз с новыми вариациями рассказывает, какие он прошел мытарства, пока достиг настоящего звания. Происхождение свое ведет он от какого-то короля польского Сигизмунда, вероятно, Третьего. [64] О ближайших предках он не упоминает, равно как и о виновнике собственного существования. Детство тоже покрыто мраком неизвестности. Первую часть юности провел он в звании домашнего учителя, у известного табачника Анисима Головкина, в Петербурге. И в этот-то период его жизни случилось с ним таинственное происшествие, которое разом поставило его на ноги. Происшествие такого

сорта. Однажды, ночью, на улице, — ему кажется, что на Литейной, но за достоверность не ручается,— схватывают его два гайдука, сажают в карету, завязывают глаза, везут, везут и, наконец, привозят прямо в роскошнейший будуар, надо думать какой-нибудь графини или княгини. Является, наконец, и таинственная обитательница будуара, вся в дезабилье (собственное выражение), только лицо покрыто маской. По совершении таинства любви, — завязывают ему опять глаза, сажают в карету, привозят на то самое место, где взяли, и один из гайдуков вручает ему пачку ассигнаций не более, не менее как 20 тысяч. Долго он думал, какую основать будущность на этом незыблемом фундаменте и, хладнокровно отринув почести и злато, вступил (внемля внутреннему призванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены, где имел блестящий успех в ролях Эдипа, Фингала, Дмитрия Донского [65] и в „Ябеде" [В. В.] Капниста, к несчастию, не помнит, в какой именно роли; но, по проискам знаменитого учителя [В. А.] Каратыгина [А. С.] Яковлева, должен был оставить избранное поприще и вступить в морскую службу, разумеется — лейтенантом. [66] Здесь он совершил плавание (два раза) вокруг света и один только раз к южному полюсу вместе с Лазаревым. [67] И что во время этих плаваний он узнал досконально, откуда добывается деревянное масло, неправильно называемое прованским. Вот где его родник. Между Ливорно и Сингапуро (удивительное знание географии) есть остров Прованс, на этом острове растет огромное масляничное дерево, из которого и выпускают масло, как у нас, например, весной сок из березы. Островом и деревом владеют англича-

нин, француз и италианец, а мы и немцы уже от них получаем этот дорогой продукт. — Из корабля переселился он в земский Одесский суд, неизвестно в каком ранге. Тут он вел жизнь отчаянного кутилы, попал в сонмище декабристов [68] и был сослан бессрочным арестантом в крепость Измаил, где в скором времени и сделался правой рукой коменданта и, по стечению удивительных обстоятельств, был переведен в город Астрахань в звании квартального надзирателя. Но не всегда чистые обязанности по долгу этого звания заставили его подать в отставку и принять от питейной конторы звание поверенного в Новопетровском укреплении, где его окрестили именем спиртомера.

Кампиньони, мой покровитель, — не меньший враль, но вредный и бессовестный, заврался однажды до того, что назвал себя племянником графа [А. А.] Закревского, московского генерал-губернатора, и кандидатом дерптского университета. [69] Чтобы разом озадачить и уничтожить дерзкого лгунишку, Зигмонтовский разом махнул в ротмистра лейб-гусар и в ближайшие родственники графу [И. В.] Гудовичу. [70] Знай наших!

Но несмотря на этот невинный недостаток, он все-таки добрый и наивный старик. А она также добрая, кроткая, невинная говорунья и невозможно сентиментальная старушка; и я их не иначе называю, как Телемон и Бавкида. [71] Они получают вместе с Никольским „Петербургские ведомости“; и я частенько приношу им с огорода укроп, петрушку и тому подобный злак, пью чай, прочитываю фельетон и выслушиваю волшебные похождения наивного Телемона, за что и пользуюсь полной доверенностью Бавкиды.

1 июля. Сегодня послал я с пароходом письмо М. Лазаревскому. Быть может, последнее из душной тюрьмы: дал бы бог. Я много виноват перед моим нелицемерным другом. Мне бы следовало отвечать на письмо от 2 мая тотчас же по получении, т. е. 3 июня: но я, в ожидании радостной вести из Оренбурга, которую хотелось мне сообщить ему первому, прождал напрасно целый месяц и все-таки должен был ему написать, что я не свободен. И до 20 июля, а может быть и августа, такой точно солдат, как и прежде был, с тою только разницею, что мне позволено нанимать за себя в караул и ночевать на огороде, — чем я и пользуюсь с благодарностью. До 20 июля я удалил от себя всякие возмутительные помышления и наслаждаюсь теперь по утрам роскошью совершенного уединения, и даже стаканом, правда не казистого, но все-таки чая. Если бы еще хорошую сигару воткнуть в лицо, такую, например, как прислал мне 25 штук мой добрый друг Лазаревский, тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике. Но это уж слишком. А сегодня действительно в Петергофе праздник. [72] Великолепный царский праздник! Когда-то давно, — в 1836 году, если не ошибаюсь,—я до того был очарован рассказами об этом волшебном празднике, что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученье у маляра или так называемого комнатного живописца, некоего Ширяева—человека грубого и жестокого [73]) и пренебрегая последствиями самовольной отлучки (я знал наверно, что он меня не отпустит), с куском черного хлеба, с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой обыкновенно носят ученики-ремесленники, убежал с работы

прямо в Петергоф на гулянье. Хорош, должно быть, я был тогда. Странно, однакож,—мне и вполовину не понравился тогда великолепный Самсон и прочие фонтаны, и вообще праздник, против того, что мне об нем наговорили. Слишком ли сильно было воспламенено воображение рассказами, или я просто устал и был голоден. Последнее обстоятельство, кажется, вернее. Да ко всему этому, я еще увидел в толпе своего грозного хозяина с пышною своей хозяйкой. Это-то последнее обстоятельство в конец помрачило блеск и великолепие праздника, и я, не дождавшись иллюминации, возвратился вспять, совершенно не дивяся бывшему. Проделка эта сошла с рук благополучно. На другой день нашли меня спящим на чердаке, и никто и не подозревал о моей самовольной отлучке. Правду сказать, я и сам ее считал чем-то в роде сновидения.

Во второй раз, в 1839 году, посетил я петергофский праздник совершенно при других обстоятельствах. Во второй раз, на Бердовском пароходе, сопровождал я, в числе любимых учеников, Петровского и Михайлова, сопровождал я своего великого учителя—Карла Павловича Брюллова. [74] Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было Я—из грязного чердака, я — ничтожный замарашка—на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но чем же я хвалюся? чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружескою доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы и после уместного раз-

вода я жил у него на квартире или, лучше сказать, в его мастерской. [75] И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца-кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи наддепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непорочной меланхолической красоте своей... И я задумывался: я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание—и ничего больше.

Странное, однакож это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись—моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И, вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивных тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание.

Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада („Москалева Криниця"). Я дорожу его мнением чувствующего

благородного человека и как мнением неподдельного самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на его раздольной Черномории. А как бы хотелось. Но что делать? Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки — покупается удовольствие. Так, по крайней мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюсь быть похожим на безалаберного разгильдяя. Кутнул и я на свой пай когда то. Довольно.

Пора, пора, душой смириться,
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода. [76]

В прошлом году получалася здесь комендантом „Библиотека для чтения". Бывало, хоть перевод Курочкина из Беранже прочитаешь: все-таки легче станет. [77] А нынче, кроме фельетона „П[етербургских] ведомостей" совершенно ничего нет современно-литературного. Да и за эту тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее выростала, а то совестно уже стало потчивать стариков одним и тем же продуктом.

2 [июля]. Две случайно сделанные мною вещи так удачны, как редко удаются произведения, глубоко обдуманные. Первая вещь — это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался для меня необходим, как страждущему врач. Вторая вещь, — это медный чайник, который делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чая, я как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделие. Теперь же

едва успею налить в стакан чай, как перо само просится в руку. Самовар — тот шипением своим возбуждает к деятельности: это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара. Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других, а именно: был у меня, во время оно, приятель в Малороссии, некто Г. Афанасьев или Чужбинский.[78] В 1846 году судьба столкнула нас в „Цареграде", не в оттоманской столице, а в единственном трактире в городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение это неутомимое вдохновение, и тогда, только когда поселились мы, во избежание лишних расходов, во-первых, а, во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все минуты дня и ночи,— тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно-неутомимое вдохновение. Пружина эта была—шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чая из буфета, как это я делаю, а непременно велит подать самовар; но, когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось, что он собственно не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину, приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто отворялся.

Мы прожили с ним вместе весь великий пост, и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он не написал в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сантиментальное послание. [79]

Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? И главное дело в том, что, когда пришлося нам платить дань обладателю Цареграда, то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани, и я должен был заплатить, не считая другие потребления, но, собственно, за локомотив, приводивший в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово, и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на нравственные силы человека.

В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке, и я писал ему в Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что, увы! Россия лишилась второго Тредьяковского. [80] Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне „Р[усского] инвалида“ вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение, по случаю, не помню, по какому именно случаю, помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба,—думаю себе,—не мой ли это приятель так отличается. Смотрю,—действительно он: А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да

еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю. [81]

Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцевед сказал, что вернейший дружбометр есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается только в критических трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерила. Самый живой, одушевленный язык дружбы—это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее, прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется—самое критическое, время, я получаю [от М. М. Лазаревского] 75 руб. За что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости, второй раз в Оренбурге. Пошли, господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы, возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу и Апрелеву. [82] Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц и Афанасьев, но Апрелев крупный видный человек, это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а ротмистр кавалергардского его величества полка, сибарит и обжора, известный в столице,—это как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного земляка моего, у некоего Соколовского. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий, румяный толстяк (я не знаю почему, особенно верую в доброкачественность подобного объ-

ема и колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы знакомимся, потом дружимся, переходим на „ты“ и, наконец, входим в финансовые отношения. Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мое на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут. джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на „ты“ и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа. Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого не принимает; другой раз—то же самое; третий, четвертый и так до десяти раз—все то же самое. Я плюнул другу на порог да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много, и, как на подбор, все люди военные. Я уверен, что, если бы Афанасьев не был прежде уланом, он мог бы писать стихи без помощи самовара и мы бы с ним расстались иначе.

Вера без дел мертва есть. Так и дружба без существенных доказательств — пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием улыбающегося счастия и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны! они и в могилу сойдут, благословляя друг друга.

3 [июля]. Сегодня во сне видел Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня

насильно, не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе, в роде Астрахани. И верблюды, и англизированные лошади по улице ходят, и фонтаны бьют, кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр; наконец,—вечер, ночь; Лазаревский скрылся; ищу его, спрашиваю и просыпаюсь. Проснувшись, я обрадовался, что это только сон и что я, слава богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову [83] посмотреть в сонник, что значит видеть во сне самовольную отлучку.

Сегодня, т. е. 4 июля, когда я по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан чая и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки, а через несколько минут пошел тихий, меланхолический дождик. И я, оставив всякое писание и мечтание, любуюсь этим прекрасным и чрезвычайно редким явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.

4 [июля]. Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперешняя резиденция. Вскоре по пробитии вечерней зори пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать. Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал и видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова, сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени, [84]

ничего не было и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу натянутого и загрунтованного, полотна, как это делается для декораций, и к стене приклеенной, грубо раскрашенной литографии Калама с надписью Рио-Джанейро [sic]. [85] Потом Карл Павлович пригласил нас на лукьяновский ростбиф, [86] как это бывало во времена незабвенные. Но ударил гром, и я проснулся. Пошел проливной дождь. Затворив окна и двери беседки, я снова уснул. Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина таким же свежим и добрым, как видел его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре и о литературе. Я ему заметил, почему он не продолжает свои „Записки артиста", начало которых напечатано в первой книжке „Современника" за 1847 год. [87] На что он мне сказал, что жизнь его протекала так тихо, так счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском укреплении и встретились с П. А. Кулишем, собирающим какие-то тощие растения. Я как хозяин захлопотал об обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый удар грома разбудил меня, и я уж не мог заснуть.

С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я о них теперь постоянно думаю. Ложась спать вчера, я думал об „Осаде Пскова" и о „Гензерихе" *

---

* Т. е. о картине „Нападение Гензериха на Рим".

Брюллова. И увидел во сне самого их великого творца.—Довольно! Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.

5 [июля]. Голенький ох, а за голеньким бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана „История Донского Войска“ [88] показалась мне слишком старою спутницей и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно спокойном путешествии, как плавание по Волге от Астрахани до Нижнего? Это меня обеспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна—эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей — сегодня мой лакей, хуже—бердичевский фактор.

Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие—и что же я прочитал: Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta. [89] В казармах—эстетика!—Чьи это книги? спрашиваю я писаря.—Каптенармуса, унтер-офицера Кулиха. [90] Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне Umnictwo piękne, он

отвечал, что оно принадлежит мне, что Пшевлоцкий [91], уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне, и что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование и что вчера только они попались ему на глаза и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости, я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу.

Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны! Итак, по милости этой слепой царицы царей, я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать: на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам и этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: *побольше рассуждать и поменьше критиковать*. Чисто платоновское изречение. [92]

С Либельтом я немного знаком по его „Деве Орлеанской“ [93] и по его критике и философии. На первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусстве. Посмотрим, что дальше будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.

6 [июля]. Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию и потом скрылся от меня вместе с копиею. Из Академии я вышел на Большой про-

спект и, не доходя церкви Андрея Первозванного, встретился с семейством здешнего коменданта. И от радости проснулся.

Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля, под названием *Недошитая Кофта* [94]. Я не хотел бы вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но как она оказалась важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою точностью в мою неизменную хронику.

Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху пришла благая мысль — попотчивать свою будущую супругу серенадой со всеми онёрами. Для этого собрал он из 2 рот песельников, также со всеми онёрами — с бубном, тарелками, ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И, когда был пропет — разумеется с танцами — весь репертуар солдатских песен и даже „После батюшки остался сиротою молодец", с небольшими изменениями,—восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в некотором роде его собственное положение, захотелось, чтобы ребята маленько его покачали. Почему же и не так? Ребята принялись за дело, и—о, судьба-злодейка! — когда верные и усердные ребята затянули частое „ура", в воротах показался комендант [Усков]; протяжное „ура" вдруг оборвалось, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами скрылись где кто мог. Положение жениха, действительно, критическое, и тем более критическое, что он, без нежного участия своей возлюбленной нареченной, не мог стать на ноги по случаю бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.

На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит, на законном основании, избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного, безобразного пьяницы и жениха поручика Чарца. На такое законное требование резолюции еще не последовало.

Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей! Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей! А он, как начальник, обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.

7 [июля]. Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в гостинном дворе ивановского полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я, по обыкновению, нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля — немедленно явиться к пригонке аммуниции.—Да ее недавно пригоняли,— говорю я.—Не могу знать-с: приказано,—отвечает он.—Итак, для воскресенья не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича [95] и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев, заведывающий двумя ротами I батальона, [96] тотчас смекнул дело: и, чтобы не

ударить в грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого, по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать аммуницию, и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его сподвижника Петрова.

Сказано — сделано. К 7 часам все было готово. В полной аммуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я; в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем своем ослином величии и, после горделивого приветствия, подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал: „Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом — и с богом!“ И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.

Тот же самый татарин, вместе с накладной, привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев [97] получил известие из Петербурга, чтобы его высочества в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня, по обыкновению, в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и за-

нес сей невероятный казус в мою верную хронику... Господи, настанет ли для меня час искупления! Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу.

8 [июля]. Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или в четверг она должна быть на Стрелецкой Косе, 15 верст от Гурьева, в субботу получит последнюю оренбургскую почту, воскресенье попразднует и в понедельник — в обратный путь. Как-раз через неделю, при благополучном ветре, ее должно ожидать 17-го или 18-го числа, и никак не дольше 20-го. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы умышленное тиранство.

Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтер-офицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска Umnictwo piękne Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на батальоне и в особенности на 2-й роте, которая два года тому назад ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда и теперь я имею несчастье состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика [Якова Максимовича] Обрядина, мы перебрали всю роту по одиночке и, наконец, дошли до рядового Скобелева. Этот Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии, и в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым, мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:

Тече річка невеличка
З вишневого саду.

Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого, полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.

По сложению своему и по манерам, он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал, но он пользовался в роте славою честного и смышленного солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилась отвага и благородство. И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин, попался в бродяжничестве, сказался непомнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура, русского инвалида Скобелева. [98] Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне рассказал следующую возмутительную повесть.

Вскоре по прибытии 2-й роты в г. Уральск командир роты, поручик Обрядин, взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева, как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полугода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя, и, однажды, в минуту сердечных

излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И, в доказательство истины слов своих, показала ему конверт с пятью печатями. — Поручик Обрядин, будучи еще баталионным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже подобных присылок, но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках и требовал вынутых из него денег. Отец командир попотчивал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой. Будь это сам-на-сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благородных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.

Бедный Скобелев! родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление [99]), залетел ты в мою семилетнюю

тюрьму певуньей-птицей из Украины, как-будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напоминать мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев! ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору-грабителю и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных, сладких песен, как я был? Встретишь — и не одного такого же, как и ты, невольника-сироту, земляка-варнака, заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кандалы за отрадные сердцу, милые, родные звуки... Бедный, несчастный Скобелев!

9 [июля]. Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от норд-оста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь; а когда подымет — бог знает. Норд-ост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлить мою, и без того длинную, неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20 июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть: меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же, на песке, заснул. — Видел во сне покойника Аркадия Родзянко в его Веселом Подоле, близ Хорола; — показывал он мне свой чересчур затейливый сад, толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности; ругал наповал грязного

циника Гоголя и в особенности „Мертвые души“ казнил немилосердно; потом попотчивал какими-то герметическими закупоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами в роде Баркова. Отвратительный старичишка.[100] Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я побежал на огород мокрой курицей.

Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия Родзянко видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и он мне в несколько часов так надоел своей тупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону, к его ближайшему соседу и, как водится, злейшему врагу[101]. Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом, а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными мечтами и между этим давно забытым человеком? Каприз нашей нравственной природы и совершенно никакой логической связи. И „Оракул“ сотника Чеганова едва ли объяснит загадку подобных сновидений. Пойду, однакож, на всякий случай, посмотрю в его зерцало сокровенных таинств натуры.

10 [июля]. Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омывать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего

огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта—так же неудачно. „Гензерих“ и „Осада Пскова“ Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз нагогы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразием. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины „Последний день Помпеи“. Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.

В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про Umnictwo piękne, Либельта и принялся жевать; жестко, кисло, приторно, — настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет [102] велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченном божественном чувстве. И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовой природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски и чувствует (в чем я сомневаюсь), а думает по-немецки, или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, — не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он также верит в безжизненную прелесть немецкого, тощего и длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.

В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огромною портфелью, начиненною произ-

ведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи,[103] нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное выспренное искусство и, обращаясь ко мне и покойному Штернбергу, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии.[104] Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинет германофила. Но, боже! что мы увидели в этой огромной, развернувшейся перед нами, портфели длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими, тощими херувимами и прочих — настоящих — мучеников и мучеников живого улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однакож, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца,[105] для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.

Umnictwo piękne Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.

Незабвенные золотые дни! мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича,

что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь [П. А] Вяземский и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом „Последнего дня Помпеи", ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти неизменимым в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни, которые ужаснули нас своим заученным однообразным безобразием.[106] И где, и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (Так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский.)

Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на „Покров божией матери", картину Бруни в Казанском соборе, сказал, что, если бы он был матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, — боялся бы подойти к этому маленькому кретину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А „Медный змий"[107] его? Это — толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь

цель ее была уничтожить „Последний день Помпеи“. Колоссальное, но, увы! неудачное намерение.

11 [июля]. В полночь переменился ветер и отошел к норд-весту. Я полюбовался прозрачными исчезающими облаками и лег спать. Проснулся до восхода солнца. Небо было чисто. Только одна единственная звездочка, как алмаз, горела высоко на востоке. Это должна быть Аврора. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, и она исчезла. Я весело принялся за свой чайник. И когда все было готово для моего утреннего одинокого пиршества, я очинил внимательно перо, развернул журнал и — что называется — полубуквы не мог написать: так мне вдруг сделалось весело! И я, напившись чаю и наслушавшись чириканья веселых ласточек, отправился в укрепление заказать торбу для сухарей и взять второй том Либельта; зашел к Мостовскому, он мне предложил стакан чаю, от которого я не имел силы отказаться, потому что чай был с лимоном — неслыханная роскошь в этой пустыне. За чаем сообщил он мне о начавшемся следствии над женихом и невестой. Следствие началось медицинским освидетельствованием невесты, как водится, в присутствии понятых, причем лекарь Никольский сострил, найдя невесту нерастленною, что подало повод к грубым насмешкам над женихом. Мерзость!

Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта и три оставшиеся сигары из числа тех 25 сигар, что прислал мне Лазаревский вместе с сециею. Отличные сигары — настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я, по обыкновению, до обеда

лежал под своею любимою вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах, но он все-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца вселенной во всем видимом и невидимом нами мире и так же хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто это его собственное открытие.

За обедом было веселее обыкновенного. Комендант [Усков] подтрунивал над моими сборами в поход, другие ему вторили более или менее любезно, но вообще вся компания была, как говорится, в своей тарелке. После обеда я, также по обыкновению, заснул под своей фавориткой-вербою, а перед вечером надел чистый китель, соломенную шляпу-самодельщину и пошел на туркменские *бакчи* (баштаны), и, несмотря на скудность зелени, мне и бакчи понравились. Я зашел к хозяевам в аул; около кибиток играли с козлятами нагие, смуглые дети, визжали в кибитках женщины, должно быть ругались, а за аулом мужчины творили свой намаз перед закатом солнца. Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетнею тюрьмою. Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, на уже засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и следил этот крошечный

детский след, пока он не исчез в степной полянке вместе с тропинкой. На огород пришел я к вечернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (коменданта) и Николая Ефремовича [Бажанова] (смотрителя полугоспиталя) своими заветными сигарами и сам закурил остальную. Все, начиная с Наташеньки,[108] не мало удивились, увидев в моем лице торчащую дымящуюся сигару, а нянька Авдотья, уральская казачка, та совершенно во мне разочаровалась. Она до сих пор думала, что я по крайней мере часовенный, * а я такой же еретик-щепотник, как и другие. Все же вообще находили, что мне сигара к лицу и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона. Такому удачному сравнению я и не думал противоречить и мысленно переносился на палубу парохода „Меркурия“ или „Самолета“,[109] а о скромной расшиве, о бурлацких песнях, о преданиях про Стеньку Разина забыл и думать.

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но все не впрок.[110]

Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню:

Ой поізжае по Украіні та козаченько Швачка.

* Т. е. раскольник из секты „приемлющих священство“.

От этой любимой моей песни я незаметно перешел к другой, не менее любимой:

Ой зійди, зійди, ти зіронько, та вечірняя...

Эта меланхолическая песня напомнила мне тот вечер, когда я и молодая жена Кулиша[111] пели в два голоса эту очаровательную песню. Это было на другой день после их свадьбы в роковом 1847 году. Увижу ли я эту прекрасную блондинку? Запою ли с нею эту задушевную песню?

Воспоминания меня убаюкали; я сладко соснул и видел во сне Новгород-Северский (вероятно, вследствие недавнего чтения Алексея Однорога[112]). По улице ездили в старосветском огромном берлине огромные, рыжие, пьяные монахи, и между ними очутился мой трезвый друг Семен Гулак-Артемовский.[113] Это все пельмени так наметаморфозили.

12 [июля]. Одиннадцатым нечетным, но счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? Ну, что бы я делал в продолжение этого минувшего, бесконечно длинного месяца? Хотя и это занятие мимоходное, но все-таки оно отнимет у безотвязной скуки несколько часов дня. А это — важная для меня теперь услуга. В первые дни не нравилось мне это занятие, как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом. Сначала я принимался за свой журнал как за обязанность, как за *пунктики*, как за ружейные приемы; а теперь, и особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал для меня сделался необходим, как хлеб с маслом для чая. И не

случись этого несносного ожидания, этого тягостного бездействия, мне бы и в голову никогда не пришло обзавестись этой эластической мебелью, на которой я теперь каждое утро так безмятежно отдыхаю. Справедливо говорится: нет худа без добра.

Сегодня утром, записавши счастливое одиннадцатое число, я вздумал попробовать ветчины собственного приготовления. Для этого я выпил фундаментальную рюмку водки, закусил молодой редькой, потом уже приступил к собственному произведению. Ветчина оказалась превосходною, свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в январе месяце. Первого января текущего года получил я первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой и с того же дня начал готовиться в дорогу. Так как путешествовать мне предстояло — может быть и теперь еще предстоит—по серебряным берегам Урала, где благочестивые уральцы, а особенно уралки нашему брату-раскольнику воды напиться не дадут, то я и заготовил для трудного пути сей необходимый копченый продукт. Не знаю, чем восхищается в уральцах этот статистико-юморист и вдобавок враль Небольсин? [114] Грязнее, грубее этих закоренелых раскольников я ничего не знаю. Соседи их, степные дикари киргизы, тысячу раз общежительнее этих прямых потомков Стеньки Разина. А помянутый враль в восторге от их общежития и мнимого гостеприимства. Верно, ему, пьяному, в грязном погребке диктовал какой-нибудь Железнов статейку под названием *Уральские Козаки*, а он, под веселую руку, записал да и посвятил еще В. И. Далю. Бессовестны, вредны и подлы такие списатели. [115]

Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился под своей фавориткой - вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне решительно нравится: или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким, потому что мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными. Блаженное состояние! Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту, правда, не совсем моложавую, истину коротко, изящно и ясно: что религия у древних и новых народов всегда была источником и двигателем изящных иск͵сств. Это верно. А вот это так не совсем: он, например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше натуры, потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природой, насколько природа ограничена своими вечными неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы-природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о даггеротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты в роде Зорянка. [116]

Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему как исполненному силою творчества казалось бы это позволительным. Но он как пламенный поэт и глубокий мудрец-сердце-

вед облекал свои выспренние, светлые фантазии в формы непорочной вечной истины. И потому то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими близкими, родными.

Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы, ничего не видел и, кроме солдатской, рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная проза. И теперь случайный собеседник Либельт — самый очаровательный мой собеседник. Искренняя сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.

Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для моциона я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова, сына Булавина. [117] Первый стих песни мне чрезвычайно нравится:

Возмутился наш батюшка
Славный тихий Дон
От верховьица
Вплоть до устьица.

Эта песня, собственно, донская, но она усвоена и уральцами как братьями по происхождению. Я немало удивился, услышав в первый раз здесь эту песню, потому что приходящие сюда на службу уральцы большею частью народ бывалый в Москве и в Петербурге и поют все модные нежные романсы, захваченные или в салонах на *Козихе*, или в Мещанских и Подъяческих улицах. Так я немало удивился, услыхав этого отступника от закона моды.

С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал или, вероятно, уснул, чему и я благоразумно последовал. На рассвете приснилось мне,

будто бы приехал в Новопетровское укрепление фельдмаршал Сакен вместе с другом своим митрополитом киевским Евгением и потребовал меня к себе. Но так как у меня не оказалось солдатского облачения, кроме шинели и то без эполет, то пока нашивали эполеты, я проснулся и был сердечно рад этой неудаче. [118]

13 [июля]. Сегодня суббота; ветер все тот же — норд-вест. Это хорошо. Значит, волею-неволею лодка должна дождаться оренбургской почты. Чем ближе ко мне радостное событие, тем делаюсь я нетерпеливее и трусливее. Семь тяжелых лет в этом безвыходном положении мне не казались так длинными и страшными, как эти последние дни испытания. Но все от бога. Заглушив в себе по мере возможности это ядовитое сомнение, я принялся за моего неизменного друга Либельта и с наслаждением побеседовал с ним до самого вечера. Вечером пошел я опять ко второй батарее в надежде услышать вчерашнего баяна. Но вчерашний баян обманул мои ожидания. Я возвратился на огород, лег под своею заветною вербою и—сам не знаю, как это случилось — уснул и проснулся уже на рассвете. Редкое необыкновенное событие! Такие дни и такие события я должен вносить в мою хронику, потому что я вообще мало спал, а в последние дни сон меня решительно оставил.

14 [июля]. Сегодня воскресенье. Ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О, как бы он меня обрадовал, если бы хоть к завтрему отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания.

В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал вертепа мерзостей, т. е. укреплений. И это теперь мое единственное счастье, что я безнаказанно могу делать такое укрывательство, а чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание встречи с теми разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и редьку, отправился к Телемону и Бавкиде.* Телемон, вопреки своему постоянному расположению духа, был не в духе, и Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе, даже не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил пословицу: *не во время гость—хуже татарина* и взялся за фуражку, но Телемон остановил меня, просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды и после первой аппробации поведал мне свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани, нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза выбросить в море. К несчастью Телемона и Бавкида, их товары, состоящие из двух ящиков горячих напитков и 30 мешков муки, лежали на палубе и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели только ничтожные мелочи, как-то: варенья,

* Т. е. к супругам Зигмонтовским.

лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка. Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши мне про постигшее их несчастие, пришли в свое нормальное положение. Телемон простодушно начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году. А Бавкида показала мне шляпу и даже мантилью и на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле моего Телемона и Бавкиды.

Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени! Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллона. * Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, — это всепокоряющая владычица, водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить рюмку, другую, потому что сам комендант предлагает, но нельзя нализаться как следует, не потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии, т. е. на гауптвахте. Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород? Не лучше ли дома втихомолку нализаться так, чтобы в глазах позеленело? Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием!

---

* Богиня войны (у римлян).

Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени, к этой живой, блестящей ризе улыбающейся матери-природы. Великороссийская деревня, это, как выразился Гоголь, [119]—наваленные кучи серых бревен, с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима. Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют, а деревня, как будто нарочно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.

В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые, приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный, неулыбающийся мужик окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую, задушевную песню, в надежде на лучшее существование. О, моя бедная, моя прекрасная родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердный бог—моя нетленная надежда.

15 [июля]. Ветер все тот же—норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было. В продолжение двухлетнего плавания по неисследованному еще Аральскому морю, [120] я одного раза не взглянул на компас; а в эти последние, бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех самомалейших направлениях. О, ветер, ветер! если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному горю,—ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту! и сегодня я бы уже сидел с карандашом

в руке на палубе аргонавтом татарского корабля, идущего к берегам Колхиды, т. е. к Астрахани, и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы; хорошо, если бы так, а если иначе,—тогда что? Тогда я и сам не знаю—что.

Вчера вечером обошел два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей заветною вербой с крепким намерением вздремнуть хоть полчасика. Я уже другие сутки глаз не смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно слушал болтовню огородников, недалеко расположившихся на травке. Между ними был уральский казак,—он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц. Он рассказал историю о каком-то самоубийстве, которая меня совершенно не интересовала, но меня заинтересовало религиозное поверье уральских казаков о душе самоубийцы, которое он при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным зерном: житом, пшеницею, ячменем и проч., для того чтобы птицы клевали это зерно и молили бога об отпущении грехов несчастному. Какое поэтически-христианское поверье!

За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд, не менее поэтический и истинно-христианский, который наши высшие просвещенные пастыри как обряд языческий повелели уничтожить.

В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его могилу,—хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого.

По истечении года, в день его смерти, а более в зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле несчастного.

Может ли быть чище, возвышеннее, богоугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступника детей своих, за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим спасителем-человеколюбцем? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском, всепрощающем жертвоприношении?

В Требнике Петра Могилы [121] есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В новейшем Требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою об изгнании нечистого духа из одержимого сей мнимой болезнью и об очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить двенадцатый век. Поздненько спохватились.

Туркмены и киргизы святым свои (аулье) не ставят, подобно батырям, великолепных абу (гробниц): на труп святого наваливают безобразную кучу

камней, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей, остатки жертвоприношений, ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более или менее великолепный памятник. Против памятника, на двух небольших изукрашенных столбиках, ставят плошки: в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую плошку днем наливают воду для птичек, чтобы птички, напившиеся воды, помолились богу о душе грешного и любимого покойника. Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили бы как языческое богохуление.

16 [июля]. После заката солнца затемнело, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста, ветер тихий и ровный, такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии пришел на огород и, в ожидании обеда, принялся за свою ветчину подорожнюю. Копченый продукт мой с каждым днем умаляется. Еще несколько дней ожидания,—и от него останутся ни к чему негодные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов, а между ними, вероятно, есть и колбасные. Без колбасы немец и дня не проживет, следовательно копченый

продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск по злачным и серебряным берегам благочестивого Урала? Тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на полку, или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего—мучеником за веру, расстригою-попом. Тогда, как по щучью велению, все явится перед тобой, начиная с каймака и джурмицы* и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно, хуже всяких язычников.

В 1848 году, после трехмесячного плавания по Аральскому морю, возвратились [мы] в устье Сыр-Дарьи, где должны были провести зиму. У форта, на острове Кос-Арале, где занимали гарнизон уральские казаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас смекнули делом, что—непременно мученик за веру. Донесли тотчас же своему командиру, эсаулу Чарторогову, а тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мною на колени. „Благословите, говорит, батюшка“! „Мы, — говорит, —уже все знаем.“ Я тоже, не будучи дурак, смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим крестным знамением. Восхищенный эсаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась.

Вскоре после этого казуса уже обривши бороду, отправился я в Раим, главное тогда укрепление на берегу Сыр-Дарьи. В Раиме встретили меня уральцы с затаенным восторгом, а отрядный на-

* Сметаны и кислого молока.

чальник их, полковник Марков, тоже не будучи дурак, испросив мое благословение, предложил мне 25 рублей, от которых я неблагоразумно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным бескорыстием, подвинул благочестивую душу старика отговеться в табуне, в кибитке, по секрету и, если возможность позволит, приобщиться святых тайн от такого беспримерного пастыря, как я.

Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду. Случись это глупое, смешное происшествие где-нибудь на берегах Урала, где были бы женщины, я не разделался бы так легко с этими изуверами. Весь фанатизм, вся эта мерзость гнездится в их распутных дочерях и женах. В Уральске постоянно набит острог беглыми солдатами, их мнимыми пресвитерами, и, несмотря на явные улики, они благоговеют перед этими разбойниками и бродягами. И это не простые, а почетные чиновные казаки. Непонятная закоснелость.

После полудня отошел ветер к зюйд-весту, прямо в лоб почтовой лодке.

17 [и ю л я]. Ветер все тот же, как заколдованный. Перед вечером по направлению к Астрахани на горизонте показался пароход. В укреплении засуетились, увидя это неожиданное явление, а в особенности капитан Косарев с своим почетным караулом и с ординарцами. Но кого несет пароход? Никому положительно неизвестно. Но все, даже самые умеренные фантазеры, догадывались, что если не великого князя Константина Николаевича, то непременно адмирала Васильева, губернатора астрахан-

ского. Последней догадки или предположения капитан Косарев сначала и слушать не хотел. Но, внимая доводам ученого друга своего, лекаря Никольского, о невозможности такого чисто-исторического события в таком темном уголке империи, как наше укрепление, и ученый муж подкрепил свое мнение историческими фактами, сказавши, что после Петра Великого никто из членов царской фамилии не посетил не только полуострова Мангишлака, [но] даже знатного портового города Астрахани. Против этого аргумента сказать было нечего. Но сметливый капитан Косарев нашелся, сказавши: „Ну, что же? если и не великий князь, так, по крайней мере, губернатор: все же особа в генеральском чине, и почетный караул необходим". На такое простое, повидимому, слово даже ученый муж полез в карман за возражением. Но увы! пока ученый эскулап рылся в своем умственном кармане, таинственная загадка разрешилась. Прискакал казак с пристани и донес коменданту, что на пароходе, кроме его командира, лейтенанта Поскочина, [122] никого не имеется. Гора мышь родила.

Комендант послал тарантас за командиром парохода и велел его просить к себе на огород. А я, чтобы мой поход в укрепление не в туне совершился, зашел в казармы и побрился; потом зашел к Мостовскому. Посмеявшись над совершившимся, мы по поводу подобного же происшествия, случившегося в 1847 году в Орской крепости, перенесли наш разговор в Орскую крепость,—как ему, так и мне хорошо памятную. И Мостовский своим неживописным слогом так живо описывал эту неживописную, пустынную крепость, что я заслушался его, и первые темные дни моей неволи просвет-

лели и улыбнулись в моем воспоминании. Неужели и для настоящего моего положения придет когда-нибудь светлое улыбающееся воспоминание? Факт перед глазами, а все-таки не верится.

В девятом часу вечера возратился я на огород и застал еще моряков, громко любезничавших с комендантшею. Но мне так опротивели эти пустые хвастунишки, астраханские моряки, что я, издали заслышав их громкие голоса, сделал полоборот направо и до прибытия зари обошел вокруг укрепления. Несвоевременная прогулка утомила меня и прежде времени, к великому моему удовольствию, уложила спать, за что я в душе поблагодарил любезных астраханских мореходов.

Сон мой не был, однакож, так спокон, как я ожидал: в продолжение ночи я несколько раз просыпался и наблюдал ветер. Перед рассветом ветер затих, и я в надежде на его непостоянство успокоился и заснул. Во сне видел Кулиша, Костомарова [123] и Семена Артемовского, будто бы я встретил их в Лубнах, во время Успенской ярмарки,— Кулиша и Костомарова в обыкновенных, а Артемовского в каком-то театральном костюме; в этом фантастическом наряде он представлялся на улице Петру Великому, а я тут же для Кулиша рисовал молодого слепого лирника в тирольском костюме. Продолжению этой безалаберщины помешал мой услужливый дядька: он принес мне на огород новый китель и разбудил меня, за что наградил я его большим огурцом и редькой.

Ветер не изменил моей надежде: к утру отошел к зюйд-осту. Пароход поутру вышел из гавани и направился к Кизляру. Я проводил его глазами на горизонт, принялся за свой чайник и потом за журнал.

18 [июля]. Кончивши сказание о вчерашнем событии, я начал мечтать о рюмке водки и об умеренном куске ветчины, как присылает за мной Бажанова,[124] просит на чашку кофе: наш Филат тому и рад. Пошел я. Прихожу. Комендантша [Ускова] тут же; после поздорованья речь началась о вчерашних гостях. Я спросил о цели их кратковременного пребывания на наших берегах, и на прямой мой вопрос получил ответ довольно косвенный и перепутанный, как водится, отступлениями, ни к чему не ведущими. Одним словом, я выслушал из милых уст такую чепуху, какой иному не удастся выслушать и в модном салоне. Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро, кроме флотских—командира парохода и его штурмана, весьма образованного (по словам рассказчиц) молодого человека, и еще трое штатских, два ученые, а третий—доктор; и что пароход ходит около наших берегов для каких-то наблюдений и что штатские ученые должны быть не ученые и просто политические шпионы, потому что говорили все о влиянии на здешнюю туркменскую орду; один из них, что помоложе, блондин с длинными волосами à la мужик, может быть и действительно ученый, потому что вместе с [Н. Я.] Данилевским и другими участвовал в экспедиции Бера[125] и что точно так же, как и Бер собирает лесной полынь и другие травы и что он спрашивал обо мне, но так двусмысленно, что милые собеседницы даже косвенно не умели удовлетворить его любопытства, и, как я догадываюсь, ловко отстранивши этот, по их понятиям, щекотливый вопрос, они, как водится, перенесли свою болтовню в Астрахань, прямо в персидские лавки с канаусом и другими недорогими материями.

Если это был сколько-нибудь порядочный человек, то какое понятие получил он о нашем бонтоне, о сливках здешнего дамского общества? Заплесневшие, прокисшие сливки.

Собравши также положительные сведения о вчерашних таинственных посетителях, я, разумеется, перестал о них думать и до самого обеда лежал под вербою и читал Либельта. О ветре я также старался не думать. Он из меня душу вытянет—этот проклятый зюйд-вест. На одни сутки, на полсуток отойди он к осту—и я свободен. Невыносимая пытка!

За обедом опять завязался разговор о таинственных путешественниках, и благодаря коменданту [Ускову] он в половину пояснил это загадочное событие. В числе вчерашних гостей не было главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом поверить астрономические пункты на берегах Каспийского моря, определенные в прошлом году каким-то не совсем дошлым звездочетом. Вот настоящая цель неожиданного прибытия парохода к нашему берегу. А два ученые мужа, которые сделали честь огороду и его милым обитательницам своим посещением, [не кто иные] как один—чиновник, мнимый политический агент, отправляющийся на службу в гебрийский город Баку, а другой—учитель словесности при астраханской гимназии, пользующийся свободным каникулярным временем, и чуть ли еще не земляк мой, потому что передал мне поклон через здешнего плац-адъютанта, за что я ему сердечно благодарен. [120]

Таинственное происшествие, к немалому удивлению наших романических дам, объяснилось очень

просто и даже прозаически. Но новость, которую сообщил коменданту плывущий в Баку чиновник, мне кажется просто сочинением будущего великого администратора. Он сообщил, и даже с подробностями, что образовалась коммерческая компания пароходства на Каспийском море, на началах Триестской Ллойды [sic], и что уже вызывает морских офицеров служить на ее пароходах с правом чинопроизводства, и что уже назначены три директора, и что он—сей будущий великий администратор—едет в Баку занять место помощника при директоре, некоем бароне Врангеле, [127] с содержанием 1500 рублей серебром в год. Что будет делать эта Ллойда в Каспийском озере? И какое доверит поручение этому помощнику директора, выпущенному в настоящем году, по его словам, из петербургского университета?

С закатом солнца ветер отошел к зюйд-осту, но слабый, безнадежный. Кончится ли, наконец, это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших бесконечных дней?

19 [июля]. С закатом солнца ветер засвежел и отошел к норду. Обрадовавшись такому неожиданному явлению, я принялся ходить вокруг укрепления и до пробития зори обошел четыре раза,—значит, я сделал без присесту 12 верст. Прогулка порядочная, но я не почувствовал и тени усталости. Ночь лунная, прекрасная, и я не перенес своего лагеря в беседку, оставив его под вербою, чтобы удобнее было наблюдать ветер по флюгеру, вертящемуся на голубятне. Часы в укреплении пробили 12, ветер не переменился и не ослабел. Добрый знак. В надежде на добрый знак, я задремал и на

крыльях волшебника Морфея [перенесся] в Орскую крепость и в какой-то татарской лачуге нашел М. Лазаревского, Левицкого [128] и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссиийские песни. Я присоединил свой тенор к капелле, и мы пели стройно и согласно:

У степу могила з вітром говорила.

Не кончивши этой песни, мы начали другую, а именно Петруся, и я так громко пропел стихи:

Люблю, мамо, Петруся,
Поговору боюся, —

что капелла замолчала, а я на последней ноте проснулся. Очнувшись от этого сладкого сновидения, я посмотрел на флюгер. Ветер, слава богу, все тот же—не переменился. Поворочался, прочитал, сколько помню, стихов из песни про счастливого, белолицого соперника Грицю, снова заснул, моля Морфея продолжать прерванное милое сновидение.

Морфей исполнил мою молитву, только не совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город, утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю я будто бы ренегата Николая Эрастовича Писарева в зеленой чалме и с длинною бородою, а безрукий Бибиков и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева сидят на балконе и тоже в турецком костюме. Они что-то говорили о киевском пашалыке. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка, и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев с своим всемогущим покро-

вителем и с своею бездушной красавицей-супругой. Где он? Что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже, что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник. [129]

В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы в роде „Анжело" Пушкина, перенеся место действия на восток, и назвал ее: *Сатрап и Дервиш*. При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.

Есть у меня в запасе один план, основанный на происшествии в оренбургской Сатрапии. Не присоединить ли его, как яркий эпизод, к *Сатрапу и Дервишу*? Не знаю только, как мне быть с женщинами. На Востоке женщины—безмолвные рабыни, а в моей поэме они должны играть первые роли,— их нужно провести—как они в самом деле были—немыми, бездушными рычагами позорного действия. [130]

Если бы я знал, что эта общипанная *Ласточка* (название почтовой лодки) не принесет мне свободы, я сегодня приступил бы к делу, вопреки поговорке—тише едешь, дальше будешь.

Пока я записывал свои сновидения, ветер отошел к весту, и *Жаворонок* (другая почтовая лодка) на всех парусах полетел в Гурьев. Несносный ветер, мучительная неизвестность!

20 [июля]. Ильин-день, *Илия* - космат; так пишется он в Библии. Должно быть этот библейский циник был безграмотный, потому что не оставил по себе подобно другим пророкам писанного пророчества. У палестинских магометан (если верить Норову [131]) он пользуется таким же почетом, как у евреев и христиан.

Ильин день, Ильинская ярмарка в Ромне,—теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно видел это знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль и валялся в палатке покойного Павла Викторовича Свечки. Сам он себя называл только огарком от большой свечки—и сальным огарком. Это был сын того самого полковника Свечки, что, шутки ради, закупил, во время контрактов [132] в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели, а так, чтобы подурачить польских панов, приехавших в Киев с единственною целью покутить, а в своем местечке Городище (Пирятинского уезда) он учредил заставу, чтобы не пропускать никого ни идущего, ниже в берлине едущего, не накормив его до-отвалу и не напоив до положения риз. После таких шуток натурально, что после большой Свечки едва остался маленький огарок, да и тот скоро погас. Мир праху твоему, мой благородный друже! [133]

Тогда же я в первый раз видел гениального артиста Соленика в роли Чупруна („Москаль-чарівник“ [134]), он показался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина. [135] И московских цыган тогда же я в первый и в последний раз слышал и видел, как они отличались перед ремонтерами и прочею пьяною публикою; и как в заключение своего дико-грязного концерта они хором пропели:

Не пылит дорога.
Не дрожат листы.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты,—

намекая этим своим пьяным покровителям, что им тоже не мешало бы отдохнуть немного и с силами собраться для завтрашнего пьянства.

Думал ли великий германский поэт, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко-поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия.

Что же я еще видел тогда замечательного на этом замечательном торжище? Кажется, ничего больше. Познакомился с распутным стариком Якубовичем, (отцом декабриста) и с его меньшим сыном Квазимодо, которому дал на честное слово два полуимпериала и которые, разумеется, пропали. [137] Еще познакомился с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянка, и на третий день моего пребывания в Ромне купил на жилет какой-то материи, фунт донского балыка и с поименованным Родзянком выехал из этого омута на Ромодановский шлях.

Вот и все, что я на досуге припомнил о роменской ярмонке по поводу Ильина дня.

20-е июля,—день, в который я предполагал проститься с моею тюрьмою, так написал и Лазаревскому и Кухаренку. А ветер, олицетворенная судьба, распорядился иначе. Что делать? Посидим еще за морем, да подождем погоды. В продолжение Ильина дня и ночи ветер не шелохнулся. Мертвая тишина.

21 [июля]. Записавши роменские воспоминания, я по случаю воскресения пошел в укрепление по-

бриться и от первого унтер-офицера Кулиха услышал, что в 9-м часу утра пришла почтовая лодка. Побрившись, скрепя сердце, я возвращался на огород и, выходя из укрепления, встретил смотрителя полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня с свободой 21 июля 1857 года, в 11 часов утра.

В первом часу получил Залецкого письмо от 30 мая.

От трех часов пополудни до трех часов пополуночи под вербою с Фиалковским [138] пили чай и лимоновку и на выдержку прочитали несколько мест Либельта и нашли, что подобные книги пишутся для арестантов, которым даже Библии не дают читать. Замечание довольно резкое и почти верное, но об этом на досуге.

22 [июля]. По случаю сего радостного для меня события можно бы и оставить небольшой пробел в сей прозаической хронике, но так как в физической моей деятельности или, лучше сказать, бездействии не последовало решительной перемены и, как кажется, раньше 8-го дня августа не должно ожидать никакой перемены, то во избежание решительного бездействия, а паче—соблазнительной лимоновки, я буду, не нарушая заведенного порядка, по утрам нагревать свой чайник и число за числом, стройно, как солдатская шеренга, вести свой журнал. От безделья и это рукоделье.

Сегодня комендант [Усков] сказал мне, что он не может дать мне пропуск от Новопетровского укрепления через Астрахань до Петербурга, потому что не имеет приказа по корпусу о моем увольнении, и если таковой приказ не получится на следующей почте, то предполагаемое мною живописное, спокойное и дешевое путешествие Волгою

не состоялось. Но это поправная беда. В Оренбурге с помощью друзей моих, Бюрно и Герна, я восстановлю свои оскудевшие финансы. [139] Жаль только, что ненужное удаление от прямого пути заставляет меня отказаться от желания видеть в нынешнем году художественную выставку в Академии,— опоздаю; а еще больше жаль, что я должен отсрочить радостное свидание с [М. М.] Лазаревским и прочими моими земляками-друзьями, а еще более жаль мне, что совершенно лишние 1000 верст отдаляют от меня минуту блаженнейшего счастия, минуту, в которую я сердечною слезою благодарности омочу руку моей благороднейшей заступницы графини Настасьи Ивановны [Толстой] и ее великодушного супруга графа Федора Петровича.

О, мои незабвенные благодетели! Без вашего человеколюбивого заступничества, без вашего теплого родственного участия к моей печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап в этом безотрадном заточении. Благодарю вас, мои заступники, мои избавители! Вся радость, все счастье, вся моя светлая будущность суть ваше нетленное добро, мои единые, мои святые заступники!

Графу Федору Петровичу с этою же почтою я напишу письмо. О, как бы мне не хотелось писать этих бездушных каракуль, которые выражают только одну чопорную вежливость и ничего больше. Графине Настасье Ивановне я не могу теперь писать: все, что бы я ни написал ей, и тени не выскажет того восторженного, сладкого чувства благодарности, которым переполнено мое сердце и которое я могу излить только слезами при личном моем свидании с нею.

Лазаревскому, вместо письма, пошлю две тетради моего журнала: пускай читает с Семеном [Артемовским] в ожидании меня—его искреннего счастливого друга.

На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от Кулиха, новое перо и бумаги на третью тетрадь для сего журнала. Настала новая эпоха в моей старой жизни. Должно быть все новое.

23 [июля]. Кулих, снабдивши меня бумагою, пером и чернилами, предложил мне с собою пообедать, быть может, в последний раз. На такой трогательный довод сказать было нечего, и я согласился тем охотнее, что Фиалковский, веселый и умный малый, случился тут же и тоже не отказывался от солдатской трапезы. Кулих, как каптенармус, к обыкновенным щам и каше прибавил кусок жареной баранины; я достал из кармана большой огурец (без этого лакомства я не являюсь в укрепление), Фиялковский тоже достал из кармана и поставил на стол бутылку с водкой. Не пышно, но с аппетитом и так искренно, весело мы пообедали, как дай бог всем добрым людям так каждый день обедать. За обедом и после обеда Фиялковский забавно подтрунивал над Кулихом, его чином и в особенности над его тепленьким местом. Кулих, чтобы отделаться от неистощимого Фиялковского, обратился ко мне с вопросом: как мне нравится книга, которую он принес для меня из Уральска? Я, разумеется, сказал, что очень нравится. На что Фиялковский страшно захохотал и громогласно назвал Либельта просто дурнем за то, что он написал такую книгу, Пшевлоцкого за то, что он

купил эту книгу, а Кулиха дубельтовым дурнем за то, что он 500 верст нес на плечах своих эту пустую, увесистую книгу. Кулих не на шутку обиделся такой нецеремонной критикой и требовал ясных доказательств на такую грубую клевету. Чтобы утишить возникавшую ссору, я пригласил приятелей к себе на огород пить чай. Предложение было принято, и мы отправились под мою вербу. Либельт лежал у меня под подушкой, и я в ожидании чайника предложил Фиялковскому прочесть вслух страничку из сего великого творения; он охотно это исполнил. Кулих не поверил слышанному. Он думал, что Фиялковский импровизирует и продолжает трунить над его тяжелою ношею, вырвал у него из рук книгу и прочитал сам весь параграф о *фантазии*. „Что?" спросил Фиялковский наивно изумленного Кулиха. „Пшевлоцкий, отвечал он, цивилизованный дурень: вот и все!" „Насмешки" Фиялковский возобновил с прежней силою, пока не остановил его своим приходом общий наш приятель Кампиньони. Этот бессовестный пьяница ради рюмки лимоновки не постыдился подойти к нам и поздравлять меня с получением свободы. Мы встали и разошлись в разные стороны, предоставив в полное распоряжение незваного гостя чайник и бутылку с лимоновкой. Вежливость за вежливость.

Ночь была лунная, тихая, очаровательная ночь! Я долго гулял по огороду, а нежные наши дамы (комендантша [Ускова] и Баженова) из опасения простудиться сидели за сальным огарком в вонючей киргизской кибитке и, разумеется, сплетничали. Им бы предложить эстетику Либельта: чтобы они из нее сделали? Наверное, папильотку. И это есте-

ственно. Для человека-материалиста, которому бог отказал в святом, радостном чувстве понимания его благодати—его нетленной красоты, для такого получеловека всякая теория прекрасного ничего больше как пустая болтовня; для человека же, одаренного этим божественным разумом—чувством, подобная теория также пустая болтовня и еще хуже — шарлатанство. Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги прекрасного, вместо теории, писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза. Вазари [140] переживет целые легионы Либельтов.

24 [июля]. Перед рассветом прошел сильный дождь с грозою, и около огорода в запруженную балку налилось с каменных оврагов столько воды, что можно плавать порядочной лодке, что мы и пробовали с Ираклием Александровичем [Усковым] после обеда. Жаль, что в этой лощине песчаный грунт и вода на поверхности его не может удержаться долго; а какое бы было украшение и польза этому безводному месту.

Вечером капитан Косарев объявил мне с претензией на благодарность, что он, по приказанию коменданта, отдал приказ по полубатальону о моем увольнении, за что я нижайше благодарил господина коменданта.

25 [июля]. Весь день провел в гостях у Мостовского на ближней пристани. Он арестован на неделю по распоряжению окружного начальника артиллерии генерала [Г. А.] Фреймана вследствие кляуз своего цейхвахтера, отвратительнейшего надворного советника Мешкова. [141] Арест Мостов-

ского ничего больше как маска, а надворному советнику велено подать в отставку и передать свою подполковничью должность нижнему чину, какому-то фейерверкеру Михайлу Иванову. Это, в своем роде, маска.

Перед вечером приехал на пристань комендант и взял меня с собою на огород, а к вечеру еще раз покатались мы в лодке по дождевому ставу.

26 [июля]. Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу [Толстому] и ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого, или, наконец, льстиво до подлого, но никак не выходит то, чего бы мне хотелось. Это, вероятно, оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости. Нужно подождать; еще время терпит: раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время еще терпит. Записать разве черновое на память и исподволь, на досуге, поправить во избежание поговорки: поспешить—людей насмешить, как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасии Ивановны от 12 октября [142] минувшего года, которым она первая известила меня о предстоящей свободе и на которое я хватил ей такую восторженную чепуху (второпях разумеется), что она сочла меня или с ума спятившим, или—просто—пьяным. А чтобы этого и теперь не случилось, то напишу сначала черновое письмо а, попростывши немного, напишу и беловое. [143]

Ваше Сиятельство

Граф Федор Петрович!

Вашему великодушному заступничеству и святому человеколюбивому участию графини Настасии Ивановны обязан я моей новою жизнию, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив, так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою бесконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого христианского участия в моей безотрадной судьбе меня задушили бы в этой бесконечной, безлюдной пустыне; а теперь я свободен. Теперь, независимо ни от чьей воли, я строю свое радужное будущее, свое безмятежное грядущее. Какая радость, какое полное счастие наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу Академию, увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости и благодарности омочу ваши чудотворящие руки! Молю милосердного господа сократить путь и время к этому беспредельному счастию. А теперь, боже всемогущий, услыши мою чистую, искреннюю молитву и надолго—долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного искусства и для счастия людей, близких вашему любящему сердцу.

21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга; но он без воли высшего начальства не может этого сделать, и я для получения драгоценного этого паспорта должен побывать еще раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 1000 верст лишних почти по пустыне. Но господь милосердный, помогавший мне исходить во всех направлениях

эту безлюдную пустыню, не оставит меня и на этом, теперь коротком, пути. Грустно только, что этот ненужный путь отдалит, по крайней мере—на месяц радостную минуту свидания с вами, с графиней Настасией Ивановной, главной виновницей моего счастия!

Всемогущий и премилосердный господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом испытании,—и любовь, которую я, с раннего детства, бессознательно питал к прекрасным искусствам, теперь посылает он мне любовь сознательную и светлую, и крепкую, как алмаз. Живописцем—творцом я не могу быть; об этом счастии неразумно было бы помышлять, но я по приезде в Академию с божией помощью и с помощью добрых и просвещенных людей буду гравером à la aqua-tinta и, уповая на милость и помощь божию и на ваши советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному—это чистейшая, угоднейшая молитва человеколюбящему богу. И посильно бескорыстная услуга человеку. Это мое единственное непреложное стремление. На большее я не могу надеяться. И только буду просить не оставить меня вашим просвещенным содействием и в этой моей милой лучезарной надежде.

Целую руки моей святой заступницы Г[рафини] Н[атальи] И[вановны], целую вас, ваше семейство, целую все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный

художник Т. Шевченко.

Я не мог отказать себе в радости подписать под этим черновым письмом Т. Шевченко: в продолжение 10 лет я писался и подписывался рядовой Т. Шевченко и сегодня в первый раз написал я это душу радующее звание.

27 [июля]. Сегодня за обедом Ираклий Александрович [Усков] сообщил мне важную художественную новость, вычитанную им в „Русском инвалиде“. Новость эта для меня интересна своею неновостью. „Инвалид“ извещает, что, наконец, колоссальное чудо живописи—картина [А. А] Иванова—*Иоанн Креститель* [144] окончена! и была представлена римской публике во время пребывания в Риме вдовствующей императрицы Александры Федоровны [145] и, по словам самого художника (в газете сказано — скромного) произвела фурор, какого он не ожидал. Дай, боже, нашому теляті вовка ззісти Но мне что-то страшно за автора *Марии Магдалины.* [146] Двадцатилетний труд сохранил ли сочность и свежесть жизни? Не увял ли он, как южный роскошный цветок, от долгого и ненужного поливанья, не заплесневел ли он, как хмельное пиво, от долгого брожения? Боже сохрани всякого артиста от такого печального и запоздалого урока.

Еще будучи в Академии, я много слышал об этом колоссальном, тогда уже почти оконченном, труде. Художники нерешительно говорили о нем; аматеры решительно восхищались,—в том числе и покойный Гоголь. Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл *немцем*,—т. е. кропуном, а кропать, по словам великого Брюллова, верный при-

знак бездарности, — с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его Марию Магдалину.

Восторженное письмо Гоголя ничего не сказало художнику, ни даже опытному знатоку об этом произведении. [147] Теоретики все одним миром мазаны. Граф де-Кенси [148] написал отличнейший трактат о Юпитере Олимпийском—статуе Фидия, издал его in folio, великолепно для своего времени (в начале текущего столетия), и, если бы не приложил к своему роскошному изданию рисунков, художники бы подумали, что душа самого великого Фидия говорит устами вдохновенного графа. Но неуклюжие изобличители—рисунки испортили все дело. Как после этого верить этим восторженным теоретикам? Говорит как будто и дело, а делает чорт знает что. Почтенному графу, вероятно, нравились эти рисунки-уроды, если он приложил их к своему ученому трактату.

Как бы я был рад, если бы картина Иванова опровергла мое предубеждение: к коллекции моих будущих эстампов à la aqua-tinta прибавился бы еще один великолепный эстамп.

О картине Моллера [149] „Иван Богослов проповедует на острове Патмосе во время праздника вакханалий", о которой я случайно прочитал в „Русском инвалиде", что она показывается в Петербурге публично в пользу раненых в Севастополе,— не знаю, почему я имею выгоднее понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова. [150]

28 [июля]. Еще вчера, т. е. в субботу вечером, уговорились мы с Фиялковским провести сегодняшний воскресный [день] где-нибудь подальше

от противного укрепления и для сей единой радости назначили место в балке, в глубоком диком овраге, верстах в пяти от укрепления, где можно найти и защиту от солнца под скалами, и родниковую свежую воду. Уговорились мы итти туда рано и провести весь день в ущельях этого мрачного оврага. На счет провианта положено было, чтобы он взял кусок сырой баранины, фунтов 5-ть для *кебаба*, [161] хлеба соразмерную долю и бутылку водки; а я—чайник чаю, сахару, стакан и 5 огурцов. Все уложено как нельзя лучше,—и дешево, и забористо, и я уже, по своему обыкновению, сибаритствовал умственно в объятиях мрачного оврага. Прошла ночь; настало утро и солнышко взошло, а Фиялковский не является на огород, как мы условились. Я ждать-пождать, а его все нет, как нет. Я нагрел чайник и принялся за чай, не переставая смотреть на укрепление. Наконец, я ругнул изменника хорошенько и принялся строчить новую тетрадь, а Андрий Обеременко (огородник от подвижной команды и близкий мой земляк), которого я пригласил с собою в балку в виде товарища и мехоноши, выпивши, вместо стакана чаю, рюмку водки, принялся ругать проклятого нечестивого ляха.

Поусумнившись достаточно в достоинстве многолетнего труда Иванова, я закрыл тетрадь и пошел в укрепление разрешить задачу, заданную мне паном Фиялковским. Прихожу, а он сидит на крылечке около казарм и ругает Дахмищина, солдата-жида, за то, что он не дает ему более 20 копеек за койку. „А что же ты—говорю я: „про балку забыл?“—„Постой, дай кончить гандель“,* говорит

* Торговлю.

он. Кончивши гандель, он признался мне, что от заката до восхода солнца тянул штосса,* и протянулся до снаги.** Кулих даже подушку взял. Пособолезновав немного о его неудаче, я предложил снова путешествие в балку, уже в три часа после обеда, взявши на свой кошт и хлеб, и мясо, и водку. Он охотно согласился, и мы, сказавши друг другу „непременно", расстались. Взял я у артельщика в долг 5 фунтов баранины, столько же фунтов хлеба и, возвратясь на огород, послал Обеременка в кабак за водкою.

После обеда я, по обыкновению, вздремнул немного под вербою, и ровно к трем часам собрались мы с Обеременком в дорогу. Собравшись, уселись мы снова под вербою. Пробило 4 часа: нема нашего пана Фиялковского. Андрий [Обеременко] молча посмотрел на меня и принялся снова за свою люльку-буруньку. Пробило и пять часов,— а пана Фиялковского не видать. Андрий снова посмотрел на меня и уже не вытерпел: плюнул. Прошло еще полчаса, и Андрий начал росташовувать*** торбу с провиантом и, вынимая баранину, проговорил: „Понапрасну тілько добро знівечили...**** Сказано — лях! — прибавил он как бы про себя: невіра-то так и пропаде, та і здохне невірою". Я не нашел нужным убеждать Андрия в противном, велел ему отдать баранину в комендантскую кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам пошел на ближнюю пристань навестить заключенного друга Мостовского.

* Штос—одна из азартных карточных игр.
** См. выше стр. 43.
*** Раскладывать.
**** Испортили.

Проходя мимо первой батареи или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто шепнул кто-то: не здесь ли Фиялковский? Всматриваюсь и глазам не верю: мой Фиялковский, спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх; кружок игроков быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: орел!—Фиялковский нагнулся очистить кон,* а я, пожелав ему успеха, пошел далее.

Погостивши у Мостовского до восхода едва ущербленной луны, я собрался в обратный путь. Прощаясь, он благодарил меня за навещение и за то, что два года тому назад я не принял его благородного предложения поселиться у него на квартире. Теперь он только понял, какую подлую кляузу мог вывести Мешков из нашего сожительства: у него не дрогнула бы рука воспользоваться силою военно-уголовных законов, где сказано, что офицер, позволивший себе фамильярное обращение с нижним чином, предается военному суду. Теперь только он увидел пропасть, от которой я его отвел, зная лучше отвратительного надворного советника Мешкова.

Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал несколько раз, как лучшую молитву создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке

---

* Очередь (т. е. принять монету, чтобы дать место следующему игроку).

я сел отдохнуть и, глядя на освещенную луной тоже каменистую дорогу, еще раз прочитал:

Выхожу один я на дорогу.
Предо мной кремнистый путь блестит;
Ночь тиха; пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Отдыхая на камне, я смотрел на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале, и многое, многое вспомнил из моей прошлой невольнической жизни. В заключение поблагодарил всемогущего человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела пройти этот мрачный, тернистый путь, не уязвив себя и не уязвив в себе человеческого достоинства.

Успокоив себя святою молитвою, я побрел тихонько на огород, нарушив глубокую тишину очаровательной ночи песнею:

Та нема в світі гірш нікому,
Як сіромі молодому...

Не доходя с полверсты до города (это уже было в первом часу ночи), меня встретил Андрий Обеременко вопросом: „Де це вас бог носить до такої доби?*—„У гостях, кажу, був.“—„Та я бачу,** що в гостях, бо добрі люде тілько йдучи з гостей співають“.—Я, как будто не слыша его слов, запел:

Где багач, іде дукач***
Пъян шатаеться,—
Над бідною голотою
Насміхаеться.

---

* Времени (часу).
** Вижу.
*** Богач.

— „Та годі вже вам, — перебивает меня ласково Андрий: — ідіт лучче та покладіться спать“... А я продолжаю:

Один веде за чуприну,
Другий з тила бьє:
Не йди туда, вражий сину,
Де голота пьє.

Андрий, убедившись, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе, разостлал свою шинель, нарвал и положил под голову бурьяну, положил меня, перекрестил и ушел. Мне не приходилось разочаровывать старика в его богоугодном подвиге, а тем более являть перед ним свои лицедейские качества. Я от души молча поблагодарил его и, недолго поворочавшись, заснул.

29 [июля]. Видел во сне Семена Артемовского с женою, выходящего от обедни из церкви Покрова; на Сенной площади будто бы разведен парк, деревья еще молодые, но огромные; в особенности поразил меня своею величиною папоротник: настоящий китайский ясень. В парке встретил Кулиша, тоже с женой, и вместе пошли в гости к Михайлу Лазаревскому.

Все, что сердцу дорого, сгруппировалось на этот раз в моем сновидении. И если бы не проклятые курчата своим несносным чекотаньем меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь из дорогих моих друзей. И мало того, что бегают около тебя, визжат, кокочут,—нет, нужно еще тебе на лицо вскочить, да за нос ущипнуть. Счастлив, ты, храбрый молодец, что не попал мне под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда он спит и видит во сне такие отрадные, милые сердцу лица.

Разбуженный так некстати чубатеньким нахалом, я встал и ушел в беседку с твердым намерением продолжить прекрасное видение. Но при всем моем желании этот проект мне не удался. Солнце, которое другой раз так вяло, медленно подымается из-за горизонта, тут, как на смех, быстро выскочило, как бы желая поощрить бесчеловечный поступок чубатого нахала и поднять на ноги смиренно в углах дремавших мух. Делать нечего, трудно противу рожна прати; делать нечего, я встал, уготовал себе трапезу, т. е. чай, и пошел искать человеколюбивого Андрия [Обеременко], так любовно успокоившего меня вчера под вербою; чтобы столь милосердный подвиг достойно оценить, я думал его попотчевать

Чаэм шклянкою
І горілки чаркою.

Но увы! это доброе намерение мне не удалось! Андрий (чего я никак не ожидал) спал сном праведника в своей темной землянке. Зная из недавнего опыта, как невежливо и нехорошо нарушить чужой покой, я оставил Андрия в покое, вполне уверенный, что старик позволил себе вчера лишнюю чарку, что с ним если и случается, то весьма-весьма редко. Артиллерийский огородник, его друг и товарищ по землянке, приятно рассеял мое, не совсем выгодное, предположение в отношении Андрия. Он сказал мне, что прошлой ночью Андрий был очередным ночным сторожем огорода и, разумеется, во всю ночь не спал, так теперь и пополняет ущерб.

Делать ничего, чаю шклянку и горилки чарку отложил я до другого раза, а теперь напишу несколько строк в моем журнале на память о тебе, мой настоящий, простой, благородный земляк.

Вскоре по прибытии моем в укрепление я заметил в солдатской публике (другой публики в укреплениях не имеется), в этой однообразной, жалкой публике, совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка чабанка, * — все в нем обличало моего земляка. Спрашиваю, что за человек такой? Мне отвечают, что это Андрий, госпитальный служитель и хохол. Этого-то мне и нужно. Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих, и потому-то я начал с ним сближаться издалека и осторожно, удостоверившись от его ближайшего начальства, от унтер-офицера Игнатьева и капитана [А. В.] Балагурова, смотрителя полугоспиталя, что Андрий Обеременко — примерной честности и трезвой жизни человек. Я начал искать случая поговорить с ним наедине по-своему, но он как будто бы заметил мои маневры и, как казалось, старался отклонить от себя эту честь. Меня это более подстрекало на сближение.

Большую часть бессонных ночей в Новопетровском укреплении провел я, сидя на крылечке у офицерского флигеля. Однажды — это было зимой часу в третьем ночи — сижу я, по своему обыкновению, на крылечке, смотрю — из лазаретной кухни выходит Андрий. Он тогда занимал должность хлебопека и квасника. Завидное место огородника я уже ему выхлопотал. — „А що, говорю я Андрию — і тобі мабуть ** не спится?“ — „Та не спится, матері його ковінька“, сказал он. Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный, родной выговор. Я по-

---

* Высокая смушковая шапка.

** Должно быть.

просил его посидеть трохи * со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий отвечал, что он „губерниі Київськоі, повіту ** Звенігородського, із села Різаноі, тут, коло Лисянки, коли чували“, *** прибавил он, а я прибавил, что „не тільки чував, а сам бував і в Лисянці, і в Різаній, і в Русалівці і всюди“. Одним словом, оказалось, что мы—самые близкие земляки. „Я сам бачу, сказал он, — що ми своі, та не знаю, як до вас приступити бо ви все-то з офицерами, то з ляхами, то що. Як тут, думаю, до його підійти? Може воно й сам який-небудь лях, та так тілько ману пускае“. ****—Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, но пробило три часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.

Так началося наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее,—более узнавали мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались те же самые, что и в первое наше свидание: он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени искательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему, богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во все это, но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое

---

* Немного.
** Уезда.
*** Слыхали.
**** Туман.

крылечко, а время—ночь, когда все, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная, даже суровая наружность его облекала в нем человека жестокого, равнодушного. Но это—маска. Он страстно любил маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто, как живописец, любовался его темнобронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна единственная радость в его суровой, одинокой жизни. Независимо от его простого, благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому благородному другу, Андрию Обеременко.

Пошли же тебе, господи, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И помоги тебе пресвятая матерь всех скорбящих пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой днепровой воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасной, нашей милой родины!

В продолжение дня я не видался с Андрием. Перед вечером пошел я нарисовать вид первой батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского. Когда-нибудь сделаю акварельный рисунок. Уже стемнело, когда я возвратился на огород. Под вербою сидел Андрий и встретил меня таким вопросом: „А що

ми будем робить з отим мясом?" — „З яким?" — „А що на льоді* другий день валяэться". — „Собакам його выкинуть; а як не смердить, то повечеряем". ** — „Я вже вечеряв". — „А я не хочу вечерять", — сказал я и уже хотел итти в беседку. „А знаете що?" — сказал Андрий, останавливая меня. — „Не знаю що". — „Ходімо з этим мясом завтра раненько в балку та поснідаэм до-ладу". *** — „Добре, ходімо" — „Та не беріть з собою оттого цигана, оттого проклятого ляха. Нехай він сказиться". **** — „Добре, не візьмемо нікого". И мы расстались.

5 августа. В 5 часов вечера приплыл я на самой утлой рыбачьей лодке в город Астрахань. Все это так нечаянно и быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся. Я, как во сне виденную, припоминаю теперь прогулку мою в балку с Андрием Обеременком, после которой на другой день, т.е. 31 июля, Ираклий Александрович [Усков] внезапно согласился дать мне пропуск прямо в Петербург. На другой же день он сдержал свое слово, а на третий, т. е. 2 августа, в 9 часов вечера, оставил я Новопетровское укрепление и после трехдневного благополучного плавания по морю и по одному из многочисленных рукавов Волги прибыл в Астрахань. [152]

6 [августа]. Астрахань это — остров, омываемый одним из притоков Волги, перерезанный рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и ка-

* Льду.
** Поужинаем.
*** Хорошенько позавтракаем.
**** Взбесится.

налом, ни в чем не уступающим реке Кутуму. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными, деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17 столетия. Таков город Астрахань, но не таким он мне представлялся, когда я, подходя к Бирючьей Косе (главная застава в устьях Волги), увидел сотни, правда безобразных, кораблей, нагруженных большею частью хлебом,—мне представлялась Венеция времен дожей, а оказалось—гора мышь родила. А приток Волги, окружающий Астрахань и сообщающийся с Каспийским морем, глубиной и шириной Босфору не уступит. Но приток этот омывает не Золотой Рог, а огромную кучу вонючего навоза. Где же причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-татарско-калмыцком народонаселении или в другой какой политико экономической пружине? Последнее вероятнее, потому вероятнее, что и другие наши губернские города ничем не уступают Астрахани, исключая Ригу.

Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани, по причине Макарьевской ярмонки. Пароход „Меркурий“ возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа нагрузится и пойдет в Рыбинск, и меня довезет до Нижнего. А пока я волею-неволею делаюсь соглядатаем сего нарочито-грязного города.

7 [августа]. Ай-да Астрахань! ай-да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел сегодня в одну из так называемых гостиниц на косе Герал (на Астраханском Золотом Роге) спросить чего-нибудь поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне что все, что прикажете, все есть, кроме чая. А на поверку оказалось, что ничего не имеется, кроме чая, даже обыкновенной ухи. Это — в Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит осетриной! И если бы не приехал сюда по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления плац-адъютант Бурцов, [153] то мне пришлось бы ночевать если не на улице, то в калмыцкой кибитке. Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову: он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе.

8 [августа]. На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый город Белебей (самый ничтожный в Оренбургской губернии) должен был бы сделать приятное впечатление. Со мной случилось не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо. Сегодня поутру вышел я в город с намерением отыскать колбасную, чтобы запастись прочной провизией для дороги и попристальнее всмотреться в наружность города. Проходя по Московской улице (Невский проспект), у меня начало сглаживаться первое неприятное впечатление. Улица — хоть куда. Дома большею частью трехэтажные, украшенные снизу, как водится, вывесками, преимущественно го

лубыми с золотом. Из лавок, преимущественно галантерейных, выглядывают вяло-красивые армянские, а изредка и персидские выразительные физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное, здание во вкусе Гваренги. [151] Губернаторский дом—тоже здание массивное в отношении к частным домам—бельэтаж, àla Ренесанс, смотрит весело, в роде бонтонного отеля, поддерживаемый массивною галерею аркад, под которыми помещаются лавки с разными благородными товарами, в том числе и с кумысом. Сначала меня это поразило своей дисгармонией: в жилище представителя верховной власти — лавки с разными товарами, в том числе и с кумысом! Странно. Но как мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидою власти, то я на этой мысли помирился и пошел далее. Обойдя вокруг покрытый пылью сквер, я вышел в другую, параллельную Московской, улицу, уже менее украшенную вывесками и армянами. Из этой ничем особенно не примечательной улицы я взял налево и, перейдя деревянный мост, очутился за Кутумом.

Пройдя шагов сто по улице, перед домом, наружностию своею напоминающим загородный трактир средней руки, деревянный одноэтажный с бельведером, и по широкой, окружающей бельведер, галерее,—усатый кавалер, в сером пальто-сак и с серебряным георгием, прохаживается и с достоинством посматривает на снующих плебеев, калмыков и татар. Настоящий гренадер под фирмою Лонлакея. „Не дворянское ли это астраханское собрание“, подумал я, и хотел итти далее, как мне мелькнула в глаза над воротами желтая табличка с надписью: дом Сапожникова. Не будь Александр

Александрович Сапожников бриллиантовою звездою астраханского горизонта и безмездным астраханским метр-д'отелем я зашел бы к нему, как к старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили.[155]

За домом и садом Сапожникова видны вдали лачуги. Я, как живописец, люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам, но как человек, искренно любящий человека, я перед домом миллионера сделал налево кругом и вскоре очутился в центре города.

В центре города, т. е. на Московской улице, зашел я в гостиницу под фирмою „Москва", спросил себе *пару* чаю и уселся в компании татар и армян. Машину накрутил какой-то молодец в солдатской шинели, и она задребезжала увертюру „Роберта-Диавола".[156]

Несмотря на отсутствие всякой гармонии, меня тронула, и до слез тронула эта изуродованная красавица-мелодия. Значит, я давно уже не слушал ничего и похожего на музыку. Барабан и горн очерствили мой слух, но не очерствили сердца, воспринимающего прекрасное.

После увертюры Роберта машина зашипела: „Уж как веет ветерок".[157] Я и это шипение прослушал с наслаждением и, почти примиренный с Астраханью, заплатив пятиалтынный за чай, вышел на улицу.

Московская улица. Существует ли хоть один губернский город в России без Московской улицы?— Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие губернские города, в том числе и портовый город Астрахань. Дрянь, никуда негодный, портовый город Астрахань. Я обошел все главные и не главные улицы, прочитал всех цветов и большие и ма-

лые вывески, говорившие большею частию о продаже чихиря и панских товаров, но ни одна из них не сказала о продаже копченых колбас. Эх, немцы, немцы сарептские! и вы акклиматизировались. А я, наверняка, рассчитывал на вашу стойкую колбасолюбивую натуру.

После обеда, по наставлению Авдотьи кухарки Бурцова, пошел я отыскивать немецкую булочную, в которой, по ее словам, продаются и немецкие колбасы. Топография города уже мне более или менее известна, и я, по указаниям той же Авдотьи, без особенного труда нашел немецкую булочную. Добродушная круглая физиономия немца вытянулась и осторожно улыбнулась, когда я вместо булки спросил колбасу. Но как я не шутя спрашивал, то немец, не шутя, и отвечал мне, что он булочный, но не колбасный мастер, и что колбасного мастера во всем городе нет ни одного, и что если в сарептской лавке я не найду этого товару, то до самого Саратова я не увижу ни одной колбасы. Но так как сарептская лавка, по сказаниям того же немца, весьма неблизка к центру города, то я и отложил мои поиски до завтрашнего дня.

Сегодня 8 августа. Сегодня выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления в Гурьев-городок и возьмет с собою Фиялковского и прочих освобожденных вместе со мною.[158] Желаю тебе лучшей будущности, Фиялковский! ты вполне ее достоин. На расставании он и Мостовский дали мне свои будущие адреса, но едва ли у нас завяжется когда-нибудь переписка, потому что я не принадлежу к касте пустомелей, а они, как люди более меня практические, тоже не будут переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню воспоминание о вас, мои благородные друзья.

9 [августа]. В 5 часов утра пошел я от нечего делать на Косу (пристань) проведать моих новопетровских аргонавтов, так быстро переплывших со мною Хвалынское море. Рыбу они свою продали, купили хлеба, и с этим золотым руном отплывут завтра к пустынным берегам полуострова Мангишлака. Желаю вам счастливого плавания, бесстрашные плаватели. Поклонитеся от меня прибрежным скалам, на которых я провел столько бессонных ночей, поклонитеся от меня коменданту [Ускову] и благородному Мостовскому — и больше никому.

Простившись с аргонавтами, я прошел на мильне *исады* (съестной базар). Кроме фрукт, огородной зелени и хлеба печеного, на этих исадах я ничего не заметил; мясо не продается по случаю поста, а рыба продается на лодках. Публика рыночная как и везде: перекупки, повара и кухарки; изредка попадается заплывшая жиром купчиха - гастрономка, да такого же содержания особа духовного чина, сугубо рачащая [*sic*] о плоти греховной. У щеголя, краснобородского кизилбаши, купил я за 5 копеек серебра 5 головок чесноку (это добро доставляется сюда из Персии) и отправился в кремль полюбоваться вблизи красавцем-собором. Он, как щеголь XVII века, красуется в кружевах перед всем городом.

По слухам знаю я о существовании книги, под названием *Описание города Астрахани.*[159] Но о приобретении ее здесь, на месте и помышлять нечего. Город, не имеющий книжной лавки, значит и читателей не имеет, а как бы кстати иметь теперь в руках эту книгу: там верно помещены документальные сведения о времени построения кремля и собора, как главного украшения города. Кто мне

заменит эту дорогую книгу? К кому обратиться мне с моим любопытством? — И как ранняя обедня еще не отошла, то я пошел прямо в собор с целью встретить там священника и обратиться к нему с моей антикварской любознательностью. К счастью моему, я встретил самого ключаря собора, отца Гавриила Пальмова.[160] Так он мне рекомендовался. Но удовлетворить мое любопытство сегодня он не мог, по недостатку времени, и назначил мне свидание в соборе в воскресение после поздней обедни. Подожду.

10 [августа]. Ходил в контору „Меркурия“ узнать, скоро ли прилетит этот сын Юпитера, и мне сказали, что его ожидают не ближе 15 августа, а к 20 августа выйдет обратно в Нижний. Ожидание, как всякое ожидание, несносно. Но к этому ожиданию лепятся еще издержки, которые я думал устранить, прилепившись у Бурцова на квартире; а он, на грех, вздумал жениться (это общая слабость Новопетровского гарнизона), 17 августа у него свадьба, и я, разумеется, оказался совершенно лишним человеком. С целью отыскать себе угол на несколько дней, пошел я шляться по переулкам вокруг конторы „Меркурия“. Здесь все заперто, кроме скворешниц на высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых ворот наугад, потому что билетиков здесь над воротами не приклеивают, как это водится в порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму. На безрыбьи и рак — рыба, на безлюдьи Фома — человек, говорит пословица. Вследствие этой мудрой

пословицы, с завтрашнего дня я ночую в чулане, за 20 коп. серебра в сутки, 6 рублей в месяц чулан с помойной ямой! Да это хоть и в Сан-Франциско—так в пору.

Давши задаток, я пришел к Бурцову и, по случаю духоты и пыли на улице, пробыл весь день в комнате, написал радостные письма друзьям моим, Лазаревскому и Герну. Кухаренку напишу завтра. Ожидаю от него ответа на *Москалеву Криницю*. Не знаю, что значит его молчание.[161]

Перед вечером вышел я, как говорится, и себя показать и на людей посмотреть. Вышел я на набережную канала. Здесь это — Английская Набережная в нравственном отношении, а в физическом — деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться времени его построения, узнал только, что он построен на кошт некоего богатого грека Варвараци.[162] Честь и слава покойному эллину! Так на этой-то набережной по вечерами рисуется цвет здешнего общества.

Женщины здешние ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою, не исключая и мужчин гражданского ведомства. Непонятная любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы. Эти повсеместные плотоядные не акклиматизируются: они и здесь такой же шерсти, как и в Архангельске, как и везде. Плебейская же физиономия калмыка и татарина здесь редко покажется: ее место на *исадах* и в грязных переулках. Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благо-

родит этот некрасивый тип. Вернейшие слуги и лучшие работники здесь суть калмыки. Любимый цвет — желтоватый и синий, пища — какая угодно, не исключая и падали. Место жительства — кибитка, а занятия — рыбная ловля и, вообще, тяжелая работа. Мне понравились эти родоначальники монгольского племени.

11 [августа]. После поздней обедни в соборе обязательный отец Гавриил [Пальмов] показал мне ризницу собора, замечательную немногими, но по достоинству работы и старины, весьма редкими вещами. Первое, что он мне показал, это — плащаница, шитая шелками и золотом, времен Ивана Грозного и, по преданию, отбитая у Марины Мнишек; 2) печатное, плохо сохранившееся евангелие 1606 года; 3) саккос, шелками и золотом шитый, епископа Иосифа, убиенного Разиным; 4) фелонь, шелками и золотом шитая, того же епископа; 5) архиерейский посох удивительно тонкой работы, дар царя Бориса Годунова; 6) серебряный ковш искусной работы, дар царя Петра Первого 1700 года. Огромный потир венецианской работы 1705 года. Время заложения собора 1698 года, а освящения — 1710 года 14 августа. На вопрос мой, кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал: простой русский мужичок.[163] Не мешало бы Констанину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка.[164] Я, разумеется, не противоречил и спросил его о времени построения кремля. Он отвечал: „Борисом Годуновым, а малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным, вскоре после взятия у татар Астрахани“, прибавил он, замыкая ризницу. И на том спасибо.

12 [августа]. В 7 часов утра пришел сверху пароход „Князь Пожарский“, принадлежащий компании Меркурия. Я пошел в контору справиться о его обратном рейсе,— определительно в конторе мне ничего не сказали. Хотел взять билет, и его не дали за отсутствием главного приказчика. В надежде на скорое отплытие и по случаю умеренной духоты я пошел шляться из улицы в улицу, не теряя надежды отыскать хоть какую-нибудь колбасную лавку. Но увы! кроме пыли, смраду и вечной вывески — продажа чихиря, я ничего не встретил.

Чем больше в лес, тем больше дров. Возвращаясь из сарептского магазина, в котором все есть, кроме копченой колбасы и сарептской горчицы в банках, ругнул я моих приятелей немцев, разумеется, выйдя на улицу. Полюбовался вычурно-грубой старой архитектурой церкви Рождества богородицы, Морского ведомства, и, по наставлениям отца Гавриила, пошел отыскивать градскую библиотеку. Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске „Публичная библиотека для чтения“. Браво, подумал я, в Астрахани — в Астрахани публичная библиотека! Стало быть, и чтецы имеются. Замарашка мальчуган указал мне вход в это святилище, и я благоговейно поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь, в сюртуке с красным воротником и с гренадерскими усами, которого я принял за полицейского чиновника, сказал мне, что книги Рыбушкина „Описание города Астрахани“ в настоящее время в библиотеке не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева. Я объяснил ему, что я — не здешний, но он все-таки послал меня в Приказ

общественного призрения. Делать нечего, отправился я к помянутому бухгалтеру Васильеву и от сего почтенного старика получил надежду прочитать книгу Рыбушкина завтра в 9 часов утра.

13 [августа]. Переночевал кое-как в новой квартире или, вернее, чулане, поутру пошел отворить ставни, и меня какой-то сытый бородач окатил помоями из полоскательной чашки и меня же выругал за то, что меня чорт носит спозаранку под окнами. Я ругнул его бородатым старым ослом и отправился к Бурцову чай пить. После чая написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое, и с лоскутком бумаги и кусочком карандаша пошел в публичную библиотеку для чтения. Библиотекарь, с красным воротником и гренадерскими усами, объяснил мне, что бухгалтер Васильев не возвратил еще желаемой мною книги. Я остался ждать, потому что бухгалтер Васильев вчера сам мне обещал представить книгу в библиотеку непременно к 9 часам.

В ожидании „Описания города Астрахани" Рыбушкина я спросил каталог публичной астраханской библиотеки; каталог тоже был на дому у какого-то важного лица (не у Сапожникова ли?). И так, без каталога в руках, я увидел на полках запыленный „Вестник Европы", длинную фалангу „Московского телеграфа", в нескольких экземплярах графа [Д. И.] Хвостова, Державина, Карамзина, Дух законов [165] и Свод законов с прибавлениями, а остальные полки завалены творениями Дюма и Сю, не в подлиннике. О манускриптах, касающихся города и края, я не знаю отчего, совестился спросить.

Но что всего интереснее было для меня в этой публичной библиотеке, это — „Русский вестник" —

журнал, уже несколько лет издаваемый, а я сегодня в первый раз вижу. В какой же я дикой пустыне прозябал до сих пор!

Первая книжка „Русского вестника“ за 1856 год попалась мне в руки. Оглавление мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, [С. М.] Соловьева[166], [С. Т.] Аксакова — имена, хорошо известные в нашей литературе. Я развертываю книгу, и мне попалась литературная летопись, читаю — и что же я читаю? Наша славная, преславная Савор-могила — раскопана! Нашли в ней какие-то золотые и другие мелочи, не говорящие даже, действительно ли это была могила одного из скифских царей. Я люблю археологию; я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной матери-истории; я вполне сознаю пользу этих раскапываний. Но лучше бы не раскапывали нашей славной Савор-могилы. Странная и даже глупая привязанность к безмолвным, ничего не говорящим курганам! Во весь день и вечер я все пел:

У степу моя могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла![167]

14 [августа]. В продолжение ночи шел проливной дождь, и из пыльной серой Астрахани поутру я увидел Астрахань черную, грязную. Вооружившись туркменским чапаном, я пошел к Бурцову пить чай, потом отнес на почту письмо и пошел в библиотеку. Но сия публичная библиотека, вероятно, по случаю дождя и грязи, была заперта, и я, поклонившись дверям сего недоступного, таинственного святилища, ушел во-свояси с миром, дивяся бывшему.

И что мне этот Рыбочкин[168] так завяз в зубы? Интереснейшее в Астрахани и без его указания я видел (соборную ризницу), а об остальном стоит ли хлопотать? Не стоит![169].

15 [августа]. В день Успения пр[святой] б[огородицы] встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшею радостью в такой далекой стороне, которого я встретил, как отца, и как брата, как величайшего друга, и имел счастие прожить с ним несколько дней почти вместе.

Воспитанник киевского университета Иван Клопотовский.[170]

16 [августа]. В тот же день и я был осчастливлен встречею с любимым и уважаемым мною поэтом, Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда. Воспитанник того же университета Степан Незабитовский.[171]

Я запишу в своем дневнике, что 16 августа я провел с поетом Малороссии, Шевченко. Евтихий Одинцов.[172].

Августа 16. С душевным восторгом я встретил и провел несколько часов с моим милым батьком, старым казаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен богу, что он довел меня быть вместе с ним. Федор Чельцов.[173]

17 [августа]. Иван Рогожин, из дружбы к Перфилу, поступил за него на полгода в солдаты; но как ни хитер и ни изворотлив был бес, но никак

не мог примениться к порядку, и его бедного драли, как Сидорову козу, так что, когда прошло уже полгода, ему стыдно было показаться к своему набольшему. Бедный бес не рассчитал, что как надеть ранцы, то выходит крест и так ему по истине пришлось несть крест господень, а Перфил, когда услышал от него рассказ о службе, сказал ему: „в чужие сани не садись". С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах; а ти ж то, батьку, десять літ пробув них. Офицеры, як почуяли от Перфила о том, что Рогожин за него пробыл полгода, выразили свой восторг словами: „Знатно! и бес побывал в наших руках". Скрепил Иван Рогожин. Федфебель Перфил.

18 [августа]. В. Кишкин. Встреча со старым знакомым.[174]
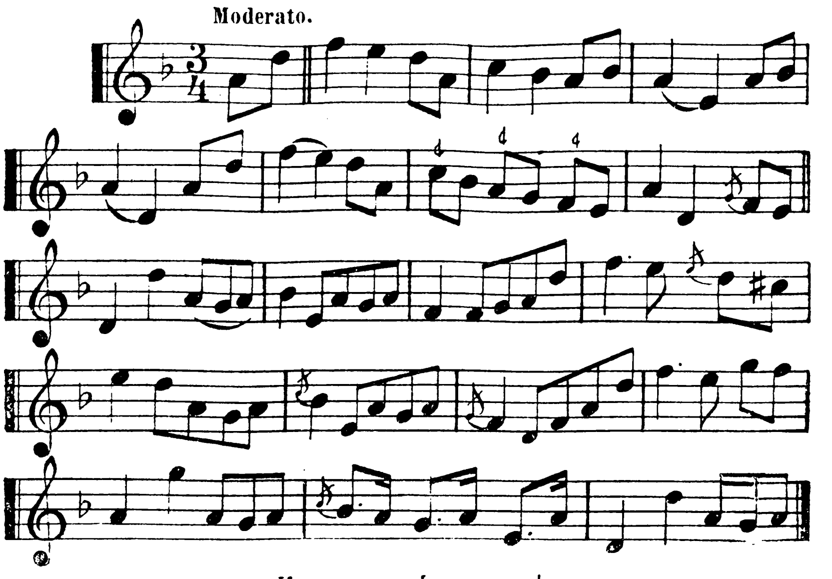
19 [августа]

Le karz Karol Nowicki.[175]
Pawel Radziejovski
Tytus Szalewicz [176].

20 [августа]. Krascmowsiwo niewielu otrzymalo w udziale, mnie zas posbawionemy tego boskiego daru pozostaje w milczeniu tylko podziwiaé i holdowaé twórczej twej potedze Swiety narodowy wieszczumeczeniku Malejrosii. Twoja dzisiejsza przytomnose warod nas zupelnie szczesliwym mnie czyui i chwile obecne nigdy sie w mej pamieci niezaira. O, stokroé, stokroe blogoslawie ten drogi dzien, w ktòrym niedo pozwolilo mi osobiscie poznac sie z toba gorliwy i nieulekty obowiadaczu slowa prawdy. Niech ze slow tych kilka przybominaja i poeto-malarzu gleboka czeia powazajacego ciebie Tomasza Zbrozka.[177]

23 [августа]. С 15 по 22-е августа был у меня в грязной и пыльной Астрахани такой светлый прекрасный праздник, какого еще не было в моей жизни. Земляки мои, большею частию кияне, так искренно, радостно, братски приветствовали мою свободу и до того распростерли свое гостеприимство, что лишили меня свободы самому вести свой журнал и взяли эту обязанность на себя. Благодарю вас, благородные, бескорыстные друзья мои. Вы подарили меня такою радостию, таким полным счастием, которое едва вмещаю я в моем благодарном сердце, и память об этих счастливейших днях я вношу не в прозаический журнал мой. Я внесу [их] в сокровищницу моего сердца [178]

15 же августа, вечером, Зброжек случайно у Сапожниковых проговорился, что я в Астрахани. И 16 августа я возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был не шалун-школьник в детской курточке, которого я видел последний раз в 1842 году; это уже был мужчина, муж и, наконец, отец прекрасного дитяти, а, сверх всего этого, я встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго человека. Черта, характеризующая семейство Сапожниковых. Он, не знаю, как надолго, оставляет Астрахань и до Нижнего-Новгорода предложил мне каюту на абонированном им пароходе „Князь Пожарский". Пятирублевый билет, взятый мною я возвратил в контору пароходной компании „Меркурий" с тем, чтобы он был отдан первому бедняку безденежно. Капитан парохода „Князь Пожарский", Владимир Васильевич Кишкин, распорядился так, что, вместо одного бедняка, поместил на барже пять бедняков, не могших заплатить за место до Нижнего даже по целковому.



К записи 27 [августа].

25 [августа]. Парохода „Князь Пожарский" *буфетчик* Алексей Панфилович Панов, отпущенник г-на Крюкова. [179]

27 [августа]. Ночи лунные, тихие, очаровательно-поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладкоуспокоительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безмездно возносит мою душу к творцу вечной пленительными звуками своей лубочной скрипицы. Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно-глубоко-унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини, благодарю тебя, мой случайный, мой благородный! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный неумолимый, неублажимый боже!

Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника, пароход, в ночном погребальном покое, мне представляется каким-то огромным, глухо-ревущим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовой проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт! [180]

Ваше молодое не по дням, а по часам, растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Мое пророчество несомненно. [181] Молю только многотерпеливого господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого душу раздирающего вопля своих искренних, простосердечных молителей.

28 [августа]. Со дня выхода парохода из Астрахани, т. е. с 22 августа, я не могу ни за что, ни даже за свой журнал, приняться аккуратно, как это было в Новопетровском укреплении. Я все еще не могу и не желаю освобождаться из под влияния, произведенного на меня в Астрахани моими земляками. И повторившего это чудное влияние Александром Александровичем Сапожниковым, и всеми сопутствующими ему его родственниками и друзьями. Все они, начиная с хозяйки (Нины Александровны [182]) и хозяина, все они так дружески просты, так внимательны, что я от избытка восторга не знаю, что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник, вырвавшийся из школы. Теперь только я сознаю отвратительное влияние десятилетнего уничижения, теперь только я вполне чувствую, как глубоко во мне засела казарма со всеми ее унизительными подробностями. И такой быстрый и неожиданный контраст мне не дает еще войти в себя. Простое человеческое обращение со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным.

Берега Волги от Царицына и Дубовки с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее, а я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг. Все книги всех русских журналов за текущий год добрейший Александр Александрович предложил к моим услугам, и я только сегодня начал читать *Королеву Варвару* Попова и только начал, а журнал свой, который в эти дни должен бы был наполняться такими очаровательными событиями, я совсем оставил, извиняя себя невозможностью писать по случаю вздрагивания палубы [183]. О, как бы я желал продлить это сладкое состояние, это чувство животворного очаровательного бездействия.

Я оставил знойную степь в кителе и туркменском верблюжьем чапане. В Астрахани я думал только о пологе от комаров, а север, к которому стремлюсь, мне и в голову не приходил. И сегодня я мог бы быть порядочно наказан за невнимание к беловласому Борею, если бы не выручил меня Александр Александрович. В продолжение ночи дул свежий норд-ост, и к утру сделалось порядочно холодно, так порядочно, что не прочь бы был и от тулупа. А у меня, кроме кителя и помянутого чапана, совершенно ничего не оказалось. Александр Александрович, спасибо ему, предложил мне свое теплое пальто, брюки и жилет. Я с благодарностью принял все это, как дар, ниспосланный мне свыше, и через минуту явился на палубе преображенным в настоящего денди. Бог да наградит тебя, мой добрый Саша, за это братски-дружеское преображение.

29 [августа]. Берега Волги с каждым часом делаются выше и привлекательнее. Я попробовал сделать очерк одного места с палубы парохода, но,

увы, нет никакой возможности. Палуба дрожит и контуры берегов быстро меняются, и я с своим давнишним новопетровским предположением—рисовать берега матушки Волги — должен теперь проститься. Сегодня, с полуночи и до восхода солнца, пароход грузился дровами около Камышина, а я едва успел сделать легонький очерк Камышинской пристани с правым берегом Волги; дров взято до Саратова и, значит, я ближе Саратова ничего не сделаю. Выше Камышина, в 60 верстах, на правом берегу Волги, лоцман парохода показал мне бугор С[т]еньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной, но неживописной местности. Исторический бугор этот, — я не знаю, почему его называют бугром, он и на вершок не выше окружающей его местности. И если бы лоцман мне не указал его, я не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря С[т]еньки Разина, этого волжского Бирона и, наконец, пугала московского царя и персидского шаха. Открытые большие грабители испугались скрытого ночного воришки; так белоголового великана хищника беркута пугает иногда ничтожный нетопырь.

Самое плоское суздальское изображение прославленного предмета так же интересно, как и самое изящное произведение живописи. Сознавая эту истину, мне еще досаднее, что я не мог сделать ниже слабого очерка с этого весьма прославленного бугра. Солнце еще не всходило, и бугор оставался за нами верстах в десяти; и [я] должен был довольствоваться небольшим фантастическим рассказом несловоохотливого лоцмана.

Волжские ловцы и, вообще, простой народ верит, что С[т]енька Разин живет до сих пор в одном из

приволжских ущелий близ своего бугра и что (по словам лоцмана) прошедшим летом какие-то матросы, плывшие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и разговаривали с самим Семеном Степановичем Разиным.[184] Весь он, сказывали матросы, оброс волосами, словно зверь какой, а говорит по-человечьи. Он уже начал было рассказывать что-то про свою судьбу, как настал полдень и из пещеры выполз змий и начал сосать его за сердце, а он так страшно застонал, что матросы от ужаса разбежались куда кто мог. А за то его, прибавил лоцман, ежедневно змий за сердце сосет, что он проклят во всех соборах, а проклят он за то, что убил астраханского архиерея Иосифа. А убил он его за то, что тот его волшебству сопротивлялся. [185]

По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником; он только на Волге брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям; коммунист, выходит.

30 [августа]. Из уважения к имениннику и принятому обычаю дарить именинников, я сегодня подарил Александру Александровичу [Сапожникову] портрет его тещи m-me [Е. Н.] Козаченко. Портрет сделан в один сеанс белым и черным карандашами довольно аляповато, но не лишен экспрессии. Именинник, по обыкновению своему, был весел и любезен, а гости его—в том числе и нас господи, устрой,—также охулки на руку не положили, и нецеремонная милая гармония царила на палубе „Князя Пожарского".

В вечеру от Саратовской пассажирки, некоей весьма любезной дамы, Татьяны Павловны Соко-

ловской, случайно узнал я, что Н. И. Костомаров уехал за границу, а мать его живет в Саратове.[186] Я просил у ней адрес Костомаровой и [.][187]

31 [августа]. Едва пароход успел остановиться у Саратовской набережной, как я уже был в городе и, по указаниям обязательной m-me Соколовской, как по писаному, без помощи дорогого извозчика, нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой. Добрая старушка, она узнала меня по голосу, но, взглянувши на меня, усомнилась в своей догадке. Убедившись же, что это действительно я, а не кто иной, она привитала, как родного сына, радостным поцелуем и искренними слезами.

Пароход простоял в Саратовской пристани до следующего утра, и я с полудня до часу полуночи провел у Татьяны Петровны. И, боже мой! — чего мы с ней не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном в одном из писем из Стокгольма, от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года,[188] и мы, как дети, зарыдали. В первом часу ночи я расстался с счастливейшею и благороднейшею матерью прекраснейшего сына.

1 [сентября]. Петр Ульянов Чекмарев.

Новый месяц начался новым приятнейшим знакомством. За полчаса до поднятия якоря явился в капитанской каюте и в моем временном обиталище человек некрасивой, но привлекательно-симпатической наружности. После монотонно — произнесенного — Петр Ульянов Чекмарев, он сказал с одуше-

влением: — „Марья Григорьевна Солонина, незнаемая вами, ваша милая землячка и поклонница, поручила мне передать ее сердечный сестрин поцелуй и поздравить вас с вожделенной свободой". — И тут же напечатлел на моей лысине два полновесных искренних поцелуя, — один за землячку, а другой за себя и за саратовскую братию. Долго я не мог опомниться от этого нечаянного счастия и, придя в себя, я вынул из моей бедной коморы какую-то песенку и просил своего нового друга передать эту лепту моей милой сердечной землячке. Вскоре начали подымать якорь, и мы расстались, давши друг другу слово увидеться будущею зимой в Петербурге. [189]

2 [сентября] Пятнадцать лет не изменили нас,
Я прежний Сашка все, ты также все Тарас.
Александр Сапожников.

Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих пересудов я предложил А. А. Сапожникову прочесть *Собачий пир*, из Барбье, Бенедиктова, и он мастерски его прочитал. После прочтения перевода был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смерти этого огромного нашего Тормаза, как выразился Искандер* — поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю. По поводу „Собачьего пира" наш добрый милый капитан,

* Т. е. Герцен (Тормаз—Николай I).

Владимир Васильевич Кишкин, достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова, *Вход воспрещается* и с чувством поклонника родной обновленной поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же на новый 1857 год. Я дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго-свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове, а прочее едва слушал. [190]

И так у нас сегодня из обыкновенной болтовни вышло необыкновенно-эффектное литературное утро. Приятно было бы повторять подобную импровизацию. В заключение этой поэтической сходки А. А. Сапожников вдохновился и написал двустишие грациозное и братски-искреннее.

Ночью против города Вольска (место центральной конторы дома Сапожниковых) пароход на несколько часов остановился. А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Епифановым; белый, с черными бровями, свежий, удивительно-красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностью моего дядю Шевченка-Грыня.

3 [сентября]. Не забывайте любящего вас И. Явленского. [191]

Ел, пил, спал. Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева; я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог притти в себя от этого возмутительного сновидения.

4 [сентября]. В продолжение ночи пароход грузился дровами против города Хвалынска: одно единственное место на берегах Волги, напоминающее древнее название Каспийского моря. Поутру, снявшись с якоря, мы собрались в каюте нашего доброго капитана и после недлинного прелюдия составилось у нас опять литературно-политическое утро. Обязательный Владимир Васильевич [Кишкин] прочитал нам из своей заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и, между прочим, *Кающуюся Россию* [А. С.] Хомякова.[192] Глубоко-грустное это стихотворение я занес в свой журнал, на память о наших утренних беседах на пароходе „Князь Пожарский".

КАЮЩАЯСЯ РОССИЯ

Не уклони сердце твое в словеса лукавства.
Непщевати о гресех твоих.

Тебя призвал на брань святую,
Тебя господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую,
Слепых, безумных, диких сил.

Вставай, страна моя родная!
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная,—
Туда, где землю огибая,
Шумят струи эгейских вод.

Но помни быть орудьем бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна,

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной,
Елеем плача исцели!

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сечь!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг божий крепкой дланью.
Рази мечом — то божий меч! [193]

5 [сентября]. Берега Волги более и более изменяются, принимают вид однообразный и суровый. Плоские возвышенности правого берега покрыты лесом, большею частью дубовым. Кое-где изредка блестят белые стволы берез и серые матовые стволы осины. Древесный лист заметно желтеет. Температура воздуха изменяется, холодеет. Как бы она меня не захватила врасплох. Сегодня был первый утренник. Ноги прозябли. Нужно будет в Самаре купить коты * и дубленый полушубок. Ничего не читаю и не рисую. Рисовать не дает машина своим неугомонным шумом и трепетаньем, а читать — ненаглядные берега Волги. Во сне видел церковь св. Анны в Вильне, в этой церкви молящуюся милую Дуню, черноброву Гусиковскую. [194] Это верно вследствие чтения „Королевы Варвары Радзивилл“: Г. Попов—историк нового и прекрасного стиля. Он, кажется, ученик Соловьева. Нужно будет

* Мужская верхняя обувь, калоши, кенги, обуваемые сверх сапог (Словарь Даля).

прочитать его в „Русском вестнике“, *Турецкую войну* при царе Федоре Алексеевиче. [195] Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы. Как хороши *Губернские очерки*, в том числе и *Мавра Кузьмовна* Салтыкова, [196] и как превосходно их читает Панченко (домашний медик Сапожникова): [197] без тени декламации. Мне кажется, что подобные глубоко-грустные произведедения иначе и читать не должно. Монотонное однообразное чтение сильнее, рельефнее рисует этих бездушных холодных, этих отвратительных гарпий. Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!

6 [сентября]. В 10 часов утра „Князь Пожарский“ бросил якорь у набережной города Самары. Издали эта первой гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел взглянуть поближе на эту чопорную юную купчиху и купить коты. На улице попался мне И. Явленский, и мы сообща пустилися созерцать город ровный, гладкий, набеленный, нафабренный, до тошноты однообразный город. Живой представитель царствования неудобозабываемого Николая Тормоза.

Как из любопытства, так и вследствие вопиющего аппетита — это случилось часу около второго — и мы велели извозчику ехать к самому лучшему трактиру в городе; он и поехал и привез нас к самому лучшему заведению, т. е. трактиру. Едва вступили мы на лестницу сего заведения, как

оба в один голос проговорили: „здесь русский дух, здесь Русью пахнет, т. е. салом, гарью и всевозможной мерзостью. У нас однакож хватило храбрости заказать себе котлеты, но, увы, не хватило терпения дождаться этих бесконечных котлет. Явленский бросил половому полтинник, ругнул маненько, на что тот молча с улыбкою поклонился, и мы вышли из заведения. Огромнейшая хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан! и нет порядочного трактира. О, Русь!

После мнимого завтрака мы поехали в лавки. В лавках, даже в лавочках, не оказалось такого товара, какой мне был необходим (коты), и мы отправились на пароход.

В капитанской каюте на полу увидел я измятый листок старого знакомца „Русского инвалида“, поднял его и от нечего делать принялся читать фельетон. Там говорилось о китайских инсургентах и о том, какую речь произнес Гонг, предводитель инсургентов, перед штурмом Нанкина. [198] Речь начинается так: „Бог идет с нами; что же смогут против нас демоны? Мандарины эти—жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу, высочайшему владыке, единому истинному богу“. Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?

В Самаре живет богатый купец Светов, глава секты молокан. Правительство (кроткими мерами) заставляло его принять православие, но он, несмотря на кроткие меры, решительно отказался от православия и изъявил желание принять кальвинизм. На что, однакож, правительство не изъявило своего желания и оставило его в покое, запретив ему и его секте торговать (одна из кротких мер).

7 [сентября]. В 10 часов утра, при свежем норде с дождем и снегом, мы оставили Самару. От Самары вверх начинает подниматься левый берег Волги: это плоская возвышенность Жигулевских гор. Через два часа мы подошли к воротам Жигулевских гор. Это — ущелье, сузившее Волгу до одной версты; за горами, как за рамой, открылась нам новая, доселе невиданная панорама, испятнанная темно-синими полосами. Это—обитатель севера, сосновый лес. На первый план этой [панорамы], из-за ущелья, поросшего черным лесом, высунулась обнаженная отдельная гора. Это Царев-курган; народное предание говорит, что Петр Первый, путешествуя по Волге, остановился на этом месте и всходил на эту гору, вследствие чего она и получила название Царева-кургана.

Гора эта своею формою и величиною напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, Киевской губернии, в селе Гудзивци. И Гудзивскую гору, быть может, какой-нибудь помазанник-пройдоха освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо сохраняют в своей памяти подобные освящения. Они (земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь взойдет на такую гору, то верно недаром, а уповательно для того, чтобы несытым оком окинуть окрестности, на которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных, а если он, боже сохрани, агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостного утучнится бесплодный солончак. Земляки мои, верно, не без причины не освящают своей памятью подобных урочищ.

Не мог я дознаться, на каком народном предании основываясь, покойный князь Воронцов назвал в своих Мошнах гору обыкновенную Святославовою горою, с которой будто бы этот пьяный варяг-разбойник любовался на свою шайку, пенившую святой Днепр своими разбойничьими ладьями. Я думаю, это просто фантазия сиятельной башки, и ничего больше. Сиятельному англоману просто пожелалось украсить свой великолепный парк башнею в роде маяка; вот он и сочинил народное предание, приноровив его к местности, и аляповатую свою башню назвал башнею Святослава. А Михайло Грабовский (не в осуд будь сказано) чуть-чуть было документально не доказал народного предания о Святославовой горе. [199]

Капитан наш — спасибо ему — догадался сегодня из своей каюты-ажур сделать посредством кошм каюту-темницу и учредил в ней чугунную печь, и я теперь буквально нахожусь в теплых объятиях друга. Вот тебе и волжские комары, которых я так боялся.

8 [сентября]. Утро ясное, тихое, с морозцем. Левый берег Волги от Царева-кургана заметно понижается и сегодня рано я его увидел таким точно, как и до Самары: ровный, плоский, однообразный. Правый берег попрежнему угрюмо возвышен и покрыт мелким лесом. Если бы и можно было рисовать, то совершенно рисовать нечего, кроме разве огромной расшивы, стоящей на якоре посредине Волги, как на зеркале.

Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне, по крайней мере, до Москвы, а они и до Симбирска не дотянули, изменили проклятые,

то бишь казенные. Иван Никифорович Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегольском костюме и предложил мне свои сапоги из числа запасных, за что я ему сердечно благодарен. Сапоги его пришлись мне по ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких каблуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят.

9 [сентября].

Симбирск — от видишь,
А неделю йдешь.

Бурлацкая поговорка

С восходом солнца, далеко, на пологой возвышенности, упирающейся в Волгу, показался Симбирск, т. е. несколько белых пятнышек неопределенной формы. Матрос вахтенный, указывая мне на беленькие пятнышки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и записал. От Сенгилея до Симбирска 50 верст, и это пространство мы прошли не в продолжение недели, но в продолжение битых десяти часов. „Князь Пожарский" сегодня как-то особенно медленно двигался вперед. А может быть, мне это так показалось, потому что Симбирск не сходил с горизонта, в котором мне хотелось побывать засветло, взглянуть на монумент Карамзина.[200] Симбирск, вместо того чтобы приблизиться ко мне, он, увы, совершенно скрылся за непроницаемой завесой, сотканной из дождя и снега. Мерзость эта усиливалась, вечер быстро близился, и я терял надежду видеть на месте музу истории, которую я видел только в глине в мастерской незабвенного Ставассера.[201] Чего я боялся, то и случилось. Едва к пяти часам „Князь" положил свой якорь у какой-то досчатой пристани. Прочая деко-

рация была закрыта дождем со снегом. Несмотря на все это, я решился выйти на берег. Черноземная моя родная грязь по колена, и ни одного извозчика. Промочивши в луже и грязи ноги, я возвратился, нельзя сказать благополучно, на пароход.

Другой раз я проезжаю мимо Симбирска. И другой раз не удается видеть мне монумент придворного историографа. Первый раз в 1847 году меня провез фельдъегерь мимо Симбирска; тогда было не до монумента Карамзина. Тогда я едва успел пообедать в какой-то харчевне или, вернее сказать, в кабаке. Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность в Оренбурге и потому-то фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза * не дремал. Он меня из Питера на осьмые сутки поставил в Оренбурге, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве. ** Теперь же, в 1857 году, вместо экстренности, ночь, и с такими отвратительными вариациями, что глупо бы и думать о монументе Карамзина.

По случаю двадцатиоднолетней супружеской жизни Катерины Никифоровны Козаченко, за завтраком побороли мы двух великанов, под именем — пироги с разными удивительными внутренностями, и по этому-то необыкновенному случаю обедали поздно, ровно в 7 часов, и ровно в 7 часов положил рядом с „Князем" якорь пароход *Сусанин*. Капитан „Сусанина", Яков Осипович Возницын, [202] был приглашен самим хозяином к обеду. По случаю неудачи видеть Симбирск и монумент Карамзина у меня родился и быстро вырос великолепный

* Николай I.
** См. выше.

проект: за обедом напиться пьяным, но, увы, этот великолепный проект удался только вполовину.

После обеда зашли мы в капитанскую светелку (так называют волжские плаватели - матросы напалубную капитанскую каюту) и принялися за чай. Между прочими интересными разговорами за чаем, Возницын сказал, что он после закрытия волжской навигации едет в свое поместье (Тверской губернии) по случаю освобождения крепостных крестьян. Он хотя и либерал, но как сам помещик проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметя сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии, я почел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете. И не разделив восторга пробужденного этой великой новостью, я закутался в свой чапан и заснул сном праведника.

В 6 часов вечера приходил к капитану нашему некий герр *Ренинкампф* [sic!], агент компании фирмы Меркурий, пошлая, лакейско-немецкая и ничего больше, а, между прочим, эта придворно-лакейская физиономия принадлежит статскому советнику и председателю какой-то палаты, чуть ли не казенной! [203]

10 [сентября]. Вчерашний мой великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, и то уже слава богу только вечером, удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головною болью и прочим тому подобным. [204]

11 [сентября]. Так как от глумления пьянственного у Тараса колеблется десница, и просяй шуйцу, но и оная в твердости своей поколебася (тож от глумления того ж пагубного пьянства), вследствие чего из сострадания и любви

к немощному, приемлю труд описать день, исчезающий из памяти ослабевающей, дабы оный был неким предречением таковых же будущих и столпом якобы мудрости (пропадающим во мраке для человечества, не быв изречено литерами). Мудрости, говорю, прошедшего. Историк вещает одну истину, и вот она сицевая.

„Борясь со страстями обуревающими—и по совету великого наставника — „не иде на совет нечестивых — и на пути грешных не ста, блажен убо“ - и совлекая ветхого человека — Тарас, имя рек, вооружася духом смирения, удаливыйся во мрак думы своя—ретива бо есть за человечество — во един вечер был причастен уже крещению духом по смыслу св. писания окрестивыйся водою и духом — спасен будет“, вкусил по первому крещению водою (в зловонии же и омерзении непотребного человечества — водкою сугубо прозывающе)—был оный Тарас зело подходящ по духу св. Евангелия — пропитал бы зело, не остановился на полпути спасения, глаголивый „Елицы во Христе крестися — во Христе облекошася“. Не возлюбивой — по писанию и немощи телес — достичи сего крайнего предела иже ангелы уподобляется. Тарас зашел таки далеко, уподобясь тому благоприятному состоянию, каким не все сыны божии награждаются — иже, на языце порока и лжи, тлетворной, *мухою* зовется. И бе свиреп в сем положении, не давая сомкнуть мне зеницы в ночи часа одного и вещая неподобные изреки грешному миру сему, изрыгая ему проклятия, выступая с постели своей бос и в едином рубище. — Яко Моисей преображенный, иже бе писан рукою Брюно, * выступающим с облак повергшемуся во прахе Израильтянину, жертвоприносящему тельцу злату. В той веси был человек некий—сего излияния убояхуся — шубкой закрытые и тут же яко меличайшийся инфузорий легким сном забывся. Тут следует пробел, ибо Тарас имел свидетелем своего величия и торжества немудрого некоего мужа мала, неразумна и на языке того ж злоречия *кочегаром* зовомого, кой бе тих и тупомыслен на дифирамб невозмутимого Тараса — В. Кишкин.

P. S. Далее не жди тож от Тараса, о бедное, им любимое человечество, никакого толку, и большого величия, и мудрого слова, ибо, опохмелившийся, як некий аристократ

* Т. е. Бруни.

(по преданию крестившийся водкою), опохмеление немалое и деликатности не последней: водка вишневая, счетом пять (а он говорит 4, нехай так буде), при оной цыбуле и соленых огурцов велие множество.

12 [сентября]. Погода отвратительная. „Князь Пожарский“ и „Сусанин“ положили на ночь якорь в Спасском затоне. Это зимняя стоянка пароходов Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские, квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак. Местность прекрасная, окруженная молодыми дубовыми рощами и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилась свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет, и, как истинный Терсис Посошков, [205] преподнес его милейшей баронессе Медем, одной из пассажирок „Князя Пожарского“ и жене одного из капитанов Меркуриевской компании. Милая, привлекательная женщина. [206]

Утро ясное с морозом до пяти градусов. К 12 часам дня погода по-вчерашнему изменилась в перемежающийся дождь с снегом. „Князь Пожарский“ благополучно перешел Красновидовский перекат (мели) и в 11 часов вечера положил якорь в 10 верстах от Казани.

13 [сентября].

Казань городок
Москвы уголок.

Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно

слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Едва пароход успел положить якорь, как я выскочил на берег, поместился за четвертак в татарской тележке и пустился в город. Как издали, так и вблизи, так и внутри, Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, везде, на каждом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, Московская), ведущая в Кремль смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного грандиозными тремя ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию недостает площади. Оно бы много выиграло, и монумент певца Екатерины [207] не красовался бы на дворе в миниатюрном палисаднике, меланхолически созерцаемый рудою коровою.

Полюбовавшись, вместе с рудою коровою, статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, — почему и заключил, что он не новичок в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему с вопросом, не помнит ли он Посяду и Андрузского, переведенных в 1847 году из киевского университета в казанский. [208] Он сказал, что не помнит, и советовал мне обратиться к старому сторожу Игнатьеву. Я вежливо поблагодарил его за наставление, но, не находя нужным применить к делу это милое наставление, я вышел на улицу. Выйдя на улицу, я услышал

глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять взял за четвертак татарскую тележку и возвратился на пароход.

Возвращаясь на пароход, я увидел с правой стороны от дороги памятник, воздвигнутый над костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютого. Печальный памятник.

14 [сентября]. По случаю принятия нового груза, пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега. Пользуясь этим редким случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я вышел на берег и сделал два абриса: общий вид Казани и вид на Волгу против Казани и села Услон. Возвращаясь на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого отваренного леща, и, придя на пароход, задал себе настоящий плебейский пир. Кроме леща и новопетровской ветчины, заключил я свой пир головкой чесноку с черным хлебом и провонял не только капитанскую светелку, [но] всего „Князя Пожарского". Сопутники мои бегали от меня, как чорт от ладану. Одна только милая хозяйка [Н. А. Сапожникова] и добрейшая ее мамаша, Катерина Никифоровна Козаченко, нашли, что чеснок, хотя и воняет, но не так несносно, чтобы при встрече со мною необходимо было закрывать нос, и еще

более, чтобы доказать им, господам, не любящим чесноку, что чеснок вещь не только не противная, но даже приятная, обещалась заказать обед с чесноком и обкормить хулителей. Милейшая Катерина Никифоровна!

Против города Свияжска прошли благополучно Васильевский перекат (мель) и встретили пароход *Адашев*, Меркуриевской же компании. Он буксирует две баржи с дровами и одну из них посадил на мель. „Князь Пожарский" попытался было стащить ее с мели, но безуспешно, и, пройдя несколько верст вперед, положил якорь на ночь, из опасения сесть на Вязовском перекате. Выше устья Камы Волга заметно сделалась уже и мельче.

15 [сентября]. Проспал я ровно до девяти часов утра. Надо думать, что это случилось со мною под глухой шум „Князя Пожарского", потому что со мною этого прежде не случалось, ни даже под нетрезвую руку. Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением, будто бы Дубельт [209] со своими помощниками (Попов и Дестрем [210]) в своем уютном кабинете, перед пылающим камином, меня тщетно навращал на путь истины, грозил пыткой и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на ученье. Тем и кончилось это позорное сновидение. Меня разбудил гром падающего якоря, т. е. цепи, перед Ураковским перекатом.

Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей Ураковский перекат, я нарисовал белым и черным ка-

рандашом довольно удачно портрет Михайла Петровича Комаровского, будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги. [211]

В 10 часов вечера „Князь Пожарский“ положил якорь перед Гремячевским перекатом.

За ужином Нина Александровна [Сапожникова] наивно рассказывала содержание „Дон-Жуана“ Байрона, который она прочитала на-днях в французском переводе, и еще милее и наивнее просила своего мужа учить ее английскому языку.

16 [сентября].

СОБАЧИЙ ПИР
(Из Барбье.)

Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал; —
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал; —
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик; —
Когда в ответ на гул старинных пушек грянул
Свободы звучный клик! —
Конечно, не было там видно ловко сшитых
Мундиров наших дней;
Там действовал напор лохмотьями прикрытый
Запачканных людей,
Чернь грязною рукой там ружья заряжала
И закопченым ртом
В пороховом дыму там сволочь восклицала
Е. [...] мать умрем!
А эти баловни в натянутых перчатках
С батистовым бельем
Женоподобные в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?
Нет! их там не было, когда все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась!

А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали за занавеской,
На корточки присев!
Их не было в виду, их не было в помине
При общей свалке там.
Затем, что, видите ль, свобода не графиня
И не из модных дам,
Которая, нося на истощенном лике
Румян карманных слой,
Готова в обморок при первом падать крике,
Под первою пальбой.
Свобода — женщина с упругой мощной грудью,
С загаром на щеке.[212] *

17 [сентября]. Вчера мне ничего не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е. А. Панченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере наполовину будет в нем домов и церквей. И все старинной московской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для *православия*. Главный узел московской старой внутренней политики—православие. Неудобозабываемый Тормоз ** по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул: он теперь на одном волоске держится.

Когда скрылися от нас живописные, грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы

* Продолжение см. на стр. 175.
** Николай I.

его кончить, и кончил, разумеется, скверно. От этой первой неудачи я с досады лег спать и проспал прекрасный вид села Ильинского. Ввечеру, когда „Князь Пожарский“ положил на ночь якорь и все успокоилось, я, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить две неудачи, принялся переписывать „Собачий пир“, как вошел в светелку А. С[апожников] с К[ишкиным] и П[анченком] и ни с сего, ни с того составился у нас литературный вечер. Капитан наш вытащил из-под спуда „Полярную звезду“ 1824 года и прекрасно прочитал нам отрывки из поэмы „Наливайко“, а Сапожников из поэмы „Войнаровский“. * Потом А. А. [Сапожников] пригласил нас ужинать, и как это случилось в 12 часов, то за ужином оказалась именинница, а именно бабушка Любовь Григорьевна Явленская. Поздравили и не один, и не два, а три раза поздравили. Потом начали отсутствующих именинниц поздравлять, и я таки порядком напоздравлялся.

Несмотря на последнее вчерашнее событие, я сегодня проснулся рано и, как ни в чем не бывало, принялся за свой журнал и, пока братия еще в объятиях Морфея, буду продолжать „Собачий пир“ до новой перепойки. **

С зажженным фитилем, приложенным к орудью
В дымящейся руке!
Свобода — женщина с широким гордым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо вьющимся по ветру красным флагом,
Под дымом боевым:
И голос у нее не женственный сопрано:
Но жерл чугунный ряд,

* Произведения К. Ф. Рылеева.
** Начало см. на стр. 173.

Ни медь колоколов, ни палка барабана
Его не заглушат!
Свобода — женщина, но в сладострастьи щедром
Избранникам своим верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать,
И, в свежей кровию дымящихся объятьях
Ей любо *трепетать.*
Когда-то ярая, как бешеная дева,
Явилась вдруг она,
Готовая дать плод от девственного чрева
Грядущая жена.
И гордо в даль она при кликах исступленья
Свой совершала ход,
И целые пять лет горячкой вожделенья
Спасала свой народ!
А после кинулась вдруг к палкам, к барабану,
И маркитанткой в стан
К двадцатилетнему явилась капитану:
„Здорово, капитан!“
Да, — это все она! она с отрадной речью
Являлась нам в стенах,
Избитых ядрами, испятнанных картечью, —
С улыбкой на устах;
Она! огонь в глазах, в ланитах жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нищета, трехцветная повязка
Чрез голое плечо!
Она! В трехдневный срок французов жребий вынут!
Она! Венец долой!
Измята армия, трон скомкан, опрокинут
Кремнем из *мостовой!*
И что же! О позор! Париж столь благородный
В кипеньи гневных сил,
Париж, где некогда великий вихрь народный
Власть львиную сломил, —
Париж, который весь гробницами уставлен,
Величий всех времен!
Париж, где камень стен пальбою продырявлен,
Как рубище знамен!

Париж отъявленный сын хартий, прокламаций,
От головы до ног,
Обвитый лаврами, апостол в деле наций,
Народов полубог,
Париж, что некогда, как светлый купол храма
Всемирного, блистал,
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал.
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи
Мишурных галунов;
Бродяг, которые рвут Францию на части,
И сквозь плевки, толчки,
Визжа, зубами рвут исдохшей тронной власти
Кровавые клочки!
Так вепрь израненный, сраженный смертным боем
Чуть дышет в злой тоске,
Покрытый язвами, палимый солнца зноем,
Простертый на песке;
Кровавые глаза померкли; обессилен
Могучий зверь поник:
Отверзтый зев его шипучей пеной взмылен
И высунут язык...
Вдруг рог охотничий пустынного простора
Всю площадь огласил,
И спущенных собак неистовая свора
Со всех рванулась сил!
Завыли жадные! последний пес дворовый
Оскалил острый зуб,
И с визгом кинулся на пир ему готовый
На неподвижный труп!
Борзые, гончие, лягавые, бульдоги,
„Пойдем!“ и все пошли:
„Нет вепря короля! Возвеселитесь боги!
„Собаки короли!
„Пойдем! Свободны мы! Нас не удержат сетью,
„Веревкой не скрутят!
„Суровый сторож нас не приударит плетью,
„Не крикнет: пес, назад!
„За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим!
„Коль не в кровавый сок

„Запустим морду мы, так падали ухватим
„Хоть нищенский кусок!
„Пойдем!“ И начали из всей собачьей злости
Трудиться, что есть сил;
Тот пес щетины клок, а тот кровавой кости
Обрезок ухватил,
И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым,
Чадолюбивый пес
Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам
Хоть что-нибудь принес.
И бросив из своей окровавленной пасти
Добычу, говорит:
„Вот ешьте! Эта кость—урывок царской власти!
Пируйте! Вепрь убит!

Бенедиктов.

18 [сентября]. Вчера праздновали именины милейшей бабушки Любовь Григорьевны Явленской. Сегодня празднуем день рождения ее милейшего внучка А. А. Сапожникова. А пока еще не грозит завтрак, то я по-вчерашнему воспользуюсь безмятежным утром и перепишу еще одно стихотворение из заветной портфели нашего обязательнейшего капитана. [111]

РУССКОМУ НАРОДУ

1854 года.

— Меня поставил бог над русскою землею,—
Сказал нам русский царь:
—Во имя божие склонитесь предо мною,
Мой трон — его алтарь!
Для русских не нужны заботы гражданина,
Я думаю за вас!
Усните. Сторожит глаз царский властелина
Россию всякий час.
Мой ум вас сторожит от чуждых нападений,
От внутреннего зла,
Пусть наша жизнь течет вдали забот в смиреньи,
Спокойна и светла!

Советы не нужны помазаннику бога:
Мне бог дает совет.
[Народ идет за мной невидимой дорогой
Один я вижу свет.]
Гордитесь, русские, быть царскими рабами,
Закон ваш — мысль моя!
Отечество вам — флаг над гордыми дворцами,
Россия — это я.—

Мы долго верили: в грязи восточной лени,
И мелкой суеты
Покорно целовал ряд русских поколений
Прах царственной пяты.
Бездействие ума над нами тяготело.
За грудами бумаг,
За перепискою мы забывали дело;
В присутственных местах
В защиту воровства, в защиту нераденья
Мы ставили закон;
Под буквою скрывались преступленья,
Но пункт был соблюден;
Своим директорам, министрам мы служили,
Россию позабыв,
Пред ними ползали, чинов у них просили,
Крестов наперерыв;
И стало воровство нам делом обыденным,
Кто мог схватить — тот брал,
И тот меж нами был всех более почтенный,
Кто более украл.
Развод определял познанье генерала
Глуп он, [или *] умен,
Церемониальный марш и выправка решала.
Чего достоин он.
Бригадный командир был лучший губернатор,
[Искуснейший стратег],
Отличный инженер, правдивейший сенатор,
Честнейший человек.
Начальник, низшего права не признавая,
Был деспот, полубог;

---

* У Шевченка вм. или — естли.

Бессмысленный сатрап был царский бич для края,
Губил, вредил, где мог.
Стал конюх цензором, шут царский адмиралом,
Клейнмихель [213] графом стал!
Россия отдана в аренду обиралам...
Что-ж русский? Русский спал...
Кряхтя, нес мужичок, как прежде, господину
Прадедовский оброк;
Кряхтя, помещик нес вторую половину
Имения в залог.
Кряхтя, попрежнему дань русские платили
Подъячим и властям,
Качали головой, шептались, говорили,
Что это стыд и срам,
Что правды нет в суде, что тратят миллионы,
— России кровь и пот,
На путешествия, киоски, павильоны, [214]
Что плохо все идет.
Потом за ерелаш садились по полтине;
Косясь по сторонам,
Рашели хлопали, бранили Фреццолини, [215]
Лорнировали дам
И низко кланялись продажному вельможе
[И грызлись за чины,
И спали, жизнь свою заботой не тревожа]
Отечества сыны!
Иль удалялись в глушь прадедовских имений
В бездействии жиреть,
Мечтать о пироге, беседовать о сене,
Животным умереть.
А если кто-нибудь средь общей летаргии
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и Россию,
Как был бедняк смешон!
Как ловко над его безумьем издевался
Чиновный фарисей,
Как быстро от него бледнея отрекался
Вчерашний круг друзей!
И под анафемой общественного мненья
Средь смрада рудников
Он узнавал, что грех прервать оцепененье,
Тяжелый сон рабов;

И он был позабыт; порой лишь о безумце
Шептали здесь и там:
„Быть может, он и прав... да жалко вольнодумца,
Но что за дело нам?“

Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, если бог поможет, перепишу завтра.

19 [сентября]. Не хвалися, идучи на рать,
А хвалися, идучи с рати.

Вчера вечером путешественники и путешественницы сыграли по последней пульке преферанса в кают-кампании „Кн. Пожарского“, рассчиталися и расплатилися до денежки за все пульки, сыгранные в продолжение рейса, т. е. от 22 августа. Покончивши эту статью, сели за ужин, приготовленный из последней провизии. Поужинали, — разумеется в последний раз,—в кают-кампании. Выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское. Составили проект завтрашнего обеда в Нижнем-Новеграде и разошлися спать. Хорошо. С рассветом „Кн. Пожарский“ поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными колесами. Хорошо. Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспели жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие. Так вот,

летим мы во весь дух мимо этого замечательного села, как вдруг левое колесо перестало вертеться, и из „Кн. Пожарского“-дельфина сделалась черепаха. „Что случилось?“ раздался общий голос. „*Шатун* лопнул“, раздался в ответ одинокий голос машиниста. Я смекнул, что прежде вечера мы не будем в Нижнем-Новгороде, т. е. прежде вечера не будем обедать; смекнувши делом, я пошел в капитанскую светелку, выпил добрую чару лимоновки, закусил остатком новопетровской ветчины, взял какую-то газету, лег да и заснул себе с богом. Просыпаюсь, а наш „Кн. Пожарский“ стоит себе, тоже с богом, на Телячьем броде; Собачий брод кое-как переполз, а Телячий не в моготу стало. Что делать? Паузиться, т. е. перегружаться. Пауза эта длится до сих пор, т. е. до первого часу ночи. А путешественницы и путешественники пробавляются натощак в ералаш, в ожидании нижегородского обеда.

20 [сентября]. Пауза продолжалась за полночь. С рассветом „Кн. Пожарский“ поднял якорь и, как подстреленный орел, захлопал одним колесом своим. Взошло солнце и осветило очаровательные окрестности Нижнего-Новгорода. Я хотел было хоть что-нибудь начертить, но, увы, дрожание палубы при одном колесе еще ощутительнее, а серые сырые тучки не замедлили закрыть животворящее светило и задернуть прозрачным серым туманом живую декорацию. Декорация от тумана сделалась еще очаровательнее, но рисовать ее решительно невозможно. Тучки небесные, вечные странницы, пустили из себя такую мерзость, что я укрылся в капитанскую светелку и принялся за свои *чувалы* (торбы).

В 11 часов утра „Кн. Пожарский“ положил якорь против Нижнего-Новгорода. Тучки разошлись, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я вышел на берег и без помощи извозчика, мимо красавицы XVII столетия, церкви св. Георгия, поднялся на гору. Зашел в гимназию к Боб[р]жицкому, бывшему студенту киевского университета; [216] не нашел его дома, я пошел в Кремль. Новый собор отвратительное здание. Это огромная квадратная ступа с пятью короткими толкачами. Неужели это дело рук Константина Тона? Невероятно. Скорее это произведение самого неудобозабываемого Тормаза. [217] Далее. Приношение благодарного потомства гражданину Минину и Кн. Пожарскому—копеечное, позорящее, неблагодарное потомство, приношение! Утешительно, что этот грошевый обелиск уже переломился. [218]

Из Кремля зашел я опять к Боб[р]жицкому и опять не застал его дома. Из гимназии пошел я искать в Покровской улице дом Сверчкова, квартиру А. А. Сапожникова. Нашел. И только что успел поздравить с временным новосельем хозяйку, хозяина и вообще сопутниц и сопутников, как является Николай Александрович Брылкин (главный управляющий компаниею пароходства „Меркурий“[219]) и по секрету от других объявляет сначала хозяину, а потом мне, что он имеет особенное предписание полицеймейстера дать знать ему о моем прибытии в город. * Я хотя и тертый калач, но такая неожиданность меня сконфузила. Позавтракавши коекак, я отправился на пароход, поблагодарил моего доброго друга капитана [Кишкина] за его обяза-

---

* Об этом см. выше, стр.

тельности, взял свой паспорт и передал его вместе с вещами Н. А. Брылкину. Успокоившись немного, я в третий раз пошел к Боб[р]жицкому и на сей раз нашел его дома с широкораспростертыми объятиями. В 8 часов вечера я отправился к Н. А. Брылкину, провел у него часа два времени в дружеской беседе, взял у него для прочтения *Голос из России*, лондонское издание, [220] и отправился к Павлу Абрамовичу Овсянникову, на мою временную квартиру. [221]

21 [сентября]. Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться больным во избежание путешествия, пожалуй по этапам, в Оренбург за получением указа об отставке. Я рассудил, что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным. До первого часу лежал, читал *Голос из России*, и дожидал медика. А в первом часу махнул рукой и отправился к Сапожниковым. После обеда проводил моих дорогих милых спутников и спутниц до почтовой конторы и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву. Когда увижусь я с вами, прекраснейшие люди? Просил Комаровского и Явленского целовать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил в Петербурге целовать мою святую заступницу графиню Н. И. Толстую. Вот тебе и Москва! вот тебе и Петербург! и театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!

В 7 часов вечера зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него Овсянникова и Кишкина и дру-

жеской откровенной беседой заглушил вопли так внезапно, так гнусно, подло уязвленного сердца. Если бы не эти добрые люди, мне бы пришлось теперь сидеть за решоткой и дожидать указа об отставке или просто броситься в объятия красавицы-Волги. Последнее, кажется, было бы легче.

22 [сентября]. Сегодня, как и вчера, погода — дрянь слякоть и мерзость. На улицу выйти нет возможности. Из-за стены Кремля показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками. И ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно. Медика и полицеймейстера по вчерашнему дожидал и, не дождавшись, пошел к Н. А. Брылкину обедать. После обеда, как и до обеда лежал и читал „Богдана Хмельницкого“ Костомарова.[222] Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами.

23 [сентября]. Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю Зиновия Богдана. Прекрасная, современная книга! От нечего делать нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина удовлетворительно. Обедал, по обыкновению, у Н. А. Брылкина и, по обыкновению, после обеда читал и спал.

24 [сентября]. Н. А. Брылкин ездил в Балахну с мистером Стремом, американским инженером, посмотреть на строящийся там пароход

и баржи для компании Меркурий. От нечего делать и я напросился им сопутствовать. Щегольской, новенький пароход *Лоцман* в полдень подчял якорь и понес нас вверх по Волге. С разными остановками в 5 часов вечера мы, наконец, остановились у Балахны. Едва успел вскарабкаться на кучу бревен и взглянуть на эту родительницу бесчисленных живописных расшив, как инспекция кончилась, и я пошел к „Лоцману“. Из рассказов я узнал, что Балахна одна из главных верхвей * на берегах Волги, то же, что на Оке Дедново, где строился голландскими мастерами первый русский корабль „Орел“. В десятом часу возвратились в Нижний. Пообедали или поужинали и разошлись спать.

25 [сентября]. Утро было хотя и неясное, по крайней мере без ветру и дождя. Воспользовавшись сиею бесцветною погодою, я с крылечка моей квартиры начертил верхушку церкви св. Георгия, Хоть что-нибудь, да делал.

26 [сентября]. Опять дождь, опять слякоть. Настоящее безвыходное положение. Старинные нижегородские церкви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры... И отвратительная погода не дает мне рисовать их. Я, однакож, сегодня перехитрил упрямую погоду. Рано поутру пошел я в трактир, спросил себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому.

---

* Т. е. верфей.



К записи 27 [сентября].

Нижний-Новгород во многих отношениях интересный город и не имеет печатного указателя. Дико! по-татарски дико!

27 [сентября]. Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в притвор и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вишну заблудился в христианском капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем. Я хотел войти в самую церковь, как двери растворилися, и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем свежая, и, обратясь к нарисованному чудовищу, три раза набожно и кокетливо перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное б[....]. И она ли одна? Миллионы подобных ей бессмысленных извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где христиане? Где бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих обезображенных животных капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; из притвора я вышел на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга, блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно перекрестился и пошел домой.

28 [сентября]. Нарисовал портрет мамзель Аннхен Шауббе, гувернантки Брылкиных; очень милая молодая немочка, резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке.

Прочитал комедию Островского „Доходное место". [228] Не понравилось. Много лишнего, ничего

не говорящего и вообще аляповато; особенно женщины не натуральны. В скором времени ее будут давать на здешней сцене. Нужно будет посмотреть.

Перед вечером требовала меня зачем-то полиция, но я не пошел.

29 [сентября]. Солнце сегодня взошло светло, весело. Я пошел в Кремль и начал рисовать соборную колокольню, но руки так озябли, окоченели, что я едва мог сделать общий абрис. Пользуясь улыбкою осеннего дня, я после завтрака отправился к Печерскому монастырю с намерением нарисовать эту живописную обитель. Выбрал точку. Прилег отдохнуть. И лелеемый теплыми лучами солнца, задремал и так плотно задремал, что проснулся уже перед закатом солнца. Возвращаясь на квартиру мимо Георгиевского публичного сада, я зашел в сад, встретил много гуляющей публики обоих полов и всех возрастов. Между женщинами, как на подбор, ни одной не только красавицы или хорошенькой, даже сносной не встретил. Уроды и, как кажется, большею частью, старые девы. Бедные старые девы!

30 [сентября]. В ожидании незваного гостя, г. полицеймейстера, я предложил сеанс моему доброму хозяину, Павлу Абрамовичу Овсянникову. Портрет был окончен к двум часам довольно удачно, а г. Лапа (так прозывается) [224] к нам не жаловал. Погода прекрасная. Я вышел на бульвар. Между прочей публикой встретил я на бульваре детей — три девочки и мальчик. Прехорошенькие и резвые дети. Костюм их показался и странным, и жалким.

На девочках были какие-то коротенькие, легонькие дырявые мантильки дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие и почти босиком. На мальчике поярковая серая шляпа с пером, мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще хуже. Вообще показались мне они похожими на труппу младенцев комедиантов. Я дошел с ними до кондитерской, купил им сладких пирожков на полтину и познакомился. Зовут их: Катя (самая бойкая), Надя и Дуня, а мальчика Сеней; дети они Арбеньева, театрального музыканта. Значит, я немногим ошибся. На расставаньи они просили меня к себе в гости, и я, разумеется, обещал притти.

Расставшись с детьми, вспомнил я Алексея Панфильича Панова, крепостного Паганини, на „Князе Пожарском"; он зимует в Нижнем и квартирует где-то против архиерейского дома. С Георгиевской набережной пошел я к архиерейскому дому с целью найти квартиру и навестить моего возлюбленного виртуоза. Квартиры виртуоза я однакож не нашел, а мимоходом зашел в архиерейский сад. Это преимущественно липовая роща, обнесенная деревянным забором, посредине которой красуется, в роде казармы, огромное трехэтажное здание (архиерейская келья). Невдалеке от здания, между деревьями, четыре улья, обделанные наподобие надгробных памятников. Везде пусто и уныло, физическая гниль и нравственный застой на всем отражается. Скверно. Придя на квартиру, я, на сон грядущий, прочитал *Рассказ маркера*, графа [Л. Н.] Толстого. [225] Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна.

1 [октября]. Грязь, туман, слякоть и прочая атмосферическая гадость. Вследствие чего я пред-

ложил сеанс г. Грассу, зятю Н. А. Брылкина.[226] Сеанс наполовине был прерван приходом г. Лапы и г. Гартвиг. Первый—бравый и любезный гвардейский полковник и полицеймейстер; второй—не бравый, но не менее любезный полицейский медик. Оба поляки или литвины, и оба не говорят по-польски.[227] Гартвиг, спасибо ему, без малейшей формальности нашел меня больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни, и после взаимных церемоний мы расстались. Вследствие этого обязательного визита я представляю себе мое возвращение в Оренбург сомнительным.[228]

С сегодняшнего дня начинаются здесь спектакли, и после обеда Н. А. Брылкин пригласил меня в свою ложу. Давали народную сантиментально-патриотическую драму Потехина *Суд людской—не божий*.[229] Драма—дрянь с подробностями. Г. Мочалова,[230] независимо от своей бедной натянутой роли, мне понравилась. У ней есть движения настоящей артистки. Г. Климовский, как и роль его, приторен.[231] Водевиль—*Коломенский нахлебник* [и монтер].[232] Водевиль балаганный и исполнен был соответственно своему назначению. Маленький оркестр в антрактах играл несколько номеров из Дон-Жуана Моцарта прекрасно, может быть потому, что это очаровательное создание трудно сыграть непрекрасно. Зала театра небольшая, но отделана просто и со вкусом. Публика, в особенности женская, замечательно неблестящая и немногочисленна.

2 [октября]. Утро ясное, тихое, с морозом. Нужно было вчера начатый портрет г. Грасса сегодня кончить, я и принялся за работу с тем чтобы

скорее кончить и итти к Печерскому монастырю, с целью нарисовать его. Но, увы, монастырь этот мне не дается. Кончивши портрет, я нечаянно, но нелицемерно позавтракал, прилег на минутку вздохнуть и проспал ровно до двух часов. Непростительное свинство! Едва успел я проснуться, как вошел Н. А. Брылкин и предложил мне итти с ним на бульвар погулять перед обедом. На бульваре встретили мы некоего господина [Н. К.] Якоби. Н. А. отрекомендовал меня сему господину Якоби. Он просил нас к себе обедать, и мы не отказались. Г. Якоби один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи. [233] Он показал мне свой альбом, ничем особенно не замечательный, и картину, плохо освещенную, картину с большими достоинствами изображающую молящегося какого-то молодого святого; выражение лица прекрасно. По уверению хозяина, эта драгоценность принадлежит кисти Гверчино, а по-моему она больше похожа на хорошую копию с Доменикино Цампиери. [234] Но я хозяину не сказал моего мнения, по опыту зная, как трудно противоречить знатокам живописи. На расставаньи он взял с нас слово быть завтра вечером в клубе, при выборе старшин, где обещал меня познакомить со своими товарищами и угостить музыкой. Я не прочь и от музыки и от знакомства, в особенности от знакомства. Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. Попробую, не удастся ли устранить эту необходимость.

3 [октября]. Русские люди, в том числе и нижегородцы, многим одолжились от европейцев и,

между прочим, словом „клуб“. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться подобным словом,— а оно верно существует в китайском языке,— одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отринули свое родное *посиделки*, удивительно верно изображающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить и, если случай поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать.

После выбора старшин любезнейший г. Якоби представил меня своим товарищам, в том числе генералу Веймарну и г. Кудлаю (полицеймейстер № 2 [285]). Генерал Веймарн замечателен тем, что он не похож на русского генерала, а похож вообще на прекрасного простого человека, а г. Кудлай, кроме того, что не похож на полицеймейстера, как и товарищ его Лапа, замечателен тем, что он друг и дальний родственник моего незабвенного друга и товарища покойного Петра Степановича Петровского. Многое и многое разбудил он в моем сердце своим живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Мы с ним до того увлеклися минувшим, что не заметили, как настоящие посиделки кончились. В заключение усоветовали мы писать к брату покойного моего друга, к Павлу Степановичу Петровскому, чтобы он, отложа всякое попечение, навестил бы нас в Нижнем-Новеграде и, если можно, захватил бы с собою и моего искреннего Михаила Лазаревского. [236]

4 [октября].[237] До двенадцати часов вел себя хорошо Не кончивши портрета Аделаиды Алексеевны Брылкиной, попросил я у Николая Александровича Брылкина экипаж с намерением сделать очайные [sic] визиты, пришел домой. вырядился с помощью Павла Абрамовича Овсянникова, как первостатейный франт, начал свою визитацию с г. Веймарна. Г. Веймарн на первый раз показался мне в домашнем быту человеком аккуратным, но не чопорным; вели мы речь о том, что у нас пути сообщения в России более нежели гнусны; например, в 1843 году в Чернигове, на базаре, продавали муку 20 коп. сер. пуд, а в местечке Гомеле ту же самую муку продавали 1 [рубль] серебром пуд. Поговоривши о путях сообщения, мы слегка коснулись и военного сословия, одним словом: совсем отвратительно,—что, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению. Заключивши наше обоюдное любезничество таким мнением о военном сословии, я простился с г. генералом и поехал к доктору Гартвигу.

5 [октября]. Михайло — хороший слуга, но в секретари не годится,—малограмотен. Я хотел по примеру Юлия Цезаря и работать, т. е рисовать и диктовать; но мне ни то ни другое не удалось. За двумя зайцами погонишься—ни одного не поймаешь. Пословица очень справедлива. Не знаю: умел ли Юлий Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом письма о пяти совершенно разных предметах, чему я почти не верю. Но не о том речь, а речь о том, что у меня и сегодня еще колеблется десница от позавчерашнего глумления пьянственного, и я вчера только вид показывал, что я будто бы рисую, а где там! и фон не мог *конопатить*. Так только, аби-то.*

Остановились на том, как я приехал к доктору Гартвигу.

---

* Лишь бы.

6 [октября]. Вчера только я успел обмокнуть перо в чернила, описать визит мой к доктору Гартвигу и перейти к нецеремонному визиту г. Кудлаю, как дверь с шумом растворилась, и вошел в комнату сам Кудлай. Разумеется, я положил омоченное в чернила перо, встретил дорогого светского гостя в подштаниках, и, после лобызаний, вдарились сначала в обыкновенный пустой разговор, а потом перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о великом Брюллове. Воспоминания наши были прерваны приходом слуги от Н. А. Брылкина с предложением обеда. Я проводил моего гостя, оделся и отправился к Н. А. обедать. После обеда резвушка, мамзель Аннхен Шауббе [предложила] сопутствовать ей в театр. Я с удовольствием принял ее предложенне и во второй раз слушал музыку Моцарта из „Дон-Жуана“ и в первый раз видел драму Коцебу *Сын любви*, о существовании которой я знал по слуху. [238] Драма моей резвой сопутнице очень понравилась, как произведение Коцебу, а мне, к ужасу моей дамы, тоже понравилась—только не совсем, за что я получил из улыбающихся уст восторженной немки название грубого варвара, неспособного сочувствовать ничему прекрасному и моральному. Роль Амалии, дочери барона, исполняла артистка Московского театра, госпожа Васильева,—натурально и благородно, [239], а прочие, кроме г. Платонова (роль барона) — лубочно.[240] За драмою последовала „Путаница“;[241] по-здешнему хорошо, а по-моему — тоже лубочно. Спектакль кончился в первом часу, к удовольствию публики вообще и моей спутницы в особенности.

7 [октября]. Мороз закалил, наконец, непроходимую грязь; это хорошо. Нехорошо только то,

что если он установится, то лишит меня возможности нарисовать здешние старинные церкви, которые мне так понравились. Вследствие уже не слякоти, а преждевременного гостя-мороза, я сидел дома, написал Михаилу Лазаревскому о притче, случившейся со мною в Нижнем-Новгороде, и просил прислать мне сколько-нибудь денег, потому что я на публику здешнюю плохо надеюся.

Пользуясь хорошею погодою, я позавтракал сыто и пошел гулять. Обогнувши два раза Кремль и полюбовавшись окрестными видами и коническими старинными колокольнями, как лисица виноградом, зашел к моему поставщику чтения, к милейшему Константину Антоновичу Шрейдерсу, бывшему студенту киевского университета и, в некотором роде, земляку моему. [242] Встретил у него некоего барона Торнау, полковника генерального штаба, человека либерала, прекрасно и неутомимо говорящего. [243] Во время последней войны он был при русском посольстве в Вене военным агентом. Следовательно, ему есть о чем говорить Жалею, что разговор его длился не более получаса. Он здесь проездом и, кроме [того], торопился на обед к губернатору. [244]

Барон Торнау, между прочим, рекомендовал мне на всякий случай своего близкого приятеля, известного путешественника, Петра Егоровича Ковалевского, в настоящее время начальника азиатского департамента, по уверению барона, человека царем любимого, следовательно и много могущего. [245]

9 [октября]. Сегодня поутру любезнейший Н. А. Брылкин принес мне давно жданное „Крат-

кое историческое описание Нижнего-Новгорода", составленное некиим Н. Храновским. [246] Но так как сегодня погода довольно сносная, то я, оставя сию интересную [книгу] до вечера, отправился к Печорскому монастырю. Кое-как набросав вид монастыря, я с окоченелыми руками прибежал домой. Позавтракал, поотогрелся и принялся за книгу. Книга хорошая и достаточно знакомит с историей края и города. Жаль, что г. Храновский об архитектурных памятниках и вообще о памятниках старины говорит слишком экономно, но и за то спасибо. Печорский монастырь, что я сегодня рисовал, построенный при царе Федоре Ивановиче в 1597 году вместо разрушившегося древнего монастыря, основанного архимандритом Дионисием.

10 [октября]. Сегодня погода не поблагоприятствовала моему доброму намерению рисовать Архангельский собор в Кремле, и я предложил сеанс Н. А. Брылкину и нарисовал его портрет.

11 [октября]. Сегодня, с горем пополам, отправился поутру рисовать Архангельский собор, озяб до слез и ничего бы не сделал, если бы не попался на глаза генерал Веймарн, командир учебного карабинерного полка и, разумеется, главный хозяин в казармах, под которыми я расположился рисовать. Я рассказал ему о своем горе, и он обязательно позволил мне поместиться у любого окна в казармах, чем я и воспользовался с благодарностью. Поработавши, отправился я обедать к Н. К. Якоби. Вместо дессерта он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго издания *Крещеная собственность.* [247] Сердечное, задушевное челове-

ческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!

12 [октября]. Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое древнее, прекрасно сохранившееся, здание в Нижнем-Новгороде. Собор этот построен во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в 1227 году.

13 [октября]. Рисовал карандашами портрет Анны Николаевны Поповой, слывущей здесь красавицей первой стати. [248] Действительно она красивая и еще молодая женщина, но, увы! маненько простовата. Может быть и к лучшему. Первый портрет рисую за деньги, за 25 руб.; посмотрим, что дальше будет. Не худо б, если бы этаких тароватых красавиц было погуще в Нижнем. Хоть бы на портного заработал.

После сеанса отправился обедать к Н. К. Якоби, а после обеда отправился в театр. Спектакль был хоть куда: Васильева и, в особенности, Пиунова были естественны и грациозны. Легкая, игривая роль ей к лицу и по летам. [249] Увертюра из „Вильгельма Телля“ [250] была исполнена прекрасно, словом — спектакль был блестящий.

Каковы-то теперь спектакли в Питере, на Большом театре? Хоть бы одним глазом взглянуть, одним ухом послушать. [251]

14 [октября]. К величайшему удовольствию красавицы [252] и ее благоверного сожителя и, в особенности, к своему собственному удовольствию, се-

годня я портрет окончил, отдал и весело вечер провел с моим милым капитаном В. В Кишкиным. На-днях он едет в Петербург. Когда же я поеду в Петербург? Отвратительное положение. Немногим лучше, чем в Новопетровском укреплении.

15 [октября] При ветре и морозе нарисовал вид двух безыменных башен, часть кремлев ской стены и вид на Заочье. В целом вышел порядочный рисунок. Я тороплюся сделать побольше эскизов, на случай если придется мне здесь зимовать, так чтобы была хоть какая нибудь работа. Обедал у Н. К. Якоби. Первую часть вечера провел у Брылкиных, а вторую с Овсянниковым в клубе, за [„Северной] Пчелой“ и бутылкой эля. В клубе познакомился с неким г.Варенцовым. Это инспектор Института благородного при здешней гимназии и товарищ по университету Н. И. Костомарова. [253] От него я узнал, что Костомаров еще не возвратился из-за границы в Саратов, и что Кулиш издал второй том „Записок о Южной Руси“. [254]

16 [октября]. От нечего делать зашел я сегодня к Варенцову. Заговорили, разумеется, о Костомарове, и он сообщил мне (по известиям, полученным из Москвы), что будто бы в Москве, между молодежью, ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя, письмо, исполненное всякой истины, и вообще пространнее и разумнее письма Герцена, адресованного тому же лицу. Письмо Костомарова якобы написано из Лондона. Если это правда, [255] то наверное можно сказать, что Н. И. сопричтен к собору наших заграничных апостолов. Благослови его, господи, на сем великом поприще!

От Варенцова зашел я к новому знакомому, некоему Петру Петровичу Голиховскому, милому любезному человеку. Он здесь мимоездом из Питера в Екатеринбург. Он отрекомендовал меня своей эффектной красавице-жене. Она — мужественная брюнетка, родом молдаванка и такой страстно-чувственно-электризующей красоты, какой я не встречал еще на своем веку. Удивительно огненная женщина. П. П. Голиховский, между прочим, сообщил мне, что в Париже образовался русский журнал, под названием *Посредник*, редактор *Сазонов*. Главная цель журнала—быть посредником между лондонскими периодическими изданиями Искандера и русским правительством, и еще — обнаруживать подлости [„Северной] Пчелы“, *Le Nord* [256] и вообще правительственные гадости. Прекрасное намерение. Жаль, что это не в Брюсселе или не в Женеве. В Париже, как раз коронованный Картуш [257] по дружески прихлопнет это новорожденное дитя святой истины. [258]

От красавицы Голиховской зашел я к красавице Поповой и остался у нее обедать. Но эта красавица не молдаванке чета: она показалась мне сладкою, мягкою, роскошною, но далеко не такою полною жизни красавицей, как бурная, огненная молдаванка.

После обеда у Поповых зашел я к Н. К. Якоби и познакомился у него с некоим симбирским барином Киндяковым, родственником Тимашева, тепершнего начальника штаба корпуса жандармов. [259] Так как Киндяков едет в Петербург, то я и просил его узнать от своего родственника, долго ли еще продлится мое изгнание и могу ли я когда-нибудь надеяться на совершенную свободу,

У Якоби же встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири Декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым. [260] Седой, величественный, кроткий изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей, даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля, Чернышевым и Левашевым, председателями тогдашнего верховного суда. [261] Благоговею перед тобою, один из первозванных наших апостолов!

Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе, о его книге, говорили о многом и о многих и в первом часу ночи разошлись, сказавши: до свиданья.[262]

17 [о к т я б р я]. Сегодня получил письмо от М. Лазаревского и два письма от милого моего неизменного Залесского. Лазаревский пишет, что он виделся с Настасией Ивановной [Толстой], и что они усоветывали, в случае воспрещения мне въезда в столицу, просить письмом Графа Ф[едора] П[етровича], что бы он исходатайствовал мне это разрешение через президента нашего М. Н. [263] для Академии художеств, классы которой я буду с любовью посещать, как было во время оно. Добрые, благородные мои заступники и советники!

Залесский, кроме обыкновенного своего сердечного искреннего прелюдия, пишет, что рисунки мои получил все сполна, что некоторых из них уже пристроил в добрые руки и деньги — 150 рублей — переслал на имя Лазаревского. Неутомимый друг! Знакомит он меня еще с какой-то своей землячкой-литвинкой, недавно возвратившейся из Италии с огромным грузом изяшных произведений. Для

меня и за-глаза подобные явления очаровательны, и я сердечно благодарю моего друга за это письменное знакомство. [264]

Что значит, что Кухаренко мне не пишет? Неужели он не получил моего поличия и мою *Москалеву Криницю*? Это было бы ужасно досадно. [265]

Упившись чтением этих дружеских милых посланий, вечером вместе с Овсянниковым, отправились мы к огненной молдаванке. Страшная, невиданная женщина! Намагнетизировавшись хорошенько, мы пожелали ей счастливой дороги до нелюбимого ею Екатеринбурга и расстались, быть может, навсегда. Чудная женщина! Неужели кровь древних сабинянок так всемогуще, бесконечно жива? Выходит, что так.

18 [октября]. Написал и отослал письма моим милым друзьям, М. Лазаревскому и Б. Залесскому

19 [октября] В клубе великолепный обед с музыкой и повальная гомерическая попойка.

20 [октября]. Ночь и следующие сутки провел в очаровательном семействе madame Гильде. [266]

22 [октября]. Вздумалось мне посмотреть рукопись моего *Матроза*. [267] На удивление безграмотная рукопись. А писал ее не кто иной, как прапорщик О[тдельного] О[ренбургского] корпуса, баталиона № I, г. Нагаев, лутший из воспитанников оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Что же посредственные и худшие воспитанники, если лучший из них безграмотный и вдобавок пьяница? Проклятие вам, человекоубийцы—кадетские корпуса!

23 [октября.] При свете великолепного пожара, вечером, часу в 9-м встретился я с К. А. Шрейдерсом. [268] Он сообщил мне, что обо мне получена форменная бумага на имя здешнего военного губернатора, от командира Оренбургского Отдельного корпуса. Для прочтения сей бумаги зашли мы в губернаторскую канцелярию к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею Кирилловичу Кадинскому. [266] Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода! Собака на привязи. Это значит—не стоит благодарности, В[аше] [В]еличество.

Что же я теперь буду делать без моей Академии, без моей возлюбленной акватинты, о которой я так сладко и так долго мечтал? Что я буду делать? Обратиться опять к моей святой заступнице, графине Настасье Ивановне Толстой? Совестно. Подожду до завтра. Посоветуюсь с моими искренними друзьми, с П. А. Овсянниковым и с Н. А. Брылкиным. Они люди добрые, сердечные и разумные. Они научат меня, что мне предприять в этом безвыходном положении.

24 [октября]. Сегодня мы усоветовали так: на неопределенное время остаться мне здесь, по случаю мнимой болезни, а тем временем писать графу Ф. П. Толстому и просить его ходатайства о дозволении мне жительства в Петербурге хотя на два года. В продолжение двух лет я, с помощью божию, успею сделать первоначальные опыты в моей возлюбленной акватинте.

25 [октября]. Продолжаю по складам прочитывать и поправлять Матроза и ругать безграмотного пере-

писчика-пьяницу, прапорщика Нагаева. Прочитывая по складам мое творение, естественно, что я не мог следить за складом речи. Убедился только в одном, что название этого рассказа необходимо переменить. Пока не придумаю моему Матрозу другого, более приличного имени, назову его так: *Прогулка с пользою и не без морали*.[270]

26 [октября]. Заходил к [В. Г.] Варенцову и взял у него для прочтения два номера, 2-й и 3-й „Русской беседы". В эпилоге к *Черной Раде* П. А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке[271] и о мне грешном, указывает на меня, как на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?[272]

Во 2-м номере „Русской беседы" я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. И. Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа—
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что скользит, * и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя!..

27 [октября]. Несколько дней сряду хорошая ясная погода, и я сегодня не утерпел: пошел на улицу рисовать. Нарисовал церковь пророка Илии, с частию Кремля, на втором плане. Церковь про-

---

* Описка, вм. сквозит.

рока Илии построена в 1506 году в память огненного стреляния, спасшего Нижний от Татар и Ногаев.

28 [октября]. Сегодня погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на улицу. Нарисовал я кое-как церковь Николая за Почайной, построенную в 1372 году, вероятно тоже в ознаменование какого-нибудь кровопролития. По дороге зашел я к моему любезному доктору Гартвигу, застал его дома, позавтракал, выпил отличнейшей вишневки собственного приготовления и в старом изорванном нижегородском адрес-календаре прочитал, что в Княгининском уезде Н[ижегородской] губернии, в селе Вельдеманове, от крестьянина Мины и жены его Марьяны в 1605 году в мае месяце родился знаменитый патриарх Никон. [273]

29 [октября]. Ходил к Трубецкому, весьма милому князю-человеку, и не застал его дома. [274] Обедал у Н. К. Якоби, а после обеда в театре слушал, между прочим, увертюру из „Роберта“ Мейербера, в антрактах какой-то кровавой драмы. [275] Возможно ли двадцатиинструментным, вдобавок нетрезвым, оркестром исполнять какую бы то ни было увертюру, тем более увертюру „Роберта“ Мейербера. Прости им, не ведают бо, что творят. К концу кровавой драмы половина ламп в зале погасла, и тем кончился великолепный спектакль.

30 [октября]. Пользуясь погодой, я совершил прогулку вокруг города, с удовольствием и не без пользы. В заключение прогулки нарисовал Благовещенский монастырь. Старое, искаженное новыми по-

стройками, здание. Главная церковь, колокольня не совсем уцелела от варварского возобновления. Остались только две башни над трапезой неприкосновенными. И какие они красавицы! Точно две юные, прекрасные, чистые отроковицы, грациозно подняли свои головки к подателю добра и красоты и как бы благодарят его, что он заступил их от руки новейшего архитектора. Прекрасное ненаглядное создание!

Благовещенский монастырь основан в XIV столетии св. Алексеем митрополитом, [276] к этому времени принадлежат и прекрасные башни. Соборная церковь монастыря построена в 1649 году. Местоположение монастыря очаровательное.

31 [октября]. Сегодня только, наконец, дочитал своего Матроза. Он показался мне слишком растянутым. Может быть от того, что я по складам его читал. Прочитаю еще раз в новом экземпляре, и если окажется сносным, то пошлю его к М. С. Щепкину: пускай где хочет, там его и приютит.

Вечером И. П. Грас познакомил меня с Марьей Александровной Дороховой. [277] Директрисса здешнего Института. Возвышенная, симпатическая женщина! Несмотря на свою аристократическую гнилую породу, в ней так много сохранилось простого, независимого человеческого чувства и наружной силы и достоинства, что я невольно [сравнил] с изображением свободы Барбье (в Собачьем пире). Она еще мне живо напомнила своей отрывистой прямой речью, жестами и вообще наружностью моего незабвенного друга, К[няжну] Варвару Николаевну Репнину. [278] О, если бы побольше подобных женщин-матерей, лакейско-боярское сословие у нас бы скоро перевелось.

1 ноябрь. Рисовал портрет М. А. Дороховой. И, после удачного сеанса, по дороге зашел к Шрейдерсу, встретил у него милейшего М. И. Попова и любезнейшего П. В. Лапу. Выпил с хорошими людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми и с хорошими людьми за обедом чуть-чуть не нализался, как Селифан.[279] Шрейдерс оставлял меня у себя отдохнуть после обеда, но я отказался и пошел к мадам Гильде, где и положил якорь на ночь.

2 [ноября]. Возвращаясь домой с благополучного ночлега, зашел я проститься к [В. Г.] Варенцову. Он сегодня едет в Петербург. У меня было намерение послать с ним в Москву своего Матроза, но переписчик мой тоже с добрыми людьми загулял и рукопись остановилась. Досадно. Придется подождать Овсянникова. Когда я сбуду с рук этого несносного Матроза!

Придя домой и от нечего делать, раскрыл генварскую книжку О[течественных] З[аписок], и какая прелесть случайно попалась мне на глаза! Это стихотворение без названия З. Тур[а][280]

Во время сумерок, когда поля и лес
Стоят окутаны полупрозрачной дымкой,
С воздушных ступеней темнеющих небес
Спускается на землю невидимкой

Богиня стройная с задумчивым лицом.
Для ней нет имени. Она пугливей грезы;
Печальный взор горит приветливым огнем.
А на щеках [слегка][281] заметны слезы.

С корзиною цветов, с улыбкой на губах
Она украдкою по улицам проходит
И озирается на шумных площадях,
И около дворцов пугливо бродит.

Но увидав [вверху] под крышею окно,
Где одинокая свеча горит, мерцая,
Где юноша, себя и всех забыв давно,
Сидит, в мечтах стих жаркий повторяя,

Она порхнет туда и, просияв, войдет
В жилище бедное, как мать к родному сыну,
И сядет близ него, и счастье разольет,
И высыплет над ним цветов корзину.

3 [ноября]. Сегодня воскресенье, и я, как порядочный человек, причепурився* и вышел из дому с намерением навестить моих добрых знакомых. Зашел я к первому, мистеру Гранду. Англичанину от волоска до ноготка. И у него, у англичанина, я в первый раз увидел Сочинения Гоголя, изданные моим другом П. Кулишом.[282] Друг мой немного подгулял. Издание вышло немного мужиковато, особенно портрет автора до того плох, что я удивляюсь, как знаменитый Иордан позволил подписать под ним свое прославленное имя.[283]

У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я „Полярную звезду" Искандера за 1856 год, второй том. Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников[284] меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны, портреты этих великомучеников с надписью „Первые русские благовестители свободы", а на другой стороне медали портрет неудобозабываемого Тормоза[285] с надписью „Не первый русский коронованный палач".

* Принарядился

4 [н о я б р я]. Кончил сегодня портреты М. А. Дороховой и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пущина, одного из Декабристов. Удивительно милое и резвое создание! [286] Но мне как-то грустно делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому и тем более заступнику свободы не извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак не человек. Или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник—и только. Но декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен унижать себя перед обыкновенным человеком. [287]

5 [н о я б р я]. Сегодня окончательно проводил [В. Г.] Варенцова в Петербург и сегодня же через него получил письмо от Костомарова из Саратова. Ученый чудак пишет, что напрасно прождал меня две недели в Петербурге и не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы радости привез своим внезапным появлением! Ничего не пишет мне о своих глазах и вообще о своем здоровье.

6 [н о я б р я]. Написал письмо Костомарову и моим астраханским землякам-друзьям. Хотя погода и не совсем благоприятствовала, но я все-таки отправился на улицу. С некоторого времени мне,—чего прежде не бывало,—нравится уличная жизнь, хотя нижегородская публика ни даже в воскрес-

ный ясный [день] не показывается на улице, и Большая Покровка, здешний Невский проспект, постоянно изображает собою однообразный, длинный карантин. А я все-таки люблю побродить час, другой вдоль пустынного карантина. Откуда же эта нелепая любовь к улице? После десятилетнего поста я разом бросился на книги, объелся и теперь страдаю несварением в желудке. Другой причины я не знаю этому томительному нравственному бездействию. Рисовать ничего порядочного не могу, не придумаю, да и помещение мое не позволяет. Рисовал бы портреты, на деньги—не с кого, а даром работать совестно. Нужно что-нибудь придумать для разнообразия, а что—не знаю.

Погрузившись в это мудрое розмышление или сочинение, я нечаянно наткнулся на дом Якоби. Зашел, пообедали и после обеда отправился в гостиную, на чай, к старушкам, т. е. к мадам Якоби и ее неумолимо говорливой сестрице. В числе разных, по ее мнению, чрезвычайно интересных приключений ее быстроминувшей юности, она рассказала мне о Лабзине, о том самом конференц-секретаре Академии художеств, который предложил Илью Байкова, царского кучера, выбрать в почетные члены Академии, потому что он ближе Аракчеева к государю. За эту остроту Аракчеев сослал его в Симбирск, где он и умер на руках моей почтенной собеседницы. Мне приятно было слушать, что этот замечательный мистик-масон до самой могилы сохранил независимость мысли и христианское Незлобие.[288]

После Лабзина речь перешла на И. А. Анненкова, и я из рассказа моих собеседниц узнал, что происшествие, так трогательно рассказанное Гер-

ценом в своих воспоминаниях про Ивашева, случилося с супругою И. А. Анненкова, бывшей некогда гувернанткой, мадмуазель Поль.[289]

Она жива еще и теперь. Меня обещали старушки познакомить с этой достойнейшею женщиною. Не знаю, скоро ли я удостоюсь счастья взглянуть на эту беспримерную, святую героиню.

Дюма, кажется, написал сантиментальный роман на эту богатырскую тему. [290]

По поводу портрета М. А. Дороховой и ее воспитанницы Ниночки, которых я на-днях рисовал, старушки сообщили мне, что мать Ниночки простая якутка и теперь еще жива в Ялуторовске, а что отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой вдове, некоей мадам Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою Ниночку. Отвратительный отец! [291]

7 [ноября]. На-днях как-то проходил я через Кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело.

Крестьяне—помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты.[292] Теперь он, промотавшийся до снаги,* живет в своей

* См. выше, стр.

деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начиная со станового.

Интересно знать, что дальше будет. [293]

8 [ноября]. Рисовал сегодня до обеда портреты M[onsieur] и M[adame] Якоби. А вечером пошел к Веймарну; у него сегодня полковой праздник и, следовательно, пирушка. Войдя в первую комнату, я совершенно растерялся: меня поразила [толпа] военных людей. Я этих почтенных господ давно уже, слава богу, не встречаю. В особенности один между ними так живо напомнил мне своею толстой телячьею рожею капитана Косарева, что я чуть-чуть не вытянул руки по швам и не возгласил: „Здравия желаю, ваше благородие!" Из этого отвратительного состояния вывел меня сам гостеприимный хозяин, пригласив меня в гостиную. Между прочими гостями в гостиной встретил я И. А. Анненкова и в продолжение вечера я не раставался с ним.

9 [ноября]. Окончил портрет Якоби.

10 [ноября]. Получил от Кулиша книги „Записки о Южной Руси" два тома и „Черну Раду". Какой милый оригинал должен быть этот Г. Жемчужников! Как бы я счастлив был увидеть человека, который так искренно, нелицемерно полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную, бедную родину. [294]

11 [ноября]. Сегодня у меня день великий, торжественный, радостный день! Сегодня я получил письмо от моей святой заступницы гр. Н. И. Толстой, дружеское, родственное письмо. За что она меня удостаивает этого неизреченного счастья? И чем я воздам ей за этот нечаянный, светлый, сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва—твоя единственная награда, моя благородная, святая заступница.

Она советует мне написать графу Ф. П. письмо и просить его ходатайства о разрешении явиться мне в столице. Это была моя первая мысль, но мне совестно было беспокоить старика. А теперь решительно решаюсь. Еще просит она передать поклон В. И. Далю от ее самой и от какого-то Г. Жадовского. [295] С Далем я здесь не виделся, хотя с ним прежде и был знаком, а теперь придется очима лупать. И поделом! [296]

12 [ноября]. Ответивши на письмо моей святой заступницы, причепурился я и отправился к В. И. Далю. Но почему-то, не знаю, прошел мимо его квартиры и зашел к адъютанту здешнего военного Губернатора Владимиру Федоровичу Голицыну, весьма милому молодому человеку, раненному под Севастополем. Вслед за мной зашла к нему сестра его—чернобривое, милое, задумчивое создание. О чем грустит, о чем задумывается эта едва развернувшаяся сантифолия? [297]

От князя зашел я к его зятю, Александру Петровичу Варенцову, [298] пообедал, послушал машинной музыки и отправился в театр. Все было порядочно, кроме г. Васильевой. Она, бедняжка, думала очаровать зрителей своим фанданго и совсем не

надела панталон. Какое варварское понятие об искусстве [299]! Г. Климовский в роли Филиппа IV был прекрасен, одет изяшно и верно портрету этого испанского государя. А вообще, драма *Мать-испанка* [300] так себе: дюжинная драма.

13 [ноября]. Сегодня написал, а завтра отошлю просительное письмо Г[рафу] Ф. П. Толстому. Прошу его просить кого следует о дозволении мне жить в Петербурге и посещать классы Академии. Письмо, кажется, мне удалось. Овсянников говорит, что при нужде я мог бы занять видное место между кропателями просьб. Посмотрим, пожнем ли желаемые плоды от сего хитрого сочинения.

Сегодня же написал письмо М. С. Щепкину: прошу свидания с ним где-нибудь на хуторе в окрестностях Москвы. Как бы я рад был [увидеть] этого славного артиста-ветерана.

14 [ноября]. Начал портрет М[адам] Варенцовой. Плотная кавалергард-мадам. Ничего женственного, ни даже самого обыкновенного кокетства.

15 [ноября]. Получил письмо от моего милого Бронислава [Залесского]; жалуется, что его отец захворал, и рекомендует мне какую-то свою приятельницу Елену Скримонд, любительницу изящных искусств, мечтательницу и вообще женщину эксцентрическую. [301] Это тоже нехорошо, но все же лучше, нежели моя новая знакомая М[адам] Варенцова. Правда, она тоже женщина эксцентрическая, только она сосредоточилась не на поэзии, не на изящных искусствах, а на конюшне и на псарне. А может быть и это своего рода поэзия.

16 [ноября]. Кончил портрет своей отчаянной амазонки и начал ее милое чадо. Мальчик лет пяти, избалованный, будущий собачник, камер-юнкер и вообще человек-дрянь.

17 [ноября]. Сделал визитацию В. И. Далю. И хорошо сделал, что я, наконец, решился, на эту визитацию. Он принял меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850 года, и в заключение просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю. Не премину воспользоваться таким милым предложением, тем более что мои нижегородские знакомые начали понемногу пошлеть.

18 [ноября]. После неудачного вялого сеанса у М[адам] Варенцовой зашел я, по соседству, к ее больному брату, князю Голицыну, и застал у него его меньшую, милую, задумчивую сестру. Впечатление неудачного сеанса как ветром свеяло. Полюбовавшись на это кроткое создание, я во весь день был счастлив. Какое животворно-чудное влияние красоты на душу человека.

19 [ноября]. К общему великому удовольствию сегодня, наконец, я окончил портрет гусароподобной М[адам] Варенцовой и ее будущего собачника-сына. Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом, а я еще больше доволен, что, наконец, развязался с этою неуклюжею Бобелиною. [302]

26 [ноября]. Я хотел было совсем оставить свой монотонный журнал, но сегодня совершилось со мною то, чего прежде никогда не совершалось.

Шрейдерс, Кадницкий и Фрейлих [303] просили меня нарисовать их портреты и предложили деньги вперед. Я никогда не брал денег вперед за работу, а сегодня взял. И, добре помогоричовавши, отправился я в очаровательное семейство М[адам] Гильде и там переночевал, и там украли у меня деньги, 125 руб. И поделом! вперед не бери незаработанных денег. Поутру прихожу домой,—другое горе: ночью проехал Федор Лазаревский. Был у Даля, посылал искать меня по всему городу, и, разумеется, меня не нашли. И теперь его карточка лежит у меня на столе, как страшный упрек на совести. [304]

27 [ноября]. Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля и сочинять необыкновенное происшествие, случившееся со мною прошедшей ночью. Но вместо фигурной лжи, я сказал ложь лаконическую! Я сказал, что ездил в Балахну с Брылкиным так, ради собственного удовольствия, и тем покончил дело.

28 [ноября]. Жаль мне стало незаработанных денег; в такой досаде отправился я к Кудлаю просить полицейского участия в моем горе. Кудлай сам нездоров, не может выйти из квартиры, но обещался мне завтра прислать одного из своих сподручников, какого-то отъявленного доку. Посмотрим, сотворит ли чудо вышереченный дока.

29 [ноября]. Сегодня поутру в ожидании полицейского доки, написал я М. Лазаревскому письмо, и на счет роковой ночи повторил ему ту же самую ложь, что и В. И. Далю. Одна ложь ведет за собою другую: это в порядке вещей.

Часу в первом явился ко мне дока. Я рассказал ему, в чем дело, и посулил за труды 25 руб. Но, увы, при всем его старании, результата никакого. Что с воза упало, то пропало. Следовательно, об этом скверном анекдоте и думать больше нечего. Я так и сделал. Пошел к Шрейдерсу обедать, с досады чуть опять не нализался. После обеда зашел к той же коварной мадам Гильде (какое христианское незлобие!). Отдохнул немного в ее очаровательном семействе и в семь часов вечера пошел к князю Голицыну. У Голицына встретил я львов здешней сцены, актеров Климовского и Владимирова. Болтуны и, может быть, славные малые. [305]

Князь прочитал нам свое *Впечатление после боя*. Неважное впечатление. После впечетления зашла речь о переводах [В. С.] Курочкина из Беранже, и я прочитал им наизусть—не перевод, а собственное произведение. А чтобы не забыть это прекрасное создание поэта, то я вношу его в мой журнал. [306]

Как в наши лучшие года
Мы пролетаем без участья
Помимо истинного щастья!
Мы молоды, душа горда...
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога
Проходят лучшие года.
Проходят лучшие года,
Мы все идем дорогой ложной
Вслед за мечтою невозможной
Идем неведомо куда,
Но вот овраг,—вот мы споткнулись...
Кругом стемнело...оглянулись—
Нигде ни звука ни следа.
Нигде ни звука ни следа
Ни светлый день, ни сожаленья,
На сердце тяжесть оскорбленья
И одиночество стыда,

Для утомительной дороги
Нет силы, подкосились ноги,
Погасла дальняя звезда.
Погасла дальняя звезда!
Пора, пора душой смирится!
Над жизнью нечего глумится,
Отведав * горького плода;
Или с бессильем старой девы
Твердить упорно: где вы, где вы?
Вотще минувшие года!
Вотще минувшие года
Не лучше ль справить честной тризной!
Не осквернним же укоризной
Господний * мир—и никогда
С бессильной злобой оскорбленных
Влюбленных в лучшие года.

Б [sic] Курочкин.

30 [ноября]. Сегодня начал портреты в группе своих избранных приятелей [Кадницкого, Фрелиха и Шрейдерса]. Не знаю, будет ли толк из этой затеи: приятели неаккуратны в сеансах—обстоятельство, важное при работе. Посмотрю, что дальше будет, и если сеансы затянутся, то нарисую отдельно каждого карандашом и тем покончу мой счет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что предполагаемый рисунок сепиею очень удачно сгруппировался. И мне бы хотелось достойно заплатить свой долг. [307]

1 [декабря]. Получил письмо от М. С. Щепкина, в котором он предлагает мне свидание в селе Никольском (имение его сына) или же, если я не имею лишних денег на эту поездку (125 р. были

* Вкусив от.
** Господень.

у меня совершенно лишние), то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы он возвеселил и меня и своих нижегородских поклонников! Напишу ему, пускай едет сюда и пускай на здешней бедной сцене тряхнет стариною. Теперь же, кстати, здесь дворянские выборы. [308]

После сеанса у Шрейдерса и после обеда у Фрейлиха случайно попал я на полупьяный музыкальный вечер к путейскому офицеру Ультрамарку [309] и услышал там виртуоза на фортепьяно, какого я и не подозревал услышать здесь, в захолустьи. Виртуоз это — некто господин Татаринов. [310] Между прочим, он сыграл несколько номеров из „Пророка" и „Гугенотов" Мейербера и вознес меня на седьмое небо.

2 [декабря]. Сегодня сделал я визит вдохновенному моему виртуозу Татаринову и видел у него, чего я также не воображал увидеть в Нижнем. Я видел у него настоящего великолепнейшего Гюдена. [311] Такие две прекраснейшие нечаянности разом наслаждение редкое и высокое. И какие же варвары нижегородцы, — они знают Татаринова только как чиновника при компании, строющей железную дорогу, а о картине Гюдена, и даже о самом Гюдене, никто не слыхивал, кроме старика Улыбышева, с которым я сегодня познакомился в театре. Это известный биограф и критик Бетховена и самый неизменный посетитель здешнего театра. [312]

3 [декабря]. Три дня сряду нечаянности, и самые приятные нечаянности. Это великая редкость в здешней монотонной жизни. Сегодня посетил меня

Густав Васильевич Кебер, [313] Гость совершенно неожиданный. Он большой приятель Ф. Лазаревского, и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему увидеться со мною, и добрейший Густав Васильевич сегодня исполнил поручение своего и моего друга. Если бы больше подобных нечаянностей, как бы прекрасно текли дни нашей жизни.

4 [декабря]. Написал письма Щепкину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое житейское или служебное попечение и приехать ко мне недели на две, аще совесть не зазрит, то и больше. Как бы я счастлив был, если бы сбылось мое желание. Авось либо и сбудется.

8 [декабря]. В продолжение четырех дней писал поэму, название которой еще не придумал. Кажется, я назову ее *Неофиты* или первые христиане. Хорошо, если бы не обманул меня Щепкин: я ему посвящаю это произведение, и мне бы ужасно хотелось ему прочитать и услышать его верные дружеские замечания. [314] Не знаю, когда я примусь за *Дервиша и Сатрапа,* [315] а поползновение большое чувствую к писанию.

9 [декабря]. В компании честных артистов — Климовского, Владимирова и Платонова—праздновал именины общей и в особенности театральной красавицы, по имени Анны Дмитриевны, а по прозванию—не знаю. И праздновал без хитрости, т. е. с приличным случаю и месту продолжением, яснее — в ущерб очаровательному семейству мадам Гильды.

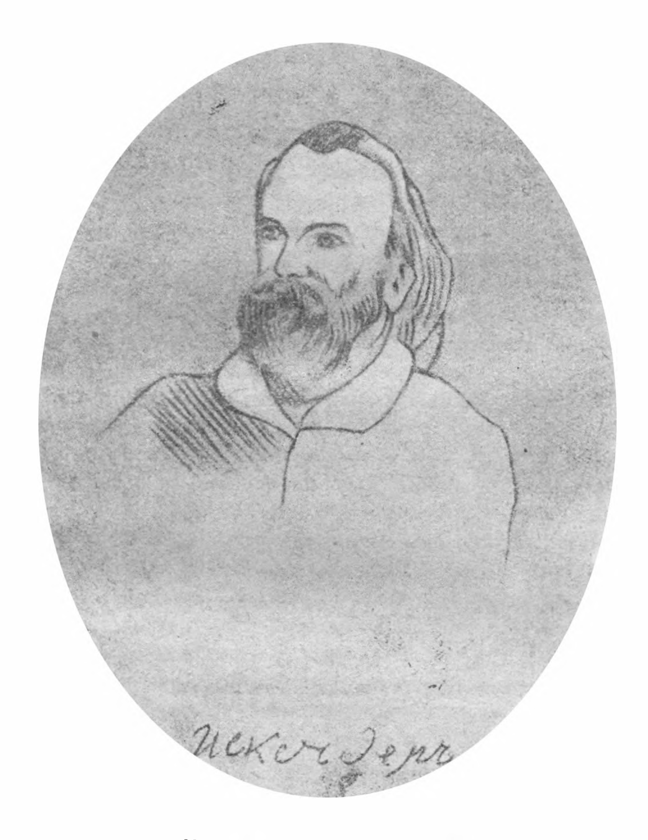
10 [декабря]. Сегодня вечером [В. Г.] Варенцов возвратился из Петербурга и привез мне от Кулиша письмо и только что отпечатанную его

Граматку. [316] Как прекрасно, умно и благородно составлен этот совершенно новый букварь. Дай бог, чтобы он привился в нашем бедном народе. Это первый свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову.

Из Москвы Варенцов привез мне поклон от Щепкина, а от Бодянского [317] поклон и дорогой подарок—его книгу *О времени происхождения славянских письмен* с образчиками древнего славянского шрифта. Сердечно благодарен О. М. за его бесценный подарок. Эта книга удивительно как пополнила современную нашу историческую литературу.

Еще привез он для Н. К. Якоби свинцовым карандашом нарисованный портрет нашего изгнанника апостола Искандера. [318] Портрет должен быть похож, потому что не похож на рисунки в этом роде. Да если бы и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого человека.

12 [декабря]. Сегодня видел я на сцене „Станционного смотрителя“ Пушкина. [319] Я был всегда против переделок и эту переделку пошел смотреть от нечего делать. И что же? переделка оказалась самою мастерскою переделкою, а исполнение неподражаемо, в особенности сцены второго акта и последняя сцена третьего были так естественно трагически исполнены, что хоть бы и самому гениальному артисту так в пору. Исполать тебе, господин Владимиров, исполать тебе, и тетенька Трусова: ты так естественно, зло исполнила роль помещицы Лепешкиной, что сама Коробочка пред тобою побледнела. [320] Вообще, ансамбль драмы был превосходен, чего я никак не ожидал. И если бы не усатые отставные гусары-помещики, пьяные, шу-



К записи 10 [декабря].



мели в ложе, то я вышел бы из театра совершенно доволен.

Кстати о помещиках. Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. И все без исключения с бородами и усами в гусарских, уланских и других кавалерийских мундирах. Пехотинцев и флотских незаметно. Говорят между собою только по французски. Пьянствуют и шумят в театре и, слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян. Настоящие французы.

13 [декабря]. Получил письма от Щепкина и от Лазаревского. Старый друзяка пишет, что он приедет ко мне колядовать на праздник. Добрый, искренний друг! он намерен подарить несколько спектаклей нижегородской публике. Какой великолепный праздничный подарок!

Лазаревский, между прочим, пишет, что он получил на мое имя 175 рублей через Льва Жемчужникова с оговоркой не объявлять мне своего имени. Жертва тайная, великодушная! Чем же я заплачу вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной искренней песней, песней благодарности и молитвы!

Сегодня же принимаюсь за „Сатрапа и Дервиша“, и если бог поможет окончить с успехом, то посвящу его честным, щедрым и благородным землякам моим. Мне хочется написать „Сатрапа“ в форме эпопеи. Эта форма для меня совершенно новая. Не знаю, как я с нею слажу?

14 [декабря]. Вечером отправился к старику Улыбышеву с благою целью послушать музыку. Старик прихворнул и не принимал гостей. Возвращаясь

домой, попалась мне на улице недавняя именинница и не совершенно против желания затащила меня в маскарад,—явление редкое и оригинальное в Нижнем. Это танцкласс Марцинкевича в Петербурге, [321] со всеми подробностями, Небольшая разница в костюмах. Там пьяные черкесы заключают спектакль, а здесь просто офицеры с помощью приезжих помещиков-французов. Одним словом, блестящий маскарад!

15 [декабря]. Через В. И. Даля получил письмо от Федора Лазаревского. Пишет он, что незабаром * поедет куда-то через Нижний и просит меня не ездить в Балахну. [322] Не поеду, цур їй.

16 [декабря]. Ввечеру отправился я к В. И. Далю засвидетельствовать ему глубокое почтение от Ф. Лазаревского. После поздорованья и передачи глубочайшего почтения одна из дочерей его [323] села за фортепьяно и принялась угощать меня малороссийскими песнями. Я, разумеется, был в восторге не от уродливых песен, а от ее наивной вежливости. Заметив, что она довольно смело владеет инструментом, я попросил ее сыграть что-нибудь из Шопена. Но так как моего любимца налицо не оказалось, то она заменила его увертюрою из „Гугенотов" Мейербера. И к немалому удивлению моему, исполнила это гениальное произведение лучше, нежели я ожидал. Скромная артистка удалилась во внутренние аппартаменты, а мы с В. И. между разговором коснулись как-то нечаянно псалмов Давида и вообще Библии. Заметив, что я не-

* Вскоре.

равнодушен к библейской поэзии, В. И. спросил у меня, читал ли я Апокалипсис. [324] Я сказал, что читал, но, увы, ничего не понял; он принялся объяснять смысл и поэзию этой боговдохновенной галиматьи. И в заключение предложил мне прочитать собственный перевод Откровения с толкованием и по прочтении просил сказать свое мнение. Последнее мне больно не по душе. Без этого условия можно бы, и не прочитав, поблагодарить его за одолжение, а теперь необходимо читать. Посмотрим, что это за зверь в переводе.

17 [декабря]. Получил письмо от П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь, не по недостатку времени и желания, но во избежание толков, которые могут замедлить мое возвращение в столицу. Я с ним почти согласен. От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался готовить материалы для третьего тома З[аписок] о Южной Руси. [325] И что-то начал писать сериозное, но что такое, не говорит.

Вечером был на бенефисе г. Климовского, и, несмотря на порядочное исполнение, все-таки дообеденный сон Островского мне не понравился. Повторение — и повторение вяло. [326] Прочее так себе шло, кроме попурри, пропетого в антракте бенефициантом, вдобавок собственного сочинения.

18 [декабря]. Читал и сердцем сокрушался, зачем читать учился. [327]

Читая подлинник, т. е. славянский перевод Апокалипсиса, приходит в голову, что апостол [328] писал это откровение для своих неофитов известными им иносказаниями, с целию скрыть настоя-

щий смысл проповеди от своих приставов. Может быть и [с] целию более материальною: чтобы они (пристава) подумали, что старик рехнулся, порет дичь и скорее освободили бы его из заточения. Последнее предположение, мне кажется, правдоподобнее.

С какою же целию такой умный человек, как В. И. [Даль], переводил и толковал эту аллегорическую чепуху? Не понимаю. И с каким намерением он предложил мне прочитать свое бедное творение? Не думает ли он открыть в Нижнем кафедру теологии и сделать меня своим неофитом? Едва ли. Какое же мнение я ему скажу на его безобразное творение. Приходится врать, и из-за чего? Так, просто из вежливости. Какая ложная вежливость.

Не знаю настоящей причины, а вероятно она есть. В. И. не пользуется здесь доброй славой. Почему—все таки не знаю. Про него даже какой-то здешний остряк и эпиграмму смастерил. Вот она:

У нас было три артиста,
Двух не стало.—Это жаль.
Но пока здесь будет Даль—
Все как будто бы нечисто.

19 [декабря]. М. Брас (учитель французского языка в гимназии [229] рассказал мне сегодня недавно случившееся ужасное происшествие в Москве. Трагедия такого содержания.

Ловкий молодой гвардеец по железной дороге привез в Москву девушку, прекрасную как ангел. Привез ее в какой-то не слишком публичный трактир. Погулял с нею несколько дней, что называется, на славу и скрылся, оставив ее расплатиться с трак-

тирщиком, а у нее ни денег ни паспорта. Она убежала из дому со своим обожателем с целию в Москве обвенчаться и концы в воду. Трактирщик посмотрел на красавицу и, как человек бывалый, смекнул делом: подослал к ней сводню. Ловкая тетенька приласкала ее, приголубила, заплатила трактирщику долг и взяла ее к себе на квартиру. На другой или на третий день она убежала от обязательной старушки и явилась к частному приставу, а вслед за нею явилась и ее покровительница: подмазала частного пристава, а тот, несмотря на ее доводы, что она благородная, что она дочь генерала, высек ее розгами и отправил в рабочий дом на исправление, где она через несколько дней умерла. Ужасное происшествие! И все это падает на военное сословие. Отвратительное сословие!

20 [декабря]. С благотворительной целью составляется спектакль из благородных субъектов, под непосредственной дирекцией Г. Голынской [330] и г. [А. П.] Варенцова. Спектакль составят живые картины и концерт.

Г. Варенцов меня как живописца пригласил сегодня на репетицию собственно для живых картин, т. е. для освещения этих бестолковых картин. Я по простоте души и попробовал осветить одну из них так, что главная фигура в свету, а прочие в полутоне. Освещение вышло довольно эффектно. Но жалкие маменьки подняли шум, почему одна, такая-то, освещена; а наши дочки разве хуже ее, что их совсем не видно, что их только по афише будут знать. Я плюнул и хотел уйти, но меня остановила Марья Александровна Дорохова и просила поставить и осветить ее Ниночку. Ниночка—не кра-

савица—явилася в картине очаровательною. Чадолюбивые маменьки хотя и заметили в чем дело, но все-таки не согласились оставить своих дочерей в полутоне.

Сегодня должен выехать из Москвы М. С. Щепкин. Ах, как бы он хорошо сделал, если бы выехал! Послезавтра я имел бы радость поцеловать моего старого, моего единого друга!

21 [декабря]. Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого, моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Немногим из нас бог посылает такую полную радость. И весьма, весьма немногие из людей, дожив до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как М. С. Щастливый патриарх артист!

Сегодня же получил письмо от моей святой заступницы, от графини Настасии Ивановны Толстой. Она пишет, что письмо мое, адресованное графу Ф. П., на праздниках будет передано [вел. кн.] М[арии] Н[иколаевне] и сообщает мне адрес Н. О. Осипова. [331] Боже мой! Скоро ли я увижу мою Академию? Скоро ли обниму мою святую заступницу?

Спектакль с благотворительной целью сошел хорошо, кроме живых картин и народного гимна. Ниночка Пущина была очаровательна.

24 [декабря]. Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! в три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин.

29 [декабря]. В 12 часов ночи уехал от меня Михайло Семенович Щепкин. Я, Овсянников, Брыл-

кин и Олейников [332] проводили моего великого друга до первой станции и ровно в три часа возвратились домой. Шесть дней, шесть дней полной, радостно торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастие? За эти радостные сладкие слезы? Любовью! Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею.

30 [декабря] Я все еще не могу притти в нормальное состояние от волшебного и очаровательного видения. У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матроз, Михайло Чупрун и Любим Торцов. [333] Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся, друг мой единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин.

[1858 г.]

1 генваря 1858 г. Дружески-весело встретил новый год в семействе Н. А. Брылкина.

Как ни весело встретили мы новый год, а придя домой, мне скучно сделалось. Поскучавши немного, отправился я в очаровательное семейство мадам Гильды. Но скука и там меня нашла. Из храма Приапа пошел я к заутрени,—еще хуже: дьячки с похмелья так раздирательно пели, что я заткнул уши и вышел вон из церкви. Придя домой, я нечаянно взялся за Библию, раскрыл, и мне попался лоскуток бумаги, на котором Олейников записал басню со слов Михайла Семеновича [Щепкина].

Эта находка так меня обрадовала, что я сейчас же принялся ее переписывать. Вот она:

На улице и длинной, и широкой,
И на большом дворе стоит богатый дом,
И со двора разносится далеко
Зловоние кругом.
А виноват хозяин в том.
„Хозяин наш прекрасный, но упрямый,—
Мне дворник говорит:—
Раскапывать велит помойную он яму,
А чистить не велит“.
Зачем раскапывать заглохшее дермо?
И не казнить воров, не предавать их сраму?
Не лучше ль облегчить народное ярмо
Да вычистить велеть помойную-то яму.

Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому. Это не похоже на водевильный куплет.[334] Басня эта так благодетельно на меня подействовала, что я, дописывая последний стих, уже спал.

Сегодня же познакомил я в семействе Брылкина милейшую Катерину Борисовну Пиунову (актрису). Она в восторге от этого знакомства и не знает как меня благодарить.

Как благодетельно подействовал Михайло Семенович на это милое и даровитое создание! Она выросла, похорошела, поумнела после „Москаля-чарівника“, где она сыграла роль Тетяны, и так очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга. А М. С. сказал мне, что она первая артистка, с которой он с таким наслаждением играл Михайла Чупруна, и что знаменитая Самойлова[335] перед скромной Пиуновой — солдатка.

2 [декабря]. Обязательнейший Олейников сегодня сообщил мне стихотворение Курочкина „На

смерть Беранже“, но оно так скверно переписано, что я едва мог прочитать. Прочитал, однако, и записал на память. Прекрасное, сердечное стихотворение:[336]

16-е ИЮЛЯ 1857 ГОДА

Зачем Париж волнуется опять?
На площадях и улицах солдаты,
Народных волн не может взор объять...
Кому спешат последний долг воздать?..
Чей это гроб и катафалк богатый?
Тревожный слух в Париже пролетел:
Угас поэт — народ осиротел.

Великая скатилася звезда,
Светившая полвека кротким светом
Над алтарем страданья и труда;
Простой народ простился навсегда
С своим родным учителем-поэтом,
Воспевшим блеск его великих дел.
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем же блеск и роскошь похорон?
Мундиры войск и ризы духовенства?
Торжественность тщеславных похорон
Тому, кто пел так искренно, как он,
Певцом[337] любви, свободы и равенства,
Несчастным льстил, но с сильными был смел?..
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем певцу напрасный фимиам?
И почестей торжественных забава?
Не быть ничем хотел он в жизни сам,
И в бедности нашла любимца слава,
И слух о нем далеко прогремел!
Угас поэт — народ осиротел.

Народ всех стран — страдание [и] [338] труд,
И сладких слез над звуками отрада
И в них, поэт, тебе великий суд!
Великому великая награда!
Когда свершив завидный свой удел,
Угас поэт — народ осиротел.

3 [января]. Получил от Кулиша письмо со вложением 250 рублей. Деньги эти выручены им за рисунки, которые я послал из Новопетровского укрепления Залескому для продажи. Залесский передал их Сераковскому; [339] от Сераковского я не имел о них никакого известия и совершенно потерял их из виду. Не знаю, как они попали в руки Кулиша, и тот нашел им какого-то щедрого земляка-любителя, и мне как будто подарил 250 р. к новому году. Спасибо ему.

4 [января]. Весь день был посвящен писанию писем. Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий, в том числе и автору „Семейной хроники", [340] приславшему мне с Михайлом Семеновичем [Щепкиным] экземпляр своей очаровательной хроники. Кулишу при письме послал свои „Неофиты". Интересно мне знать его мнение о сем новом моем произведении.

В 8 часов вечера проводил своего хозяина, Овсянникова, в Петербург и отправился на бал-маскарад к Варенцову, директору театра. [341] И познакомился там с доктором Рейковским, ученым и весьма интересным человеком. [342]

5 [января]. Возвратился почтальон из Москвы, который сопровождал Михайла Семеновича. Привез мне от него письмо и четыре экземпляра своего портрета для раздачи своим нижегородским друзьям; письмо свое заключает он печальным известием, полученным на пороге своего дома, о смерти сына Дмитрия, умершего за границей. [343]

6 [января]. Пиунова сегодня в роли *простушки* (водевиль Ленского [344]) была такая милочка, что

не только московским, петербургским — парижским бы зрителям в нос бросилась. Напрасно она румянится. Я ей скажу об этом. С роли *Тетяны* (в „Москалі-чарівнике“) она видимо совершенствуется, и, если замужество ей не попрепятствует, из нее выработается самостоятельная великая артистка.

7 [января]. Круликевич, возвращаясь на родину из изгнания (с берегов Сыр-Дарьи), узнал случайно о моем пребывании в Нижнем и сегодня посетил меня.[345] Между многими неинтересными степными новостями он сообщил отвратительно-интересную новость. Побочный сын гнилого сатрапа Перовского собственноручно зарезал своего денщика, за что был только разжалован в солдаты, но мелкая душонка [не вынесла] и этого всемилостивейшего наказания: он вскоре умер или отравил себя. Туда и дорога. Выходит, яблоко недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и купленная б[....] расстреленного сатрапа Перовского, однажды собираясь к обедне, рассердилась за что-то на горничную да и хватила ее утюгом в голову. Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О, Николай, Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка.[346]

8 [января]. С сегодняшнего числа я занимаю две квартиры: прежнюю—у Овсянникова и новую—у Шрейдерса. Остается наделать долгов. А спрятаться есть куда.

9 [января] На новосельи у Шрейдерса нарисовал сегодня портрет Олейникова с условием, что-

бы он написал фельетонную статейку для „Московских ведомостей“ о пребывании М. С. Щепкина в Нижнем. Хорошо, если бы не соврал. [347]

10 [января]. Нарисовал портрет Шрейдерса и довольно удачно. Часть долга, значит, уплачена. Нужно еще нарисовать Фрелиха и Кадницкого, и тогда — квиты. Но когда это случится, — не знаю. [348]

11 [января]. Сегодня суббота. По субботам я и милейшая К. Б. Пиунова обедаем у М. А. Дороховой. Но сегодня я должен отказаться от этой радости, и моя милая компаньонка отправилась сам-друг с портретом М. С. Щепкина, присланным им в подарок Марье Александровне. А я поехал провожать до первой станции по Казанской дороге моего привлекательного, благородного капитана В. В. Кишкина.

Грустно расставаться с такими добрыми людьми, как этот симпатичный Кишкин. Я, возвратившись домой, чувствовал себя совершенно сиротой, но тягостное мое одиночество недолго длилось. Я вскоре вспомнил, что я один из счастливцев мира сего. М. С. Щепкин, уезжая из Нижнего, просил меня полюбить его милую Тетясю, т. е. Пиунову. И я буквально исполнил его дружескую просьбу. А сегодня, прощаясь со мной, Кишкин со слезами на глазах просил меня полюбить его кроткую любимицу Вареньку Остафьеву. [349] И после таких милых обязанностей я скучаю. Дурень, дурень, а в школі вчився. Остафьева выехала куда-то из города, и я в 6 часов вечера отправился к Пиуновой, застал ее дома. Продиктовал ей стихи Курочкина:

„Как в наши лучшие года“,* а она прочитала мне некоторые вещи Кольцова и потом чуть-чуть не все басни Крылова. Я в восторге был от этого импровизированного литературного вечера и пришел домой совершенно счастлив. Она любит чтение: значит, она далеко пойдет в своем искусстве. Дай бог, чтобы сбылось мое пророчество.

12 [января]. Не ради воскресенья и светского пошлого визита пошел я к П. М. Голынской (племянница здешнего губернатора), а по просьбе моего искреннего Михайла Семеновича пошел я передать ей его портрет и приятельский поклон. В огромной гостиной старушку Шаховскую [350] и Голынскую окружали [такие] холодные, официальные, чопорные фигуры, что после приветствия и самого коротенького присеста на меня пахнуло холодом от этой честной компании. Вышел сам губернатор, я поздравил его с получением через плечо Анны, раскланялся и вышел вместе с Э. А. Бабкиным. [351] Заехал к Бабкину на квартиру, взял у него Пушкина и Гоголя и повез к Пиуновой. Прочитал ей „Сцены из рыцарских времен“ и отогрел губернаторским холодом обвеянную душу. Она прочитала мне „Каменного гостя“, и потом мы поехали к Брылкиным обедать; после обеда М. А. Грас [352] повезла ее в театр, куда последовал и я, совершенно доволен таким теплым, прекрасным окончанием холодно начавшегося дня.

13 [января]. Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающую смерть Людовика XVI, а

* См. выше, стр. 218.

я сегодня за это назидательное изображение изобразил его собственную персону, и довольно удачно. Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Весловского и, возвратясь домой, нашел у себя на столе письмо Сергея Тимофеевича Аксакова.

В заключение любезностей он пишет, что „Матроз“ мой, наконец, пошел в ход. Он передал его Каткову, редактору „Русского вестника“. [353] В ожидании будущих благ принимаюсь переписывать вторую часть „Матроза“.

14 [января]. Сегодня случайно зашел я к Пиуновой; речь зашла о конце ее театрального года, о возобновлении кантракта; ей, бедняжке, ужасно не хочется оставаться в Нижнем, а не знает куда девать себя. В Казань ей хотелось бы, но она боится там какой-то Прокофьевой, не соперницы, но ужасной интриганки. [354] В таком ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу письмо директору харьковского театра [355] и буду просить Михайла Семеновича Щепкина о ее заступничестве. Как бы это хорошо было, если бы удалось ей переселиться в Харьков.

15 [января]. Не откладывая в длинный мешок, сегодня же я написал и директору харьковского театра и моему великому другу. Каков-то будет результат из моих нехитрых затей. [356]

16 [января]. Только что хотел заключить письмо моему великому другу, да вспомнил, что сегодня не почтовый день. Оставил послание и принялся за „Матроза“. Несносно скучная работа! Литератором должны платить не за писание, а за переписывание собственных произведений.

Вечером возвратился я из театра и нашел у себя письмо моего гениального друга. И хорошо, что я своего письма не кончил. Между прочим он пишет мне, что рисунки мои он уж пустил в ход. Спасибо ему, неутомимому.

17 [января]. Окончил неоконченное письмо, отправил на почту и принялся за „Матроза". Несносная работа. Когда я ее кончу?

18 [января]. К немалому моему удивлению, сегодня встретил у Брылкина давнишнего и нелицемерного своего поклонника В. Н. Погожева. Он здесь по делам службы и завтра едет в Москву. [357]

19 [января]. Сегодня повторилась моя любимица в роли Тетяны. Очаровательна, как и в первый раз. Но Климовский в роли Чупруна и по выговору, и по мимике — вандал. Лапти плел, варвар, и только мешал моей милой Тетясі.

20 [января]. Проводил в Петербург доктора Кутерема, [358] Кебера, Шрейдерса, Фрейлиха и Н. А. Брылкина в Казань и на компанейский завод близ Казани. Сегодня у меня день провод.

21 [января]. Бенефис милочки Пиуновой. Полон театр зрителей и очаровательная бенефициантка — прекрасная тема для газетной статейки. Не попробовать ли? Попробуем наудалую. [359]

22 [января] Проездом из Петербурга в Вятку на службу, посетил меня сегодня Яков Лазаревский. [360] Он недавно из Малороссии. Рассказал

о многих свежих гадостях в моем родном краю, в том числе и о грустном екатеринославском восстании 1856 года и про своего соседа и родственника Н. Д. Белозерского. [361] Этот филантроп-помещик так оголил своих крестьян, что они сложили про него песню, которая кончается так:

А в нашого Білозера
Сивая кобила,
Бодай же його побила
Лихая година.
А в нашого Білозера
Червоная хустка,—
Ой не одна в селі хата
Осталася пустка.

Наивное, невинное мщение!

23 [января]. „Дочь второго полка“ — глупейшее произведение Доницетти. Либретто тоже нелепо и неестественно [362]. Покойному нашему Тормазу [363], надо думать, очень нравилось это топорное произведение. Да не по его ли заказу оно и родилося на свет божий? При нем, я помню, когда-то в Петербурге оперетка эта исполнялась с большой дисциплиной. Теперь она и это существенное свое достоинство утратила. Что бы сказал на это Тормаз? Он бы Гедеонова на месяц на гауптвахту упрятал [364].

Старуха Шмидтгоф [365] в роли Марии безобразна, а мой любимец Владимиров в роли старика, дворецкого маркиза, был тоже безобразен.

24 [января]. Получил письма от Кулиша и от М. Лазаревского.

25 [января]. Получил письмо от Костомарова с выговором за молчание. Я действительно виноват перед ним на сей раз. Но что писать? О чем писать? Что я здесь скучаю и ничего не делаю? И не могу, наконец, ничего делать. Лучше молчать, нежели переливать из пустого в порожнее.

26 [января]. Встретил масляницу катаньем за город. Я предложил это удовольствие милейшей Пиуновой с семейством. Она согласилась. И мы поехали в село Бор, напилися чаю в каком-то кабаке. И на обратном пути она все пела известную свадебную или святошную песню:

> Меня миленькой он журил, бранил,
> Он журил, бранил, добром говорил,
> Ай люли-люли выговаривал!
> — Не ходи, девка, молода замуж,
> Наберись, девка, ума-разума,
> Ума-разума, да сундук добра,
> Да, сундук добра, коробок холста.

Жидовское начало в русском человеке. Он без приданого не может даже полюбить.

27 [января]. В церкви Покрова отпели тело Д. А. Улыбышева, знаменитого критика и биографа Бетховена и Моцарта [366].

28 [января]. Николай Петрович Болтин, губернский и дворянский предводитель, изъявил желание познакомиться со мною. Я удовлетворил его любезному желанию и не раскаиваюсь. Он человек здраво и благородно мыслящий, горячо сочувствующий вопросу о крепостных крестьянах и усердно хлопочет о составе Комитета, который должен порешить это дело в Нижегородской губернии. [367]

29 [января]. Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни. [368]

30 [января]. Любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна! [369]

Я сам принес вам книги и принес их с тем, чтобы вы их прочитали. Но вы, не прочитавши их, прислали мне назад. Как объяснить мне ваш поступок? Он ставит меня решительно втупик, особенно, если принять в соображение наш сегодняшний разговор. Уж не ответ ли это на мое предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее. Дело слишком для меня важно. Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви; я слишком люблю и уважаю вас, чтобы употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем—для меня величайшее счастье, и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастие не понравиться вам и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то нечего делать: я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае, ни чувства мои, ни уважение к вам не изменятся, и если вы не можете или не хотите быть моей женою, то позвольте мне оставить себе хоть одно утешение—остаться вашим другом и постоянною преданностью и почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение.

В ожидании ответа, который должен решить мою участь, остаюсь преданный вам и глубоко любящий

Тарас Шевченко.

31 [января]. Я совершенно не гожусь для роли любовника. Она, вероятно, приняла меня за помешанного или, просто, за пьяного и, вдобавок, за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье, и что [я] не пошлый театральный любовник, а искренний, глубоко сердечный ее друг. Сам я ей этого не умею рассказать. Обращусь к моему другу М. А. Дороховой! Если и она

не вразумит ее, — тогда я самый смешной и несчастный жених.

1 февраля. Получил письмо от М. С. Щепкина с 200 рублей и с самой сердечной готовностью переселить мою прекрасную невесту в Харьков. Он желает знать ее условия, а она не желает свидания со мной. Но так как это свидание не любовное, а деловое, то оно и необходимо. Делать нечего; принимаюсь опять за послание [370].

2 [февраля]. Дело мое не так плохо, как я думал. Она приняла мое внезапное предложение за театральную сцену. Настоящая актриса. Она во всем видит свое любимое искусство. Даже во мне она открыла сценического артиста тогда, когда я менее всего был похож на актера. Я действительно тогда был похож на помешанного или, скорее, на пьяного, а она, бедняжка, приняла меня за лицедея. Но — перемелется—мука будет.

Все это объяснил мне ее отец [371], который явился на мое приглашение по поводу письма Михайла Семеновича. Старик не высказал прямо своего мнения на счет моего сватовства, но согласился со мною, что ей необходимо чтение, и взял у меня *Губернские очерки* [372] и несколько ливрезонов Гогарта [373]. Добрый знак.

В заключение спектаклей дана была драма „Парижские нищие“. [374] Роль Антуанетты исполнила она, и исполнила лучше, нежели в первый раз; но я не апплодировал. А почему — и сам не знаю. Мне казалась она выше всяких апплодисментов. Но я этого никому не сказал.

3 [февраля]. Ниночка Пущина именинница. Вчера я уведомил Пиунову об этом с намерением

увидеться и поговорить с нею, но политика мне не удалась. Возлюбленная моя явилась, поздравила именинницу и через полчаса уехала. И я успел, и то уже в передней, пожать и поцеловать ей руку и не проговорить ни слова. Лукавое создание! Теперь я тебе не западню, а капкан поставлю. Посмотрим, кто кого перехитрит.

Тут же при ней прочитал я вслух уже напечатанную статейку собственного изделия о ее бенефисе. [375] Быть может, ей не понравилось мое нельстивое рукоделие, и она поторопилась уехать. Да не плюнуть ли мне на эту сердечную затею? Не плюй в колодезь, придется воду пить.

4 [февраля]. Лучше хоть что-нибудь, нежели ничего. Другой день нет спектаклей, бедных нижегородских спектаклей! И будто чего-то необходимого недостает.

5 [февраля]. Я видел ее во сне. К добру ли это? Будто бы она слепая, нищая, но такая молодая и хорошенькая! Стоит у какой-то ограды или забора и протягивает руку христа ради. Я хотел подойти с какою-то мелкою монетою, но она внезапно исчезла. Это продолжение роли Антуанетты Ничего больше.

Вечером был у Татаринова. Белов [376] и Татаринов играли в четыре руки увертюру из „Вильгельма Телля" и из „Фрейшютца", [377] а потом некоторые вещи духовного содержания Гайдна. Божественный Гайдн! Божественная музыка!

После музыки зашла речь о театре и о таланте моей возлюбленной Пиуновой. Сначала слушал я с удовольствием расточаемые ей похвалы, но по-

том так мне грустно стало, что я хотел уйти. Что бы это значило? Не ревность ли? Глупо, нелепо ревновать актрису к зрителям. Ее истинный любовник должна быть публика, а муж — друг.

В заключение вечера хозяин прочитал нам песню Беранже, переведенную Ленским под названием *Старый холостяк*. Мне она очень понравилась, потому, может быть, что я, если не сдружусь с моей возлюбленной артисткой, должен буду вступить в эту непочтенную категорию.

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

(Беранже).

Десятый час, пора на боковую,
Маланьюшка, поди ко мне душа;
Семь я тебя разочек поцелую...
Кухарочка, а как ведь хороша!
Мне кажется, ты видишь и по взгляду,
Что стал бодрей я в эти шесть недель...
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

Маланьюшка, ты не дивись нимало,
Что я хочу служанкой быть любим:
Я в старину ухаживал бывало
За личиком, дрянь перед твоим,
Что есть любовь, пять лет не знал я сряду,
А прежних чувств все не проходит хмель.
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

Дружочек, будь со мною без отлучки
Ты с этих пор на кухне не слуга,
И можно ли, чтоб эти щечки, ручки
Коптилися весь день у очага?
Я дам тебе хорошую награду,
Одену так, как лучшую мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

Что слышу я? опять ответ всегдашний:
— Да полноте! как можно! стыд какой!—
Сударыня, я знаю ваши шашни
С Петрушкою, племянника слугой!..
В знакомстве с ним ни складу нет, ни ладу,
Того смотри, что сядешь тут на мель...
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

Маланьюшка! ты на мое желание
Без дальних слов должна бы отвечать.
Вот видишь ли: я скоро завещанье
Духовное намерен написать.
Чем приводить хозяина в досаду,
Пойми, мой друг, его благую цель...
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

А, наконец, мои приятны ласки...
Но... Как я слаб!.. Проклятие судьбе!..
Не плачь, душа: я не боюсь огласки
И немощен женюся на тебе.
Пожалуйста в крови моей прохладу
Хоть как-нибудь поразогрей, мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шеколаду
Да приготовь мою постель.

6 [февраля]. М. А. Дорохова сегодня репетировала предстоящий акт выпускным своим юным питомицам. Юные питомицы, в зеленых платьицах и белых пелеринках, числом [[378]] чинно сидели на скамейках, в роде театральных зрителей, и благоговейно внимали, как их досужие подруги исполняли на фортепьяно руколомные пьесы. Между прочим, была исполнена на двух инструментах весьма недурно увертюра из „Вильгельма Телля". Потом прочитаны стихи по-французски, по-немецки, и в заключение девица Беляева прочитала русские стихи собственного сочинения на тему — благодарность за воспитание; для ее возраста стихи хороши, за

что я ей обещался подарить сочинения И. [И] Козлова, [379] если найду в Нижнем. [380] В заключение, пропет был хором так называемый народный гимн. И репетиция тем кончилась.

Все это обыкновенно дурно, но вот что отвратительно. В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто, гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы.

После этой театральной репетиции зашел к М. А. Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера; он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 номера *Колокола*. Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал. [381]

7 [февраля]. Сегодня получил письмо, да еще страховое, от директора харьковского театра [И. А.] Щербины. [382] Он весьма любезно просит меня сообщить ему условия Пиуновой и ее самое поторопить приездом. Сердечно рад, что мне удалось это дело. Вечером пошел я обрадовать ее этим любезным письмом и поговорить окончательно об условиях и о времени выезда в Харьков. Ее самой не застал дома, а глупая мамаша так меня приняла, что я едва ли когда-нибудь решусь переступить порог моей милой протеже. Необходимо прибегнуть к письменным объяснениям.

8 [февраля]. Она прислала за мной, чтобы объясниться по поводу харьковского предложения. Я, разумеется, охотно согласился на это деловое

свидание, имея в виду и любовное. Но, увы! Старая ворчунья-мамаша одного шагу не ступила из комнаты, и я должен был ретироваться с одними поручениями. Она предпочитает с отцом ехать в Харьков. Это стеснит ее денежные средства, потому что отец должен оставить контору, от которой он получает 30 рублей в месяц. Но, вероятно, мамаша и ей навязла в зубах.

9 [февраля]. После беспутно проведенной ночи я почувствовал стремление к стихословию, попробовал — и без малейшего усилия написал эту вещь. Не следствие ли это раздражения нервов. [383]

I. ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною;
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До пьяного дяка в науку.
— Учися, серденько: колись
З нас будуть люди,—ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала...
Які з нас люди?... Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли,- у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленька моя,
Мій друже щирий, нелукавий!
Ходімо дальше: дальше слава,—
А слава—заповідь моя. [384]

II. МУЗА

І ти, пречистая, святая,
Ти, сестро, Феба, молодая!
Мене ти в пелену взяла
І геть у поле отнесла;

на могилі серед поля.
Як тую волю на раздоллі,
Туманом сивим сповила, —
І колихала, і співала,
І чари діяла... і я...
О, чарівниченько моя!
Мені ти всюди помогала,
І всюди, зоренько моя,
Ти не марніла, ти сіяла...
    В степу безлюднім, в чужині,
    В далекій неволі,
    Ти в кайданах пишалася,
    Як квіточка в полі;
    Із казарми смердячоі
    Чистою, святою
    Вилітала, як пташечка,
    І по надо мною
    Полинула, заспівала,
    Моя сизокрила,—
    Мов живущою водою
    Душу окропила...
І я живу, і надо мною
Своею божою красою
Витаэш ти, мій херувим,
Золотокрилий серафим,
Моя порадонько святая,
Моя ти доле молодая!
Не покидай мене. В ночі,
І в день, і в вечері, і рано
Вітай зо мною... і учи. —
Учи неложними устами
Хвалите правду! Поможи
Молитву діяти до краю.
А як умру, моя святая,
Моя ти мати! — положи
Свого ти сина в домовину,
І хоть единую сльозину,
В очах бессмертних покажи. [385]

III. СЛАВА

А ти задріпанко, шинкарко,
Перекупко пьяна!

Де ти в ката забарилась
З своіму лучами?
У Версалі над злодієм
На-бор роспустила?
Чи з ким иншим мизкаешься
З нудьги та з похмілля?
Гонись лишень коло мене,
Та витнемо з лиха,
Гарнесенько обіймемось,
Та любо, та тихо
Пожартуем, чмокнемся,
Тай поберемося,
Моя крале мальована...
Бо я таки й досі
Коло тебе мизкаюся:
Ти хоча й пишалась
І з пьяними королями
По шинкам шаталась
І курвила з Миколою
У Севастополі.
Та мені про те байдуже..
Мені, моя доле,
Дай на себе надивитись.
Дай, і пригорнутись
Під крилом твоім і любо
З дороги заснути. [386]

10 [февраля]. Получил письмо от кошового батька Я. Кухаренко, от 7 августа. Оно из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление в Оренбург и только сегодня достигло своей цели. А все-таки лучше позже, нежели никогда. Кухаренко не знал о моей резиденции, а я не знал, как растолковать себе его молчание. А теперь все объяснилось. [387]

И. А. Усков из Новопетровского укрепления пишет, что у них все обстоит благополучно. Не завидую вашему благополучию.

В. Н. Погожев пишет из Владимира, что он надних виделся в Москве с М. С. Щепкиным и что

он ему читал наизусть какую-то мою *Пустку*, совершенно не помню этой вещи. А слышу об ней уже не в первый раз. [388]

11 [февраля]. М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и нетрезвом существовании. Интересно бы знать, из какого источника он почерпнул эти сведения. Стало быть, и у меня не без добрых людей. Все же лучше, нежели ничего.

Благодарю тебя, мой старый, мой добрый; но чем тебя разуверить, не знаю. Далее он пишет о перемещении Пиуновой в Харьков. Он сомневается, чтобы ей дали там требуемое ею содержание. Будет досадно, если не состоится это перемещение. Подождем, что скажет Иван Александрович Щербина. [389] Боже мой, как бы мне хотелось вырвать ее из этой тухлой грязи!

12 [февраля]. Сегодня нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать Фрейлиха—и квиты.

14 [февраля]. Кончил, наконец, вторую часть „Матроза". Переписыванье—это самая несносная работа, какую я когда-либо испытывал. Она равняется солдатскому ученью. Нужно будет прочитать еще это рукоделье; что из него выйдет? Как примет его С. Т. Аксаков? Мне ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство!

15 [февраля]. Приглашал запиской свою мучительницу обедать у М. А. Дороховой. Сказалась больной, несносная лгунья. Мне необходимо с ней поговорить наедине до выезда из Нижнего; а как

это устроить, не придумаю. Писать не хочется, а кажется, придется писать. Опять видел ее во сне слепою нищею, только уже не у церковной ограды, как в первый раз, а в живой картине, в малороссийской белой свитке и в красном очипке.

16 [февраля]. Отправивши на почту письма Кухаренку и Аксакову, зашел в собор послушать архиерейских певчих. Странно, или это с непривычки, или оно так есть. Последнее вернее. В архиерейской службе с ее обстановкою и вообще в декорации мне показалось что-то тибетское, или японское. И при этой кукольной комедии читается Евангелие. Самое подлое противоречие.

Нерукотворенный чудовищный образ, копия с которого меня когда-то испугала в церкви Георгия. Подлинник этого индейского безобразия находится в соборе и замечателен как древность. Он перенесен из Суздаля князем Константином Васильевичем в 1351 году. Очень может быть, что это оригинальное византийское чудовище.

Вечером были живые картины в театре, которые я не пошел смотреть, несмотря даже на то, что в них участвовала моя несравненная. Я боялся увидеть византийский стиль в этих картинах. Опасения мои основательны. Г. Майоров [390] малейшего понятия не имеет в этом простом деле. В театральном кафе или, как его здесь называют, в „кабаке", встретил старика Пиунова, которому, как он мне сказал, очень бы хотелось, чтобы его Катя что-нибудь прочитала в следующее воскресенье на сцене. Я обещал порыться в российской поэзии. Порылся. И выбор мой пал на последнюю сцену из „Фауста" Гёте, перевод Губера. [391] Она прочитает хорошо,

только нужно будет одеть ее сообразно с местом и временем. Жаль, что нет под рукою Реча! [392] Да достану ли еще и книгу Губера в этом затхлом городе?

17 [февраля]. Не без труда, однакож, достал „Фауста“ Губера, послал книгу моей артистке и часа через три являюсь к ней в полной уверености, что она уже наизусть читает роль Маргариты. Ничего не бывало. Она нашла почему-то неудобной эту сцену для чтения. На зов матери вышла из комнаты; а я с полчаса поболтал с отцом и ушел как несолено хлебал. Замечательная простота нравов!

18 [февраля]. Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои—Волконский и Малюга.[393] Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения! Где средства на будущее развитие? Варварство!

Малюга сообщил мне, что Марко Вовчок—псевдоним некоей Маркович и что адрес ее можно достать от Данила Семеновича Каменецкого, поверенного Кулиша в Петербурге [394]. Какое возвышенно-прекрасное создание эта женщина! Не чета моей актрисе. Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги.

19 [февраля]. В шесть часов утра приехал Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского, песни Беранже Курочкина [395] и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего же рисунка.

В 12 часов в зале дворянского собрания происходило торжественное открытие комитета, собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян [396]. Великое это начало благословлено епископом [397] и открыто речью военного губернатора А. Н. Муравьева, речью не пошлою официальною, а одушевленною христианскою свободною речью. Но банда своекорыстных помещиков не отозвалася ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи! Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию. [398]

20 [февраля]. Один экземпляр моего нерукотворенного образа подарил М. А. Дороховой; он ей не понравился, выражение находит слишком жестким. Просил достать копию речи Муравьева. Обещала.

21 [февраля]. Писал Лазаревскому, чтобы он свои письма ко мне адресовал на имя М. С. Щепкина в Москву.

Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную с 1847 по 1858 год. Не знаю, много ли выберется из этой половы доброго зерна.

22 [февраля]. Третий раз вижу ее * во сне и все нищею. Это уж не следствие роли Антуанетты, а следствие каких данных, не разумею. Сегодня представилась она мне грязною, безобразною, оборванною, полунагою и все-таки в малороссийской свитке, но не в белой, как прежде, а в серой, разорванной и грязью запачканной. Со слезами просила у

* Е. Б. Пиунову.

меня и милостыни и извинения за свою невежливость по случаю „Фауста“ Губера. Я, разумеется, простил ее и, в знак примирения, хотел поцеловать, но она исчезла. Не предсказывают ли эти ночные грезы нам действительную нищету?

23 [февраля]. Сон в руку. Возвращаясь с почты, зашел я к Владимирову и услышал, что моя возлюбленная Пиунова, не дождавшись письма из Харькова, заключила условие с здешним новым директором театра, с г. Мирцовым. [399] Если это правда, то в какие же отношения поставила она меня и Михайла Семеновича со Щербиною? В отвратительные!

Вот она где нравственная нищета! А я боялся материальной.

Дружба врозь и черти в воду. Кто нарушил данное слово, для того клятва не существует.

24 [февраля]. Получил письмо от Кулиша с дороги в Бельгию, с хутора Мотроновки, около Борзны. [400] Он предлагает мне рисовать сцены из малороссийской истории, из песен и из современного народного быта. Рисунки, которые бы можно было вырезать на дереве, печатать в большом количестве, раскрашивать и продавать по самой дешевой цене. Мысль его та, чтобы заменить в нашем народе суздальское изделие. Прекрасная, благородная мысль! Но она может осуществиться только при больших деньгах и принести даже материальную пользу. Теперь я не могу приняться за такую работу. Для этого нужно жить постоянно в Малороссии, чтобы была разница между моими рисунками и суздальскими, и потому еще, что я не теряю надежды быть в Академии и заняться любимой акватинтой.

Я так много перенес испытаний и неудач в своей жизни. Казалось бы, пора уже освоиться с этими мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову; у меня не хватило духу поклониться ей. А давно ли я видел [в ней] будущую жену свою, ангела-хранителя своего, за которого готов был положить душу свою? Отвратительный контраст. Удивительное лекарство от любви несамостоятельность; у меня все как рукой сняло. Я скорее простил бы ей самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня, а, главное, моего старого знаменитого друга поставила в самое неприличное положение. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!

Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собою. Из Владимира как-нибудь доберусь до Никольского [401] и в объятиях моего старого искреннего друга,* даст бог забуду и Пиунову и все мои горькие утраты и неудачи. Отдохну и на досуге займусь перепиской для печати моей невольничьей поэзии. А сегодня перепишу чужую не поэзию, но довольно удачные стишки, посвященные памяти неудобозабываемого фельдфебеля.

Когда он в вечность переселился,
Наш незабвенный Николай,
К Петру-апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
— Ты кто?—спросил его ключарь.
— Как кто! Известно—русский царь.
— Ты царь? Так подожди немного:
Ты знаешь — в рай тесна дорога
И узки райские врата:
Смотри, какая теснота!
— Что ж это все за сброд?

* М. С. Щепкина.

Простой народ!
— Аль не узнал своих? Ведь это россияне—
Твои бездушные дворяне.
А это вольные крестьяне.
Они все по миру пошли
И нищими к нам в рай пришли.
Тогда подумал Николай:
— Так вот как достается рай!
И пишет сыну: „Милый Саша!
Плоха на небе участь наша
И если подданных ты любиишь,
То их богатства поубавь.
А если хочешь в рай ввести,
То всех их по миру пусти! [402]

25 [февраля]. В 7 часов утра получил письмо Лазаревского; он пишет, что мне дозволено приехать и жить в Петербурге. Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать. [403]

В три часа собрались к обеду: Н. Брылкин, П. Брылкин, [404] Грас, Лапа, Кудлай, Кадницкий, Фрелих, Климовский, Владимиров, Попов, Товбич. [405] За обедом было и шумно, и весело, и изящно, потому что компания была единодушна, проста и в высокой степени благородна. За шампанским я сказал спич, сначала поблагодарил гостей моих за сделанную мне честь и в заключение прибавил, что я ни на кого не буду на бога в претензии, если буду встречать всюду таких добрых людей, как они, теперь сущие со мною, и что память о них навсегда сохраню я в моем сердце.

Праздник мой совершился в квартире добрейшего К. Шрейдерса. Вечером пошел я проводить отъезжающего в Петербург Климовского, с которым предполагал и сам отправиться в гости к М. С. Щепкину, но письмо Лазаревского меня во-время остановило.

26 [февраля]. Товбич предложил мне прогулку за 75 верст от Нижнего; я охотно принял его предложение, с целью сократить длинное ожидание официального объявления о дозволении жить мне в Питере. Мы пригласили с собою актера Владимирова и некую девицу Сашу Очеретникову, отчаянную особу. [406] Скверно пообедали на мой счет в трактире Бубнова и пустились в дорогу.

27 [февраля]. В селе Медновке, цели поездки Товбича, пробыли мы до 8 часов вечера. Тут встретился я с путейским капитаном Петровичем, приехавшим туда по одному делу с Товбичем. [407] Петрович по происхождению серб, образованный, прямой и сердечный человек, хорошо разумеющий и глубоко сочувствующий всему современному. Мне больно, что я прожил столько времени в Нижнем и только сегодня встретился с этим редким человеком.

28 [февраля]. В 7 часов утра возвратились мы благополучно в Нижний. Поездка наша была веселая и не совсем пустая. Саша Очеретникова была отвратительна. Она немилосердно пьянствовала и отчаянно на каждой станции изменяла, не разбирая потребителей. Жалкое безвозвратно потерянное, а прекрасное создание. Ужасная драма!

1 [марта]. На имя здешнего губернатора от министра внутренних дел [408] получена бумага о дозволении проживать мне в Петербурге, но все еще под надзором полиции. Это работа старого распутного японца Адлерберга. [409]

2 [марта]. Получил письмо от графини Н. И. Толстой. Она пишет, что ее сердечное желание наконец исполнилось, и что она с нетерпением ждет меня к себе. Доброе, благородное создание! Чем я воздам тебе за добро, которое ты для [меня] сделала? Молитвою, бесконечною молитвою!

Овсянников просит, чтобы [подождать] его здесь до 7-го числа. Подожду. А если он обманет, — прокляну и без денег уеду.

3 [марта]. Давно ожидаемую книгу *Детство Багрова внука* [410] сегодня получил с самою лестною надписью сочинителя. Книга была послана из Москвы 7 февраля и пролежала до сегодня у сухого Даля. Могла бы и навсегда остаться у него если бы я сегодня случайно не зашел к нему и не увидел ее. Он извиняется рассеянностью и делами. Чем хочешь извиняйся, а все-таки ты сухой немец и большой руки дрянь. И что вздумалося Сергею Тимофеевичу [Аксакову] делать меня комиссионером Даля, тогда как ему мой адрес известен? Не думал ли он через это познакомить меня с ним? Добрейший Сергей Тимофеевич!

4 [марта]. В ожидании Овсянникова и полицейского пропуска в Питер принялся переписывать *Відьму* [411] для печати. Нашел много длинного и недоделанного. И слава богу. Работа сократит длинные дни ожидания.

5 [марта]. Послал письмо графине Н. И. Толстой. Писал ей, что 7-го числа в 9 часов вечера оставлю Нижний-Новгород. Сбудется ли это? Это будет зависеть от Овсянникова, а не от меня. Глупо! Продолжаю работать над *Відьмою*.

6 [марта]. Я слишком плотно принялся за свою *Відьму*. Так плотно, что сегодня кончил. А работы было порядочно и, кажется, порядочно кончил. Переписал и слегка поправил *Лилею* и *Русалку*. Как-то примут земляки мои мою невольническую Музу? [412].

В часов 7 вечера явился ко мне жандармский унтер-офицер и предложил довезти меня за 10 р. до Москвы. Сердечно благодарен за предложение. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу своему капитана Шлиппенбаха, на обратном пути искал себе попутчика и нашел меня в Нижнем. Еще раз спасибо ему.

Условившись в цене и времени выезда, я пошел к Кудлаю поторопить его насчет полицейского пропуска. Кудлая не застал дома и по дороге зашел к Вильде, [413] где встретил Татаринова, мамзелей Шмитгоф [414] и брата их, молодого, весьма талантливого скрипача и сценического артиста. [415] После ужина хозяин, прощаясь со мной, подарил мне на память несколько миниатюрных медальонов, копии с известных скульптурных произведений древних и новых, сделанных разными художниками. Милый и умный подарок.

7 [марта]. От часу пополудни до часу полуночи прощался с моими нижегородскими друзьями. Заключил расставание у М. А. Дороховой ужином и тостом за здоровье моей святой заступницы, графини Н. И. Толстой.

10 [марта]. В три часа пополудни 8 марта оставил Нижний на санях, а во Владимир приехал 9-го ночью на телеге. Кроме этого, весьма обыкно-

венного явления в настоящее время года, ничего особенного не случилось, кроме легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой воды и думал все покончить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал.

Во Владимире на почтовой станции встретил я А[лексея] И[вановича] Бутакова, под командою которого плавал я два лета, 1848 и 49, по Аральскому морю [416]. С тех пор мы с ним не видались. Теперь он едет с женою в Оренбург, а потом на берега Сыр-Дарьи. У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет, а он, кажется, готов навсегда там поселиться. Понравилась сатана лучше ясного сокола.

В 11 часов вечера приехал в Москву. Взял № за рубль серебра в сутки в каком-то великолепном отеле. И едва мог добиться чаю, потому что уже было поздно. О, Москва! О, Караван-Сарай, под громкою фирмою — отель! Да еще и с швейцаром.

11 [марта]. В 7 часов утра оставил я Караван-Сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего друга М. С. Щепкина. Нашел его у староого Пимена, в доме Щепотьевой, и у него поселился и, кажется, надолго, потому что глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалось несколько групп прыщей. Облобызав моего великого друга, отправился я к доктору Ван-Путерену, моему нижегородскому знакомому. Он прописал мне английскую соль, зеленый пластырь, диэту и, по крайней мере, неделю не выходить на улицу. Вот тебе и столица! Сиди да смотри в окно на старого безобразного Пимена.

12 [марта]. Посетил меня доктор Ван-Путерен, прибавил еще два лекарства для внутреннего и наружного употребления и посулил мне, по крайней мере, неделю заточения и поста. Веселенькая перспектива!

Вслед за доктором посетил меня почтеннейший Михайло Александрович Максимович. [417] Молодеет, старичина, женился, отпустил усы да и в ус себе не дует. Вечером, по настоянию моих гостеприимных хозяев, сошел я вниз в гостиную, с повязанной головой, где встретил несколько человек гостей и между ними Кетчера, Бабста и Афанасьева, с которым тут и познакомил меня хозяин. [418] Время быстро прошло до ужина. Подали ужин, гости сели за стол, я удалился в свою келию. Проклятая болезнь!

13 [марта]. Доктор Ван-Путерен уехал сегодня в Нижний, рекомендовал мне своего приятеля, какого-то немца, которого я, однакож, не дождался и просил М. С. [Щепкина] пригласить медика, какого лучше знает, потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. М. С. Пригласил доктора Мина. Завтра я его дожидаю. [419]

Навестил меня Маркович, сын Н. [А.] Марковича, автора „Истории Малороссии“ и М. А. Максимович с брошюрою: „Исследование о Петре Конашевиче-Сагайдачном“. [420] Сердечно благодарен за визит и за брошюру.

14 [марта]. Отправил Лазаревскому два рисунка, назначенные для преподнесения [вел. кн.] М[арии] Н[иколаевне].

После обеда явилися ко мне два доктора; хорошо еще, что не вдруг. Приятель Ван-Путерена пропи-

сал какую-то микстуру в темной банке, а Мин пилнавскую воду и диэту. Я решился следовать совету последнего.

Дмитрий Егорович Мин — ученый переводчик Данта и еще более ученый и опытный медик. Поэт и медик — какая прекрасная дисгармония.

У старого друга моего М. С. везде и во всем поэзия, у него и домашний медик—поэт.

15 [марта]. Вчера было у меня два доктора, а сегодня ни одного. Мне, слава богу, лучше; скоро, может быть, они для меня будут совсем не нужны. Как бы это хорошо было! Надоело смотреть в окно на старого Пимена.

М. С. ухаживает за мной, как за капризным больным ребенком. Добрейшее создание! Сегодня вечером пригласил он для меня какую-то Г[оспожу] Грекову, мою полуземлячку, с тетрадью малороссийских песен. Прекрасный, свежий, сильный голос. Но наши песни ей не дались, особенно женские. Отрывисто, резко, национальной экспрессии она не уловила. Скоро ли я услышу тебя, моя родная, задушевная песня? [421]

Петр Михайлович, старший сын моего великого друга, [422] подарил мне два экземпляра фотографических портретов апостола Александра Ивановича Герцена.

16 [марта]. Нарисовал портрет, не совсем удачно, М. С. Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом Маркович. Пренаивные люди! Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость — хуже татарина, а, кажется, люди умные, а простой вещи не понимают.

После обеда посетил меня Д. Е. Мин и, кроме диэты и пилнавской воды, ничего не присоветовал. Дня через три обещает выпустить на улицу. Ах, как бы было хорошо!

17 [марта]. Сегодня опять посетили меня оба медика, и, слава богу, кроме диэты и сидения в комнате, ничего не прописали! Я, однакож, и этого немного исполнил. Вечером, втихомолку, навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Николаевну Репнину. Она счастливо переменилась, пополнела и как будто помолодела. И ударилась в ханжество, чего я прежде не замечал.

Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?

18 [марта]. Кончил переписывание или процеживанье своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем толково прочитать. М. С. в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. Максимович — тот просто благоговеет перед моим стихом. Бодянский тоже. Нужно будет подождать Кулиша. Он хотя и жестко, но иногда скажет правду. Зато ему не говори правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения.

В первом часу поехали мы с М. С. в город. Заехали к Максимовичу, застали его в хлопотах около „Русской беседы". Хозяйки [423] его не застали дома. Она была в церкви. Говеет. Вскоре явилась она и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание! Но что в ней очаровательнее всего, это чистый нетронутый тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепиано несколько наших песен так чисто,

безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно и завидно. Я написал ей на память свой „Весенній вечір,[424] а она подарила мне, для ношения на шее, киевский образок. Наивный и прекрасный подарок.

Расставшись с милою, очаровательною землячкою, заехали мы в Школу живописи к моему старому приятелю, А. Н. Мокрицкому. [425] Старый приятель не узнал меня. Немудрено: мы с ним с 1842 года не видались. Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин подарил портрет знаменитого Николая Новикова. [426] Потом приехали домой и сели обедать.

Вечером был у О. М. Бодянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках в особенности. И тем заключил свой первый выход из хвартиры.

19 [марта] В 10 часов утра вышли мы с Михайлом Семеновичем из дому и, несмотря на воду и грязь под ногами, обходили пешком, по крайней мере, четверть Москвы. Я не видал Кремля с 1845 года. Казармовидный дворец его много обезобразил, но он все-таки оригинально прекрасен. Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности, безобразен. Крайне неудачное громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом повойнике остановилася напоказ среди Белокаменной. [427] Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к Елене Константиновне Станкевич, моей старой знакомой, [428] напилися чаю, отдохнули и пошли в книжный магазин Н. М. Щепкина. [429]

Из магазина возвратился опять к Станкевич, где я встретил еще одну мою старую знакомую, Олимпиаду Ивановну Миницкую. [430] Пообедали у Станкевич и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратился во-свояси, дивяся бывшему.

20 [марта]. Мой неразлучный спутник и чичероне М. С. сегодня ставил себе банки, и я один, от 10 до 4 часов, месил московскую грязь. Поутру велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым дегтем, вооружился и по Тверской отправился в Кремль. Полюбовавшись старым красавцем-Кремлем, прошел я к юному некрасавцу-Спасу, с целью посмотреть скульптурные работы. Но меня и на двор не пустили. „Не приказано", сказал сторож. Я ему не противоречил и возвратился в Кремль. Полюбовавшись еще раз стариком, вышел я на Ильинку и потом на Покровку. Зашел к А. А. Сапожникову, моему спутнику из Астрахани до Нижнего. Болен — никого не принимает. И хорошо делает, потому что я весь облеплен грязью. Расспросил у будочника дорогу к почтамту и поплелся тихонько к Мокрицкому. Отдохнул у него, полюбовался эскизами незабвенного друга моего покойного Штернберга и пошел к уральскому козачине Савичу. [431] Взял у него „Летопись Велички", которую он получил от О. М. Бодянского два года тому назад для пересылки [мне] и держал у себя, сам не знает с каким намерением. [432] От Савичева зашел в харчевню, напился чаю с кренделями и Страстным бульваром вышел на Дмитровку. Потом к старому Пимену и ровно в 4 часа пришел домой.

Вечером М. С. [Щепкин] был готов на новые подвиги, и мы отправились к Станкевичам. Весело, нецеремонно болтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставаньи А. В. Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений [Ф. И.] Тютчева. [433]

21 [марта]. В 10 часов утра, не пешком, а в пролетке, пустились мы с М. С. Москву созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану чая и потягли далее. Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил мне все издания своей компании, [434] кроме своего перевода Шекспира: он еще в типографии. А Бабст подарил свою речь об умножении народного капитала, издание той же компании. [435] Выпили у Кетчера по рюмке сливянки и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяйка [436] подарила нам по экземпляру портрета кн. [С. Г.] Волконского, декабриста, и мы раскланялись и поехали к Красным воротам к Забелину. [437] Это молодой еще человек, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не в квартире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его показать мне Оружейную палату, где он служит помощником Вельтмана. От Забелина поехали мы в книжный магазин Н. М. [Щепкина], и тут расстался я с моим путеводителем.

Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак—нет худа без добра.

Вечер провел у своей милой землячки М. В. Максимович. И, несмотря на страстную пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные песни! Очаровательная певица!

22 [марта]. Радостнейший из радостных дней! Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот—Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная благородная старческая наружность. Он нездоров и никого не принимает. Поехали мы с М. С. [Щепкиным] сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии в своем доме и. вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько минут. Но эти несколько минут сделали меня счастливым на целый день и навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний.

После постного обеда в Троицком трактире, отправился я домой с намерением приготовиться к ночному кремлевскому торжеству. [138] Намерение мне не удалось. Прочитав статью в 3 № „Полярной звезды" о записках Дашковой, в 11 часов я отправился в Кремль. [139] Если бы я ничего не слыхал прежде об этом византийско-староверческом торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело какое-нибудь впечатление,—теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного. И до которых пор продлится эта японская комедия.

В три часа возвратился домой и до 9 часов утра спал сном праведника.

23 [марта]. Христос Воскрес!

В семействе М. С. [Щепкина] торжественного обряда и урочного часа для разговен не установлено: кому когда угодно. Республика. Хуже — анархия! еще хуже—кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опиваться с восходом солнца, это просто поругание святыни!

В 10-м часу пришел к М. С. с праздничным поклоном актер Самарин [410] и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины, которую при сем и прилагаю.

Боже! В каком я теперь упоеньи
С „Вестником русским“ в руках,
Что за прекрасные стихотворения.
Ах!

Тут Данилевский, Плещеев таинственный,
Майков наш флюгер поэт.
Лучше же всех несравненный, единственный
Фет!

Много нелепостей патетических,
Множество фраз посреди,
Много и рифм. Но красот поэтических
Жди! [411]

24 [марта]. Еще раз виделся я с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в деревню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве попечительная полиция воспрепятствует.

От Аксаковых заехали к В. Н. Репниной, а от нее к актеру Шумскому. [412] Вкусили священной

пасхи с вестфальской колбасой и поехали к Станкевичам. Не застали дома. Отправились в книжный магазин Н. М. Щепкина и Комп., где и осталися обедать. Обед был званый: Н. М. праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской учено-литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость! Молодая, живая, увлекающаяся, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чичерина, [443] Кетчера, Мина, Кронеберга-сына, [444] Афанасьева, Станкевича, Корша, [445] Крузе [446] и многих других: я встретился и познакомился с ними как с давно знакомыми родными людьми. И за всю эту полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину.

В 8 часов вечера отправились к купцу Баренцову, музыканту и любителю искусств. [447] Тут встретился я с некоторыми московскими художниками и музыкантами и, послушавши Моцарта и Бетховена и других великих представителей слышимой гармонии, в 11 часов удалился восвояси, дивяся бывшему.

25 [марта]. Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, между прочим, и ветхих деньми товарищей своих, Погодина и Шевырева. [448] Погодин еще не так стар, как я его воображал себе. Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда амфитрион прочел в честь мою стихи собственного сочинения. [449] А после обеда милейшая хозяйка пропела несколько малороссийских песен, и восхищенные гости разошлись кто куда, [450] а я заехал к Сергею Тимофеевичу

Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую прекрасную голову. До 9 часов пробыл я у Аксаковых и с наслаждением слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной. [455] Все семейство Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии и ее песням и вообще ее поэзии. В 9 часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, [452] где встретился и познакомился с Хомяковым и со стариком декабристом к[нязем] Волконским. Кротко, без малейшей желчи, рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-летней ссылки и в заключение прибавил, что те из его товарищей, которые были заточены поодиночке, все перемерли, а те, которые томились по нескольку вместе, пережили свое испытание, в том числе и он.

В 9 часов утра расстался я с М. С. Щепкиным и с его семейством. Он уехал в Ярославль, а я, забравши свою мизерию, поехал к железной дороге и в два часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву. В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова.

27 [марта]. В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге. В 9 часов я был уже в квартире моего искреннейшого друга М. М. Лазаревского.

28 [марта]. По снегу и слякоти пешком обегал я половину города почти без надобности. На перепутьи зашел в гостиницу Клея [453] и нашел там

только что приехавшего из Москвы Григория Галагана.[451] Он передал мне письмо Максимовича с его стихами, читанными им за обедом 25 марта, записку на получение „Русской беседы“ и моего, в Москве обретшегося, *Еретика*, т. е. Яна Гуса, которого я считал невозвратно погибшим.[455] В 3 часа возвратился я домой и обнял моего задушевного Семена [Гулака] Артемовского, а через полчаса я был уже в его доме, как в своей родной хате. Много и многое мы вспомнили и переговорили, а еще большего не успели ни вспомнить ни переговорить. Два часа мелькнули быстрее одной минуты; я расстался с моим милым Семеном и в 6 часов вечера, вместе с Лазаревским, отправились мы к графине Н. И. Толстой.

Сердечнее и радостнее не встречал меня никто, и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей и с графом Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой родственной встречи. Многое хотелось мне пересказать ей, и я ничего не сказал В другой раз. Бутылкой шампанского освятили мы святое радостное свидание и в 8 часов расстались.[456]

Вечер провели мы у В. М. Белозерского, моего союзника и соседа по каземату в 1847 году.[457] У него встретил я моих соизгнанников оренбургских: Сераковского, Станевича[458] и Желяковского (Сову).[459] Радостная веселая встреча! После сердечных речей и милых родных песен мы расстались.

29 [марта]. В 10 часов утра явился я казанским сиротой к правителю канцелярии обер-полицеймейстера, к земляку моему И. Н. Мокрицкому.[460] Он принял меня полуофициально, полуфамильярно.

Старое знакомство оказалось в скобках. В заключение он мне посоветовал обрить бороду, чтобы не произвести неприятного впечатления на его патрона графа Шувалова, к которому я должен явиться, как к главному моему надзирателю. [461]

От Мокрицкого я опять пошел гранить уже высушенную мостовую и упражнялся в сем хитром ногодельи до 12 часов, а в 12 час. с М. Лазаревским поехали к Василью Лазаревскому. [462] На удивленье симпатические люди эти прекрасные братья Лазаревские и все шесть братьев как один. Замечательная редкость. Василь принял меня как давно невиданного своего друга. А мы с ним в первый раз в жизни встречаемся: от земляк, так земляк! [463]

Вечером отправились мы в цирк-театр смотреть и слушать живописную лекцию геологии профессора Роде. Лекция мироздания прекрасна, и астрономические картины почти не лишни, но к чему эти аляповатые, суздальские виды городов и зданий, оскорбляющие искусство? И к чему эти живые, вертящиеся ситцевые узоры, оскорбляющие науку? Странно! А еще более странно то, что публика рукоплещет этой балаганной пошлости. Толпа. Да еще столичная толпа! [464]

30 [марта]. Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе для М. А Дороховой. Искал квартиру Бабста и не нашел. Жаль. Несмотря на возмутительную погоду, прошел на Васильевский остров, зашел к художнику Лаврову [465] и от него узнал о смерти Павла Петровского. Отвратительная новость. Бедная старуха - мать, она не переживет этой страшной новости.

Вечером графиня Н. И. [Толстая] представила меня своим знакомым, собравшимся у нее в этот вечер порядочной толпой. Они приветствовали меня как давно ожиданного и дорогого гостя. Спасибо им. Боюся, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже.

31 [марта]. С художником Лукашевичем [466] был в Эрмитаже. Новое здание Эрмитажа показалось мне не таким, как я его воображал. Блеск и роскошь, а изящества мало. И в этом великолепном храме искусств сильно напечаталась тяжелая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя. [467]

В три часа возвратился домой и под влиянием виденного привел себя в горизонтальное положение, как вошел ко мне мой старый не забытый, но из виду потерянный, знакомый и щирый земляк, Н. Дзюбин. [468] Вспомнили старину и отправились в отель „Париж" обедать. После обеда прошлись по Невскому и на сегодняшний день расстались. Вечер провел у Семена [Артемовского].

1 апреля. Обманывают и обманывают. Хорошо, если бы это случалось только первого апреля... Откуда взял свое начало этот нелепый обычай?

Долго шлялся по Невскому проспекту без всякой цели. Потом прошел на Бассейную, нашел квартиру Кокорева, а самого хозяина не нашел дома. [469] Обедал у Белозерского. После обеда получил записку от графини Н. И. [Толстой] и вечером отправился к ней. Никакой экстренности. Ей просто хотелось меня видеть. Доброе создание!

К графине заехал Сошальский [470] и увез меня к имениннице, землячке М. С. [Кржисевич]. Мы с нею не видалися с 1854 года, [она] едва заметно постарела. На удивление прочная землячка. [471]

2 [апреля]. В 1 часу Сошальский повез меня к землячке Ю. В. Смирновой. * Я знал ее наивной, милой институткой в 1845 году. А теперь чорт знает что! Претензия на барыню, а в самом деле и на порядочную горничную не похожа. От Смирновой заехали к Градовичу. Тоже старый знакомый. [472] От Градовича зашел я, уже без Сошальского, в Палкин трактир, пообедал и отправился домой.

Вечером в цирке-театре смотрел и слушал „Бронзового коня“. [473] Великолепная постановка, и больше ничего. Один старик Петров [474] и Семен [Артемовский] со славою поддержали „Бронзового коня“. А прочее—чепуха!

3 [апреля]. (Из Беранже В. Курочкина). [475]

НАВУХОДОНОСОР.

В давно прошедшие века—
До рождества еще Христова—
Жил царь под шкурою быка.
Оно для древних это ново,
Но так же точно льстил и встарь
И так же пел придворный хор:
Ура! Да здравствует наш царь—
Навуходоносор!

— Наш царь бодается - так что ж?
И мы топтать народ здоровы—
Решил совет седых вельмож—
Да здравствуют рога царевы!
Ведь и в Египте государь

---

* Личность неизвестная.

Был божество с давнишних пор.
Ура! Да здравствует наш царь—
Навуходоносор!

Державный бык коренья жрет,
Вода речная ему пойло...
Как трезво царь себя ведет!
Поэт воспел бычачье стойло,
И над поэмой государь
Мыча уставил мутный взор.
Ура! Да здравствует наш царь—
Навуходоносор!

В тогдашней „Северной пчеле“
Печатали неоднократно,
Что у монарха на челе
След виден думы необъятной,
Что из сердец ему алтарь
Воздвиг народный приговор.
Ура! Да здравствует наш царь—
Навуходоносор!

Бык только ноздри раздувал.
Упитан сеном и хвалами,
Но под ярмо жрецов попал..
И, управляемый жрецами,
Мычал рогатый государь.
Ура! Да здравствует наш царь—
Навуходоносор!

Тогда не выдержал народ—
В цари избрал себе другого,
Как православный наш причет,
Жрецы—любители мясного...
Как злы-то были люди встарь!
Придворным-то какой позор!
Был съеден незабвенный царь
Навуходоносор!

Льстецы царей! Вот вам сюжет
Для оды самой возвышенной,
Да и цензурный комитет
Ее одобрит непременно,
А впрочем... слово „государь“

Не вдохновляет нас с тех пор,
Как в бозе сгнил последний царь
Навуходоносор.

Только что успел я положить перо, дописавши последний куплет этого прекрасного и меткого стихотворения, как вошел ко мне Каменецкий, за ним Сераксвский, а за ним Кроневич[476] и в заключение Дзюбин, который и пригласил меня обедать. Вот тебе и письма. Нужно где-нибудь спрятаться.

После не совсем умереннего обеда вышли мы на улицу и, пройдя несколько шагов, встретили мы вездесущего, вечного жида, брехуна Элькана.[477] После продолжительной прогулки мы с ним расстались и, по его указаниям, пошли искать квартиру актера Петрова и, разумеется не нашли. Ругнули всеведущего Элькана и по дороге зашли к Бенедиктову. Встретил он меня непритворно радостно и после разнородных разговоров он, по моей просьбе, прочитал нам некоторые места из „Собачьего пира" (Барбье), и теперь только я уверился, что этот великолепный перевод принадлежит действительно Бенедиктову.

4 [апреля]. Каменецкий сообщил мне все мои сочинения, переписанные Кулишом, кроме „Еретика". Нужно будет сделать выбор и приступить к изданию. Но как мне приступить к цензуре?

В 3 часа пообедал с Дзюбиным, тоже не совсем умеренно, и вечер провел у Семена [Артемовского].

5 [апреля]. Приезжал Смаковский[478] просить меня обедать с ним и с Дзюбиным. Я спал, меня, спасибо, не сбудили. И я, под предлогом болезни, не поехал на лукулловский обед. Бог с ними. С непривычки можно серьезно захворать. Вечер провел у Галагана.

6 [апреля]. Имел великое несчастие облачиться во фрак и явиться к своему главному надзирателю графу Шувалову. Он принял меня просто, не форменно, а, главное, без приличных случаю назиданий, чем сделал на меня выгодное для себя впечатление.

При этом удобном случае познакомился с женою правителя канцелярии обер-полицеймейстера И. Н. Мокрицкого. Она урожденная Свичка и настоящая моя землячка. Мы с нею встретились как старые знакомые.

Расставшись с милейшей землячкою, прошел я в Академию художеств на выставку. Пейзажи, преимущественно перед другими родами живописи, мне бросились в глаза. Калам имеет сильное влияние на пейзажистов. Самого Калама две вещи не первого достоинства.[479]

Вечер провел у графини Н. И. [Толстой]. Слышал в первый раз игру Антония Контского[480] и лично познакомился с поэтом Щербиною.[481]

7 [апреля]. Было намерение съездить в Павловск к старому Бюрно. Но этому доброму намерению невинно поперечил художник Соколов,[482] к которому я зашел по дороге, пробыл у него до 4 часов и опоздал на железную дорогу. Непростительная рассеянность.

Вечером пошли с Михайлом [Лазаревским] до Семена [Артемовского] и не застали его дома.

8 [апреля]. Воспользовавшись хорошею погодою, пустился я пешим в Семеновский полк искать квартиру Олейникова. Квартиру нашел, а хозяина не нашел и прошел на Бассейную к Кокореву.

И сего откупщика-литератора не нашел дома. По дороге зашел на Литейную к Василию Лазаревскому, отдохнул немного и пустился пешком же в Большую Подъяческую к Семену [Артемовскому] обедать. После обеда вышли на улицу и случайно зашли к бедному бесталанному генералу Корбе. Плачет, бедный, не о том, что из службы выгнали, а о том, что Станислава не дали. Бедный, несчастный человек. [483]

Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику и между многими поляками встретил у него и людей русских, между которыми и две знаменитости, Графа [Л. Н.] Толстого, автора солдатской севастопольской песни, [484] и защитника Севастополя, генерала Хрулева. [485]

Последняя знаменитость мне показалась приборканою. *

9 [апреля]. Квитался за неумеренный ужин Кроникевича [sic].

10 [апреля]. Посетил московского знакомого, некоего Безобразова, [486] потом Рамазанова [487] и Михайлова. Хотел пройти на выставку, да не удалось: царь помешал. Смотрел в цирке-театре „Москаля-чарівника“. Очаровательный Семен. [488]А прочие—чушь.

11 [апреля]. Поручил Каменецкому хлопотать в цензурном комитете о дозволении напечатать „Кобзаря“ и „Гайдамаки“, под фирмою: „Поэзия Т. Ш.“ Что из этого будет? [489]

Зашел по пути к певцу-актеру Петрову. Он только потолстел. А она—увы! Из миленькой

---

* Приниженною.

Анны Яковлевны сделалась почтенная, но все-таки милая старушка. Непрочный пол! [490] Забежал к Семену [Артемовскому], выпил рюмку водки и пошел к Корбе обедать. Скучно и грязно, как у старого холостяка и, вдобавок, у военного. Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского [„Совы“] и с успехом доказал Сераковскому, что [Н. А.] Некрасов не только не поэт, но даже стихотворец аляповатый. [491]

12 [апреля]. Снег, слякоть, мерзость. Невзирая на все это, отправились мы, т. е. я, Семен [Артемовский] и М. Лазаревский, в Академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, [492] выпили по рюмке джину и проглотили по десятку устриц. С выставки пошли мы на званый обед к графине Н. И. [Толстой], данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения. [493] За обедом граф Ф. П. сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов, [494] потом Щербина и, в заключение, сама графиня Н. И. Мне было и приятно и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново. Семен заметил, что за столом все были бледны, тощи и зелены, кроме несчастного изгнанника, т. е. меня. Забавный контраст. После обеда повез меня Сошальский к землячке М. С. Кржисевич, а часу в первом к Борелю, [495] а от Бореля к Адольфине, [496] где я его и оставил.

13 [апреля]. От Н. А. Старова поехали мы с Семеном [Артемовским] к М. В. Остроградскому. [497]

Великий математик принял меня с распростертыми объятиями как земляка и как надолго отлучившегося куда-то своего семьянина. Спасибі йому. Остроградский с семейством едет на лето в Малороссию, пригласил бы, говорит, и Семена с собою, но боится, что в Полтавской губернии сала не хватит на его продовольствие.

Обедал у Семена [Артемовского]. Вечер провел у графини Н. И. [Толстой]. Слушал стихотворение Юлии Жадовской. Жалкая, бедная девушка. [498]

14 [апреля]. Семен познакомил меня с весьма приличным юношею — с В. П. Энгельгардтом. Многое и многое пошевелилось в душе моей при встрече с сыном моего бывшего помещика. Забвение прошедшему! Мир и любовь настоящему. [499]

Вечером Грицько Галаган познакомил меня с черниговскими землячками, с Карташевскими. Нежеманные, милые настоящие землячки. [500]

15 [апреля] По желанию графини Н. И. [Толстой] представлялся Шефу Жандармов К[нязю] Долгорукову. [501] Выслушал приличное случаю, но вежливое, наставление, и тем кончилась аудиенция.

Вечер провел у земляка Трохима Тупиці, [502] где встретился с Громекою, автором статьи *О полиции* и *О взятках*, [503] и познакомился с стариком Персидским С декабристом. [504]

16 [апреля]. Грицько Галаган пришел просить записать ему мой *Весенний вечер*. Я охотно исполнил его желание, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, записал прекрасное стихотворение Хомякова. [505]

И. Н. Дзюбина познакомил я с Семеном [Артемовским], а он, чтобы тоже не остаться в долгу, вздумал попотчевать меня каким-то молодым генералом Крыловым, земляком из Харькова. Несмотря на молодость и любезность, генерал оказался далеко несимпатичным. А обед его, почти царский, тоже показался каким-то приторным.[506]

Вечером Мей[507] прислал мне тот самый „Весенний вечер", который я поутру записал для Галагана в русском переводе собственного изделия. Спасибо ему.[508]

СТИХОТВОРЕНИЕ ХОМЯКОВА[509]

Тебя призвал на брань святую,
Тебя господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных диких сил.

* * *

Вставай, страна моя родная!
За братьев! бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная,—
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

* * *

Но помни: быть орудьем бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов он судит строго,—
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

* * *

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

* * *

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

* * *

С душой, коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

* * *

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг божий крепкой дланью,
Рази мечом—то божий меч!

17 [апреля]. Н. Д. Старов прислал М. Лазаревскому написанное слово, сказанное им в честь мою на обеде графини Н. И. Толстой. Как вещь дорогую для меня, заношу его в мой журнал.

ПРИЗНАТЕЛЬНОЕ СЛОВО Т. Г. ШЕВЧЕНКУ

Несчастие Шевченка кончилось. А с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей. Мы не нарушим скромности тех, чье участие способствовало этому добру и приобрело благодарность всех сочувствующих достоинству блага... Мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченка, который среди ужасных, убийственных обстоятельств, в мрачных стенах казармы смердячої, не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжкой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..

Позвольте же предложить тост признательности за Шевченка, который своими страданиями поддержал то святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие обстоятельства!..
12 апреля 1858.

Н. Старов.

В. М. Белозерский познакомил меня с профессором Кавелиным. Привлекательно-симпатическая натура. [510]

Тот же Белозерский познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми. [511] Очаровательные братья.

Вечером в цирке-театре слушал оперу „Жизнь за царя". Гениальное произведение! Бессмертный М. И. Глинка! Петров в роли Сусанина попрежнему хорош, и Леонова [512] в роли Вани хороша, но далеко не Петрова, которую я слышал в 1845 году.

18 [апреля]. Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое буду отвечать завтра: сегодня я увлекся своею *Лунатикою.* [513] Если бы не помешал обязательный Сошальский, то я кончил бы „Лунатику". Но, увы! нужно было оставить невещественное слово и приняться за вещественное дело, т. е. за увесистый обед.

Вечером, с тем же обязательным Сошальским, поехали мы к милой и талантливо-голосистой певице, мадмуазель Грубнер. [514] Там встретился я с Бенедиктовым [А. С.], Даргомыжским и с архитектором Кузьминым, старым и хорошим знакомым. [515] Музыкальное наслаждение заключилось смешным и приторным мяуканьем Даргомыжского. Точно мышенок в когтях кота. А ему аплодируют. Странные люди эти меломаны. А еще страннее такие певцы, как Даргомыжский. [516]

19 [апреля]. Вчера Сошальский пригласил меня с Михайлом [Лазаревским] на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. [Толстая] просит запиской к себе обедать и обещает

познакомить с декабристом бароном В. И. Ш[т]ейелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон! [517]

За обедом познакомился я с адмиралом Голенищевым, адмирал — товарищ Ф. П. Простой и, кажется, хороший человек. [518]

Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего будынка, збудованного им в старом малороссийском вкусе, в Прилуцком уезде. Барская, но хорошая и достойная подражания затея. [519]

20 [апреля]. Обедал у К. Д. Кавелина и там же познакомился с [А. Д.] Галаховым, составителем русской хрестоматии.

21 [апреля]. Без всякой цели до обеда шлялся по городу. Вечером пошел в театр. [520] Спектакль вообще был хорош, а увертюра „Вильгельма Телля" очаровательна. Хваленый тенор Сетов [521] ниже всякой посредственности, просто дрянь, а ему аплодируют. Семен [Артемовский] в роли отца Линды-ди-Шамуни очень хорош.

Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К. Д. Кавелина. С разговора о минувшей и будущей судьбе Славян мы перешли к психологии и философии и просидели до трех часов утра. Школьничество. Но очаровательное школьничество!

22 [апреля]. Тоже без всякой цели, шлялся до обеда, только уже не один, а с Семеном. Вечером, с Семеном же, пошли к землячке М. Л. Мокрицкой и до второго часу с удовольствием переливали из пустого в порожнее.

23 [апреля]. Вчера условились мы с Семеном, чтобы сегодня, часу в первом, ехать посмотреть дачи. Ровно до двенадцати часов была погода хорошая, потом пошел дождь, затяжной, как его называют. Мы просидели весь день дома, читали Гумбольдта „Космос" и, глядя в окно, повторяли поговорку: „вот те, бабушка, и Юрьев день!"

24 [апреля]. Предположения мне никогда не удаются, а не могу отказать себе в удовольствии сочинять предположения. Сегодня, например, выходя из дому, я располагал провести время до обеда так. Сначала зайти в Академию посмотреть выставку; потом зайти к Ф. И. Иордану, своему будущему профессору; потом к барону Клодту [522] и, в заключение, к графине Н. И. [Толстой] и у нее остаться обедать. Таков был проект, а случилось вот как. В первой зале в Академии встретилися мне Зимбулатов и Борисполец, мои старые и искренние друзья. [523] Наскоро обошли мы выставку, отправились к Зимбулатову и время до обеда провели в воспоминаниях. Я совершенно доволен неудачею.

Вечером собрались мы с Михайлом [Лазаревским] к брату его, Василю, да зашли к Семену и там провели вечер. Тоже неудача.

25 [апреля]. В 10 часов утра пошел проститься с А. Н. Мокрицким, отъезжающим в Москву. По дороге зашел к М. И. Сухомлинову, [524] да по дороге же зашел к барону Клодту, полюбовался монументом неудобозабываемого [525] и прошел в Академию на выставку. В первой зале встретился с [Л. М.] Жемчужниковым, а в последней с Семеном. Из Академии поехал с Семеном на Петер-

бургскую сторону искать дачу. Дачи нашли, оставили задаток и в 6 часов вечера приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н. И. Петрова, [526] слушали бесконечные и бесплодные толки о эмансипации.

26 [апреля]. На обеде у Сошальского лично познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его Николаем, достойным молодым человеком. Поэт Курочкин много обещает в будущем. Дай бог, чтобы сбылись мои надежды [527]

27 [апреля]. Обещался обедать у художника Лукашевича и по рассеянности соврал.

28 [апреля]. Сошальский подарил мне часы стенные. А Василь Лазаревский термометр. По милости добрых людей, главные инструменты имею для опытов над акватинтой. Когда же я примусь за самые опыты?

29 [апреля]. Зашел к Дзюбину. Не застал его дома, спросил завтрак и оставил ему за угощение случившуюся со мною рукопись: „Послание к мертвым, живым и ненарожденным землякам", надписавши на память 1 мая, тоже по рассеянности. [528]

30 [апреля]. Пошли с Семеном [Артемовским] в Летний сад с намерением посмотреть монумент Крылова. По дороге зашли в Казанский собор посмотреть картину Брюллова. [529] Но, увы! Она так умно, удачно поставлена премудрыми попами, что и кошачьими глазами видеть ее невозможно. Отвратительно! По дороге зашли в Пассаж, полюбовались шляющимися красавицами и Алеутскими бол-

ванчиками и прошли в Летний сад. [530] Монумент Крылова, прославленный „Северной пчелой“ и прочими газетами, ничем не лучше Алеутских болванчиков. Бессовестные газетчики! Жалкий барон Клодт! Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках. Барон без умысла достиг цели, вылепивши эту жалкую статую и барельефы, именно для детей, но никак не для взрослых. Бедный барон! Оскорбил ты великого поэта и тоже без умысла. [531]

Оскорбленные бароном, мы взяли ялик и поплыли на Биржу. Полюбовались величественной биржевой залой, прошли в сквер, посмотрели на обезьян и попугаев и зашли на постоянную выставку художественных произведений. Бедный Тыранов! Он и свое болезненное маранье тут же выставил. Грустное тяжелое впечатление. [532]

Находившись до упаду, мы на ялике переплыли Неву, прошли часть бульвара, в окнах магазина Дациаро [533] полюбовались акватинтами, взяли извозчика и отправились домой обедать.

Вечером был у Белозерского и у Кроневича.

1 мая. Решили мы с Семеном провести день как-нибудь, а вечером отправиться в Екатерингоф посмотреть праздничную публику. [534] Часу в первом пошли мы в Академию на выставку и зашли к графине Н И. [Толстой]. Не застали ее дома и прошли к Остроградскому с намерением там и пообедать. Не удалось. М. В. и его благоверная В. Д. больны, а дети гулять ушли; мы последовали их примеру и, пошлявшись по набережной Невы, возвратились домой. [535]

В 8 часов вечера, вместо Екатерингофа, зашли к Белозерскому и весело проболтали до первого часу.

2 [мая]. Были с Семеном [Гулаком-Артемовским] в Эрмитаже, в отделении древней и новой скульптуры. Я не воображал в таком количестве остатков древней скульптуры в Эрмитаже; вероятно, они собраны со всех дворцов: прекрасная мысль. В отделении новой скульптуры меня очаровал Тенерани своей умирающей „Душенькой“ [536] и обидно разочаровал покойник Ставассер своей неуклюжей „Русалкой“. Смотрели музей древностей, библиотеку и на первый раз тем кончили. Внимание утомилось. Залы музея отделаны с бо́льшим вкусом, нежели картинная галерея.

Из Эрмитажа прошли мы на выставку цветов. [537] Изумительная роскошь цветов и растений! Но густая толпа хорошеньких зрительниц мешает вполне наслаждаться произведениями Флоры. В толпе посетителей встретил старых друзей моих, Маслова и толстейшего Сережу Уварова. Не графа, а просто Уварова. [538]

3 [мая]. Был в Эрмитаже один без Семена. Его утомила вчера античная галерея и древности, и он отказался мне сопутствовать. Ледащо! В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы с целью выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства. После внимательного обозрения, остановился я на эскизе Мурильо *Святое семейство*. Наивное, милое со-

[1] Лентяй.

чинение. Я не видал картины этого содержания, которой бы так шло это название, как гениальному эскизу Мурильо. Итак, с божиею и иордановою помощью, принимаюсь за опыты, а потом и за Мурильо.

В 4 часа оставил Эрмитаж и зашел на выставку цветов. Волшебный переход! В продолжение нескольких часов внимательного созерцания произведений великих мастеров я утомился, отяжелел духом, и вдруг живая, свежая прелесть природы и искусства благотворно охватывает меня и обновляет. Разнообразная зелень, массы свежих роскошных цветов, музыка и, в довершение очарования, толпы прекрасных, молодых и свежих, как цветы, женщин. Я обещался в 5 часов обедать у Уваровых и пробыл в этом раю до 6 часов. О, столица!

Вечером передавал мои впечатления Семену [Артемовскому] и его милейшей Александре Ивановне. [539]

4 [мая]. Был у Ф. И. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник и, вдобавок, живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне показал в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты. Изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполовину будущим гравером.

От Иордана зашел ненадолго к графине Н. И. [Толстой], а от нее прошел к граверу и печатнику Сужинскому, тоже за сведениями. [540] Застал его за обедом, и о деле не было речи. Зашел к старым друзьям, к Уваровым, с целью у них обедать. Старик Уваров сообщил мне, что спутник мой

от Астрахани до Нижнего, А. А. Сапожников, здесь и завтра уезжает в Москву. Я пустился к нему, застал его дома, но он меня не принял по случаю скорого обеда. Это меня немного сконфузило, я отряхнул прах от ног своих и по дороге зашел к черниговскому земляку своему Н. И. Петрову, где и пообедали нараспашку.

Вечером поехали с Семеном к графине Н. И. Толстой, где и пробыли до бела дня.

5 [мая]. В Эрмитаже встретил товарища по Академии [Г. К.] Михайлова, бывшего фаворита К. П. Брюллова. Обойдя картинную и античную галерею, зашли мы в „Лондон" позавтракать. До выезда своего из Рима в Мадрид Михайлов часто виделся с К. П. Брюлловым в Риме и рассказал про его изумительное, неслыханное скаредничество. Великий Брюллов великого Рембрандта перещеголял в этом таинственном искусстве! Расставшись с Михайловым, пошел я обедать к Лукашевичу. Тоже ученик и любимец великого Брюллова. Лукашевич повторил мне слова Михайлова с вариациями. Кроме нравственного бессилия, нечем растолковать подобное явление.

С Служинским зашел к Н. И. Уткину [541] и не застал его дома. Вечером с М. Лазаревским пошли к Семену [Артемовскому] и тоже не застали дома.

6 [мая]. С Семеном поехали мы к Энгельгардту и не застали дома. Зашли к Курочкину — то же. Зашли к землячке М. С. Кржисевич, и она нас встретила — резвая, веселая, молодая, как и десять лет назад. Чудная женщина. Ее и горе не берет. А горя у нее немало. [542] Она на-днях воз-

вратилась из Москвы и привезла мне три короба поклонов от моих московских друзей. Гостеприимная землячка предложила нам завтрак, а мы не отказались. Плотно позавтракавши и весело поболтавши, мы взялись за шапки, как вошел Громека и с ним еще какой-то киевский земляк. Громека, по праву кума, вместо ручки поцеловал ножку у хозяйки. Эта нежность нам не понравилась, и мы вскоре ушли.

Семен за какой-то надобностью зашел к Юзефовичу, обер-секретарю синода, и меня потащил с собою. Новый знакомый, несмотря на приветливость, мне не понравился. Быть может потому, что он родной брат предателя киевского Юзефовича. [543]

Расставшись с новым знакомым, поехали мы обедать тоже к новым знакомым, к Степановым из Харькова. После обеда Семен пошел в театр, а я к Сухомлинову, где и встретил старого знакомого и земляка, академика [А. В.] Никитенка. [544] Из декламатора-актера-профессора Никитенко превратился в простого любезного старика, в разговоре не избегающего даже малороссийских выражений. Приятное превращение.

7 [мая]. От 12 до 12 часов Семен [Артемовский] с своим учеником пел разные дуэты, а А. И. им аккомпанировала на фортепьяно, а я слушал и по временам аплодировал. С каким трепетным наслаждением я воображал подобную сцену в Новопетровском укреплении. А теперь, когда осуществилось мое лихорадочное ожидание, я смотрю и слушаю, как самую обыкновенную вещь. Странный — человек вообще, в том числе и я. После дуэтов вышли мы с Семеном на улицу без всякой

цели. Зашли случайно в музыкальный магазин Пеца, поболтали, а затем зашли к художнику Соколову, полюбовались рисованными нашими земляками и землячками и пошли к Дзюбину; не застали дома. Зашли к М. Лазаревскому, тоже не застали дома. Возвратились к Семену и, дождавшись Юзефовича с семейством, принялися обедать.

8 [мая]. Написал письмо Н. А. Брылкину, отослал на почту и собрался итти в Эрмитаж работать как вошли Н. Курочкин и Вильбоа. [545] План мой внезапно изменяется. Вместо Эрмитажа пошли мы к Семену потолковать насчет постановки на сцену оперы Вильбоа. Семена не застали дома. Зашли к Софье Федоровне [546] — то же самое. Зашли в трактир, пообедали и разошлись.

9 [мая]. Было намерение вытащить Дзюбина в Павловск. Он не согласился, и я пустился пешком на Крестовский к Старову. В ожидании обеда обошел с Ноздровским [547] половину Крестовского и Петровского острова. Пообедали и пешком же возвратился домой.

Вечером были с Семеном у маленькой Гринберг. Она много и прекрасно пела. Досадно, что она мала ростом, для сцены не годится, а какая бы славная, пламенная была актриса...

10 [мая]. Начал работать в Эрмитаже. В добрый час сказать, в худой помолчать. Во втором часу пошел на Английскую набережную проводить Сухомлинова за границу. Простившись с Сухомлиновым, зашел к Н. И. Петрову; у него случился билет для входа в Исаакиевский собор, и мы

отправились, и нас не впустили, потому что билет подписан Васильчиковым, а не Гурьевым. Китайский резон. [548]

11 [мая]. Работал в Эрмитаже до трех часов. Обедал с Желиговским у Белозерского и за успех будущего польского журнала *Слово* выпили бутылку шампанского. [549] Вечером с Семеном отправились к графине Н. И. Толстой и возвратились в четыре часа утра. К великой радости хозяйки, последний весенний вечер был оживлен как обыкновенно и необыкновенно весел. Семен и мадмуазель Гринберг были душою общей радости. [550]

12 [мая]. Проводил Грицька Галагана в Малороссию и пошел к графине Н. И. [Толстой] с целью устроить себе постоянную квартиру в Академии. Она обещает, и я верю ее обещанию. [551] Расставшись с Н. И., зашел ненадолго к художнику Микешину и потом к Глебовскому. Счастливые юноши и пока счастливые художники! [552]

По приглашению Троцины [553] и прочих земляков пришел я к Дюссо [554] в 5 часов обедать и неожиданно встретил Нижегородских моих приятелей, Лапу и Бабкина. После обеда ездили с Троциною и Макаровым [555] кое-куда неудачно.

13 [мая]. Заказал медную доску. По дороге зашел к Курочкину и не застал дома. Зашел к землячке Кржисевич. То же самое. Зашел к Градовичу и в дверях встретил сестру Троцины, сегодня возвратившуюся из-за границы. Свежая и здоровая. Поездки за границу старых больных дев без прислуги должно принять за нормальное лекарство.

DO BRATA TARASA SZEWCZENKI

Wieszczu ludu — ludu synu,
Tyś tem dumny, boś szlachetny,
Bo u skroń twych liść wawrzynu
Jak ton pień twych smutny, świetny.
Dwa masz wieńce, męczenniku!
Oba piękne chociaź krwawe —
Boś pracował nie na sławę,
Lecz serebraci słychał krzyku.
Im zamknięto w ustach jęki —
Ach! i jęk im liczon grzechem!
Tyś powtórzył głosnem echem
Zabronionych jęków dźwięki
I nad każdym tyś przebolał
Y przepłakał nim urodził. —
Lecz duch z wyźyn cię okolał
Y duch pierś twą oswobodził.
Smutny wieszczu! patrz cud słowa?
Jako słońca nikt nie schowa
Gdy dzień wzejdzie — tak nie może
Schować słowa nikt s tyranów; —
Bo i słowo jest też boże
I ma wieszczów za kapłanów —
Jak przed grotem słońca pryska
Ciemnej nocy mrok i chłód.
Tak zbawienia chwila bliska,
Kiedy wieszczów rodzi lud!

Antoni Sowa. [356]

Забіліли сніги, заболіло тіло, ще й головонька,
Та ще й головонька.
Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому,
Та й по бурлацькому:
Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його,
Та й ні жона його;
Ой тілько заплаче по білому тілу товариш його,
Та й товариш його.
„Прости мене, брате, вірний товаришу, можеть я умру,
Та й можеть я умру.

Зроби* мені, брате, вірний товаришу, з клин-древа труну. **
Та з клин-древа труну.
Поховай *** мене, брате, вірний товаришу, в вишневім саду,
Та в вишневім саду,
В вишневім садочку, на жовтім **** пісочку під рябиною
Та й під рябиною
Рости, рости, древо тонке, високеє, кучерявеє;
Та й кучерявеє;
Та непусти гилля ***** з верху до коріння, лист до долоньку ******
Та й лист до долоньку;
Покрий теє тіло бурлацькеє біле ще й и головоньку.
Та ще й и головоньку.
А щоб теє тіло бурлацькеє біле та й не чорніло,
Та й не чорніло,
Од буйного вітру, од ясного сонця та й не марніло, *******
Та й не марніло!“ [557]

Вечером был у Желиговского и он мне записал свое прекрасное стихотворение. А Каменецкий записал малороссийскую песню. Первая песня, которую я знаю без рифмы.

14 [мая]. Дни нечаянных встреч. Третьего дня с Лапой, вчера с Трощиной, а сегодня прихожу к графине Н. И. [Толстой] обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом, М. С. Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова. [558] И не зная моего адреса, искал меня в Академии и зашел к графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг.

* Сделай.
** Гроб.
*** Похорони.
**** Желтом.
***** Ветви.
****** Ладони.
******* Сохло.

После обеда графиня со всем семейством и мы с нею отправились к адмиралу А. В. Голенищеву. Старик был в восторге от неожиданного гостя. Тут же встретил я и познакомился с декабристом бароном Штейнгелем, с тобольским другом М. Лазаревского.

15 [мая]. Обещался быть у М. С. в 7 часов утра и проспал до 10-ти. Хорош приятель. Ушел в Эрмитаж и работал до трех часов. Вечером пошел до Семена [Артемовского] и не застал дома.

16 [мая]. Не умывшись, поехал к М. С., но он уже исчез. С горя зашел к Курочкину, — спит, зашел к Энгельгардту, — в ванне. Пошел к меднику, взял доску и на авось зашел к землячке. М. С. [Кржисевич] застал дома. Наболтавшись досыта, провел ее к Градовичам и пошел домой. Вечером восхищался пением милочки Гринберг, с Сошальским и Семеном. В восторге заехали ужинать к Борелю и погасили свои восторги у Адольфины. Цинизм!

17 [мая[. Из приюта Адольфины в 7 часов утра отправились к М. С. [Щепкину], застал еще в халате. Наговорились и уговорились обедать у К. Д. Кавелина, что и исполнили в 4 часа. Вечером был у Семена [Артемовского] и не застал дома. Гульвиса!

18 [мая]. Очаровательная Александра Ивановна Артемовская сегодня именинница. М. Лазаревский купил для нее роскошный букет цветов, а я отнес ей и преподнес; и я в барышах, и она

не в праве сказать, что я поздравил ее с пустыми руками. И вежливо и дешево.

Отобедав у именинницы, я с Лазаревским вскоре отправились к графине Н. И. [Толстой]. И нашли там М. С. Щепкина. Великий друг мой, по просьбе графини, прочитал монолог „Скупого рыцаря" Пушкина, „Фейерверк" [559] и рассказ охотника из комедии Ильина. [560] И прочитал так, что слушатели видели перед собою юношу пламенного, а не 70 летнего старика Щепкина. Гениальный актер и удивительный старик. По обещанию, и я с горем пополам прочитал им свои *Неофіти*. Не знаю, насколько они меня поняли, по крайней мере внимательно слушали.

19 [мая]. В 12 часов проводил моего великого друга М. С. Щепкина на Московскую железную дорогу. На Михайловском театре смотрел Садовского, в роли Расплюева „Свадьба Кречинского". [561] После Щепкина я не знаю лучшего комика. Самойлов [562] далеко уступает Садовскому. Г. Снеткова [563] 2 просто кукла. Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова.

20 [мая]. До трех часов работал в Эрмитаже. Обедал у моих старых друзей Уваровых. Сергей Уваров, веселейший толстяк на свете, сказал следующий экспромт разносчику апельсинов:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь
Под бременем тягостной ноши;
Напрасно ты голосом звонким кричишь:
„Лимоны, пельцыны хороши!"
Не обольщая меня мечтой
Плодов привозных из чужбины:
Нет, душу полную какой-то пустотой

Не соблазнят златые апельсины.
Я отжил жизнь свою давно,
И все души моей желанья
Сосредоточивши в одно
Разоблаченное от счастья ожиданье.
Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь.

Вечером был у Семена [Артемовского] и милейшая Александра Ивановна играла лучшие места из „Трубадура". [564] Очаровательно играла.

Повернувся я з Сибіри,
Та не маю долі:
Хоть, здаеться, не в кайданах,
Та не маю волі.
Слідять мене злиі люде
День, час і годину, —
Прийде туга до серденька,
То ледве не згину.
Комисари, ісправники
За мною ганяють;
Більше вони людей били,
Чим я грошей маю.
Зовуть мене разбійником,
Кажуть, що вбиваю: —
Я никого не вбив іще,
Бо сам душу маю.
Возьму гроші в богатого,
Убогому даю,
І, так людей поділивши,
Сам гріха не маю.
Маю жинку, маю диток,
Однак іх не бачу;
Як згадаю про іх долю,
То гірко заплачу.
Треба мені в лісі жити,
Треба стерегтися...
Хоть, здаеться, світ широкий
Та ніде подіться. [565]

Сочинение этой весьма немудрой песни приписывают самому Кармелюку. [666] Клевещут на славного лицаря. Это рукоделье мизерного Падуры. [567]

13 июля.

СОН

На панщині пшеницю жала, —
Втомилася. Не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом;
Росповила, нагодувала,
Попестила; і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала,
І сниться їй той син Іван;
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться: бо й сам
Уже не панський. А на волі
Та на своїм веселім полі
У двох собі пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть...
Та й усміхнулася небога...
Прокинулась — нема нічого!
На Йвася глянула, взяла,
Його гарненько сповила,
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла...
Остатню, може; бог поможе,
Той сон твій справдиться... [568]





ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чихирь (татарское слово)—красное горское дешевое вино, крепостью в 6—8 градусов.

[2] Шканечный журнал — поденная запись, ведущаяся на судах и отмечающая погоду, направление ветра и все вообще мелочи плавания и корабельной жизни.

[3] Четверостишие А. В. Кольцова, поставленное им эпиграфом к сборнику своих стихотворений.

[4] Однако, Шевченко сделал попытку вести дневник со времени своего „посвящения в солдатский сан"; в письме его к кн. В. Н. Репниной из Орской крепости, от 25 февраля 1848 года читаем: „Со дня прибытия моего в к[репость] О[рск] я пишу дневник свой; сегодня развернул тетрадь и думаю сообщить вам хоть одну страницу,—и что же! так однообразно-грустно, что я сам испугался—и сжег мой дневник на догорающей свече. Я дурно сделал, мне после жаль было моего дневника, как матери своего дитяти, хотя и урода" („Повно зібрання творів Тараса Шевченка", т. III., [Київ] 1929, стр. 35). В Орскую крепость Шевченко прибыл 23 июня 1848 года, так что этот уничтоженный дневник обнимал восьмимесячный период его солдатского жития. Делая через десять лет запись в новом дневнике, Шевченко прочно забыл о существовании своего раннего опыта.

[5] Михаил Матвеевич Лазаревский (1818—1867)—один из самых близких друзей поэта, памятный в его биографии своей ролью попечительного и заботливого друга. Питомец Нежинского лицея (1837), Лазаревский служил сначала в Тобольске, где познакомился с рядом декабристов, затем, с 1847 года, был „попечителем прилинейных киргизов" в Троицком (200 верст от Оренбурга); вероятно, тогда же он познакомился с Шевченком. С 1850 года Лазаревский состоял старшим советником губернского правления в Петербурге („Адрес-календарь", 1857, ч. II, стр. 139), а последние годы, по выходе в отставку, служил в Москве управляющим делами у гр. А. С. Уварова. Человек большой и деятельной доброты, он оказывал Шев-

ченке нравственную и материальную поддержку в наиболее тяжелые моменты его жизни.

[6] Николаевская железная дорога, на которую намекает в этой фразе Шевченко, была торжественно открыта 1 ноября 1851 года. „Фультонову душу“ Шевченко, однако, помянул напрасно, так как изобретение железной дороги связано с именем Джорджа Стефенсона (1781—1848), а не Роберта Фультона (1765—1815), применившего паровую машину к речному судну. Ср. ниже запись под 27-м августа (стр. 151—152).

[7] Уездный город Оренбургской губернии (на р. Урале, в 16 верстах от устья), где стоял гарнизоном „Оренбургский линейный № 1 батальон“, в котором Шевченко был „рядовым“.

[8] Яков Герасимович Кухаренко (1798—1862)—украинский беллетрист и драматург, приятель Шевченка, служивший на военной службе по Черноморскому (впоследствии Кубанскому) казачьему войску; с 8 июня 1853 года—генерал-майор („Список генералам по старшинству“ 1857, стр. 389). Умер он от ран в плену у черкесов.

[9] Как известно, Шевченко и знаменитый московский актер были связаны узами теплой и задушевной дружбы.

[10] Бронислав Залеский (1820—1880)—поляк-художник, с которым Шевченко познакомился и сблизился в 1849 г. в Оренбурге, куда Залеский был сослан простым солдатом за связи с польскими революционными кругами. В 1856 году он возвратился из ссылки в село Рачкевичи (а не Чирковичи), Слуцкого уезда Минской губ., где в своем имении жили его родители и сестры. В 1860 году он эмигрировал заграницу и принял участие в восстании 1863 года. На всем протяжении своего дневника Шевченко пишет его фамилию неточно—Залецкий. (О Залеском и Шевченко см. несколько страничек в поверхностной книжке С. Либровича „Polacy w Syberji“, Krakow, 1884.)

[11] Вице-президент Академии Художеств граф Федор Петрович Толстой (1783—1873) и его вторая жена Анастасия Ивановна, рожд. Иванова, сыграли в последние годы жизни Шевченка значительную и важную роль; только благодаря их настойчивым и длительным хлопотам, начатым после смерти Николая I, Шевченко был возвращен из ссылки. Прославленный медальер, человек разносторонне-талантливый и добрый, Толстой близко к сердцу принял мучи-

тельное состояние ссыльного поэта и, лично с ним незнакомый, энергично и смело добивался изменения его каторжного положения. В этом Толстому в полной мере сочувствовала и помогала его жена (дочь скромного армейского капитана); с чисто женской задушевностью и мягкостью она внесла много теплоты и света в его скорбную жизнь. Воспоминания же одной из дочерей четы Толстых — Екатерины, по мужу Юнге (1843 – 1913), являются одним из самых ценных и достоверных мемуарных свидетельств о Шевченке.

[12] Очевидно, местное название серебряной монеты пятидесятикопеечного (?) достоинства. Слова этого нет ни в словаре В. И. Даля, ни в „Словаре русского языка" Академии Наук.

[13] О своеобразной личности целовальника Новопетровского укрепления Зигмунтовского см. ниже, стр. 62—65.

[14] Казак Луганский — псевдоним Владимира Ивановича Даля (1801 — 1872), взятый от названия местечка Лугань в Екатеринославской губернии, в котором Даль родился. Моряк по первоначальной профессии, доктор медицины, беллетрист-этнограф и составитель знаменитого „Толкового словаря живого великорусского языка", Даль был знаком с Шевченком еще со времен учения поэта в Академии художеств („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке", Киев, 1888, стр. 316), встречался с ним в дни пребывания Шевченка в Нижнем-Новгороде где Даль жил в 1849 — 1859 гг., состоя управляющим нижегородской удельной конторой, — но особенно близких отношений между ними не было: слишком несходны были натуры Шевченка и Даля, крепостника по своим убеждениям, сторонника суровой помещичьей власти „с исправительными мерами, необходимыми для блага глупого русского мужика", противника распространения грамотности среди „простого народа". О книге Даля „Солдатские досуги", изданной в 1843 году, Шевченко судит лишь на основании заглавия: она состоит из рассказов и загадок, предназначенных для „простонародного", солдатского чтения, а вовсе не содержит описания „солдатских досугов", как думает Шевченко.

[15] Вероятно, А. Е. Ускова, жена коменданта Новопетровского укрепления (о которой см. ниже, стр. 106—107).

[16] Неизвестно, кого из новопетровских обитателей так „прикровенно" обозначил в своем дневнике Шевченко.

[17] Это „гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении", подробно рассказано в дальнейших записях дневника (см. ниже, стр. 78—79).

[18] „Обществом офицеров в форте" он не был любим,— вспоминает А. Е. Ускова о Шевченке, „так как сам считал большинство из них дураками". Мостовский был одним из немногих, с кем Шевченко любил вести шутливый разговор. Мостовский был артиллерист, кажется в чине капитана, старый холостяк, очень добродушный человек („Науковий збірник за рік 1926, стр. 169). См. о нем запись под следующим числом.

[19] Кадетский корпус в Оренбурге, названный Неплюевским в память „устроителя" Оренбургского края И. И. Неплюева (1693—1773), бывшего наместником края в течение 16 лет (1742—1758).

[20] Ср. с этой характеристикой письмо Шевченка к Бр. Залескому 1853 г.: „М[остовский] для меня теперь настоящий клад, это единственный человек, с которым я нараспашку, но о поэзии ни слова. Странно, человек тихий, добрый, благородный, безо всякого понятия о прекрасном! Неужели это доля всего военного сословия? Жалкая доля!" („Повне зібрання творів Т. Шевченка, т. III, стр. 60).

[21] Личность неизвестная.

[22] Подпоручик Чарц (см. запись под 15 июня).

[23] „Наша комендантша"—Агафья Емельяновна Ускова, рожд. Колосова (1827—1898), жена коменданта Новопетровского укрепления Ираклия Александровича Ускова (1810—1882), приязнь и доброе отношение которых во многом скрашивали тягостную жизнь Шевченки „в этом отвратительном захолустье". Усков был назначен комендантом Новопетровского укрепления из адъютантов оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского в конце 1853 года и состоял в этой должности до 1865 года, когда Новопетровское было уничтожено, а он сам вышел в отставку и поселился в Москве (ср. „Московский некрополь", т. III, стр. 245). Шевченко был сильно увлечен Агафьей Усковой в 1854—1856 гг., но эта романическая любовь постепенно сменилась большим разочарованием, так как Ускова, в сущности, была самой обыкновенной „офицерской женой" и не возвышалась над мелкими интересами, сплетнями и дрязгами Новопетровского гарнизона. Отра-

жение любви Шевченка и Усковой находим в его повести „Художник", писанной на русском языке („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке", стр. 353—354). В печати известны ее краткие воспоминания о Шевченке в виде письма к одному из ранних биографов поэта А. Я. Конисскому („Науковий збірник за рік 1926", стр. 168—173), а также воспоминания о поэте ее дочерей, упоминаемых в записи Шевченка Наташеньки и Наденьки (см. „Киевскую старину", 1889 № 2, стр. 299—305, и ж. „Життя и революція", 1928, № 3, стр. 117—123).

[24] Стихотворение Лермонтова „Когда волнуется желтеющая нива":

> И счастье я могу постигнуть на земле
> И в небесах я вижу бога.

[25] С этими строками любопытно сравнить признание Достоевского в „Записках из мертвого дома": „Я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты, не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один... Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное общее сожительство" (Соч., изд. Гиз'а, т. VII, стр. 532).

[26] 7 апреля 1857 г. Шевченко получил из Петербурга письмо М. М. Лазаревского от 17 января (!), в котором прочел вполне достоверное известие о своем близком освобождении от солдатства и ссылки — о том, что „о[б]увольнении его в отставку уже последовало разрешение царя и сообщено об этом воен[ному] министру для исполнения" („Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 274).

[27] Пантелеймон Александрович Кулиш (1819—1897)—известный русско-украинский историк, этнограф и беллетрист, участник Кирилло-Мефодиевского общества, связанный с Шевченком близкими и значительными отношениями, а в культурной жизни Украины сыгравший чрезвычайно видную роль. I том его сборника „Записки о Южной Руси", посвященный украинской этнографии (о нем и идет речь в записи дневника), вышел в свет в Петербурге в 1856 году; II том, исторического и литературного

содержания, был издан в 1857 году, и Шевченко познакомился с ним, проживая в Нижнем-Новгороде.

[28] Субботово - село Киевской губ., Чигиринского уезда, принадлежавшее знаменитому украинскому гетману Богдану Хмельницкому, при котором в 1654 году произошло присоединение Украины к Московскому государству.

[29] Древние монастыри под Киевом, из которых Межигорский со времени пожара в 1787 году лежал в развалинах до начала XIX века, когда на его месте была построена фабрика фаянсовых изделий. Недалеко от этого монастыря бьют подземные ключи „Дзвонки“ или, как у Шевченки, „Дзвонновая криниця“.

[30] 16 апреля—день, в который по предположению Шевченка должен был быть подписан в штабе Оренбургского корпуса приказ об его увольнении; в этих своих хронологических вычислениях Шевченко, очевидно, исходил из письма М. М. Лазаревского от 11 апреля 1857 года („Повне зібрання творів Т. Шевченка“, т. III, стр. 276).

[31] После конфирмации Николаем I доклада шефа жандармов гр. А. Ф Орлова 28 мая 1847 года об определении „художника Шевченка“ „за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений“ рядовым в Оренбургский отдельный корпус—„под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать“,—Шевченко действительно в семь суток был доставлен фельдъегерем из Петербурга в Оренбург: выехали они 2 июня 1847 года, а прибыли „9 июня в 11 ч. пополудни“.

[32] Командиром 1-го Оренбургского линейного батальона был майор Львов, типичный бурбон николаевских времен, ни в какой мере не склонный к облегчению участи „рядового Шевченка“, а, наоборот, желавший непременно сделать поэта „образцовым фрунтовиком“.

[33] „[Сергей Родионович] Никольский был старший доктор“,—сообщает в своих воспоминаниях А. Е. Ускова: „очень умный человек, много читал, он заведывал библиотекой, делал метеорологические наблюдения, но Шевченко, кажется, не долюбливал его“ („Науковий збірник за рік 1926“, стр. 170. Ср. „Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 211).

[34] Знаменитый римский поэт Овидий Назон (43—18 гг. до нашей эры) был сослан императором Августом в город Томы, у устья Дуная, к дикому воинственному племени гетов. Причины ссылки для позднейших исследователей

остались невыясненными, вызывая много догадок и предположений.

[35] Величайший итальянский поэт Данте Алигиери (1265—1321), автор „Божественной комедии", в 1302 году был изгнан из своего родного города Флоренции как сторонник враждебной правительству партии Черки.

[36] Командир 5-го Оренбургского линейного батальона, в котором числился „рядовой Шевченко" во время пребывания своего в Орской крепости (с 23 июня 1847 года до 11 мая 1848 года).

[37] Вся эта горячая тирада направлена против графа Василия Алексеевича Перовского (1795—8 декабря 1857), одного из крупных деятелей николаевского царствования, командира Оренбургского Отдельного корпуса, бывшего в 1851—1856 гг. оренбургским и самарским генерал-губернатором, а ранее, в 1833—1842 гг.,—оренбургским военным губернатором. В дальнейших записях дневника читатель неоднократно встретится с резкими выпадами Шевченка против Перовского, представлявшегося для поэта воплощением ненавистного ему николаевского режима. С Перовским поэт, однако, лично не встречался, и суровая фигура властителя Оренбургского края рисовалась ему лишь по рассказам людей, испытавших на себе эту тяжелую руку. В отношении же Шевченка Перовский, отчасти под влиянием своих племянников — поэта гр. А. К. Толстого и Жемчужниковых — проявлял некоторую, хотя и робкую, заботливость: об этом свидетельствуют и официальные документы и показания осведомленных современников (см., напр., воспоминания А. Е. Усковой— „Науковий збірник за рік 1926", стр. 170, и „Мои воспоминания из прошлого" Л. М. Жемчужникова, вып. II, 1927, стр. 56, а также „Киевскую старину" 1898, № 3, стр. 422—423, и 1901, № 2, стр. 288). Приятель Пушкина, близкий друг Жуковского, Перовский (внебрачный сын гр. А. К. Разумовского) своей оригинальной и суровой личностью привлек к себе внимание Л. Н. Толстого, замыслившего около 1878 года „сочинение, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время—Перовского". „Все, что касается его, —писал тогда же Толстой о Перовском своей двоюродной тетке А. А. Толстой,— мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо как историческое лицо и характер мне очень симпатично". „Перовского личность вы совершенно верно

определяете— à grands traits [крупных размеров],—писал он в другом письме к тому же лицу: — таким и я представляю себе; и такая фигура— одна наполняющая картину; биография его была бы груба, но с другими противоположными ему тонкими, мягкой работы, нежными характерами, как Жуковский даже, которого вы, кажется, хорошо знали, и с другими, и главное с декабристами, эта крупная фигура, составляющая тень к Николаю] Павл[овичу], самой крупной à grands traits, выражает вполне то время" („Толстовский Музей", т. I, Спб. 1911, стр. 287—288, 289—90). Это сочинение осталось в области творческих предположений Толстого, не получивших осуществления. Зато другой романист, неизмеримо меньшего калибра—Г. П. Данилевский, много лет спустя (1886 г.) сделал Перовского героем своего романа из эпохи 1812 года „Сожженная Москва".

[38] Григорий Николаевич Нагаев—прапорщик 1-го Оренбургского линейного батальона, окончивший в 1853 году Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге; один из приятелей Шевченка. См. о нем запись под 22 октября (ниже, стр. 203).

[39] Сатурн—бог земли и посевов у древних римлян.

[40] „Москалева Криниця"—поэма, написанная Шевченком в апреле—мае 1857 года, после семилетнего насильственного перерыва в творческой производительности поэта. Она посвящена Я. Г. Кухаренку „на память 7 апреля 1857 рiку",—дня, когда Шевченко получил письмо от „батьки кошевого" со вложением 25 руб. (см. выше, стр. 31). В русском переводе А. П. Колтоновского известна лишь та редакция этой поэмы (по-русски: „Максимов колодец"), которая была создана Шевченком в 1847 году, в Орской крепости (Кобзарь, под ред. М. Славинского, стр. 159—164).

[41] Стихи IV строфы VI главы „Евгения Онегина".

[42] Т. е. умер (Харон, в представлении древних греков, седой перевозчик, переправлявший на челноке души умерших через реку Ахерон в подземное царство теней). Елисейские поля царство мертвых, „блаженных душ", по верованиям древних греков.

[43] Андрей Николаевич Маркевич (1830—1907), сын украинского этнографа, историка и известного в свое время поэта, давнего приятеля Шевченка, Николая Андреевича (1804—1860), служил в Петербурге в сенате и был близок в эти годы к петербургским украинским кругам; впослед-

ствии сенатор (1888), статс-секретарь (1902). В 1888 году ему с потомством „высочайше“ было разрешено именоваться Марковичем; тем самым восстановлялось старинное, не „ополяченное“, написание этой фамилии.

[44] Генерал-лейтенант Александр Андреевич Катенин (1803—1860) был назначен оренбургским и самарским генерал-губернатором, вместо Перовского, 7 апреля 1857 года.

[45] Повидимому это тот самый полковник Илья Александрович Киреевский, который в 1860 году состоял редактором „Вестника естественных наук“, издававшегося Московским обществом испытателей природы в 1854—1860 гг.

[46] Об этом „дворянском сынке“, отданном в военную службу самими родителями „на исправление“, - см. запись Шевченка под 25 июня (ниже, стр. 50—51). Его отец, Антон Иванович Порцианко (а не Порциенко, как пишет Шевченко), состоял в 1857 году „причисленным к министерству государственных имуществ“ („Адрес-календарь“, 1857, ч. 1, стр. 232; ср. заметку Б. Л. Модзалевского в журн. „Былое“, 1925, № 2, стр. 236).

[47] Прахвос-профос - старинное название солдата, на обязанности которого лежала чистка отхожих мест и выгребных ям; отсюда бранное слово „прохвост“.

[48] Т. е. нет ли у „нижних чинов“ каких-либо претензий относительно пищи и тому подобных хозяйственных вопросов. Естественно, что в эпоху палочной дисциплины претензий у солдат в большинстве случаев не оказывалось...

[49] Известный гравер Л. А. Серяков, „солдатский сын“, дает такую картину наказания шпицрутенами, которое ему пришлось наблюдать (в детстве), после ликвидации бунта в новгородских военных поселениях 1830 года. Описав подробно одно из орудий казни, предстоявшей „бунтовщикам“, — кнут, он обращается к шпицрутенам и спокойный тон его рассказа придает особенно трагический оттенок рисуемой им омерзительной и жуткой картине: „Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) [начальником штаба Управления военными поселениями] Клейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красною печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен — это палка, в диаметре несколько менее вершка, в длину -

сажень; это гибкий, гладкий лозовый прут. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов... Два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой — шпицрутен. Начальство находилось посредине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2 000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса; голову оставляли открытою. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было уже невозможно; нельзя также и остановиться, или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих, сторон, поэтому каждый раз голова его судорожно откидывалась, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по *зеленой улице*, слышны были только крики несчастных: „Братцы! помилосердуйте, братцы, помилосердуйте!" Если кто при обходе кругов падал и далее не мог итти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты; клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть ни дохнуть не мог. В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирт. Мертвых выволакивали вон, за фронт. Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.—При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось переносить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими существо-

вали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязывал отца.. Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения. Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1 000 ударов; большею же частью — давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4 000 ударов каждому; оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных; этому способствовало: недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч. („Русская старина", 1875, № 9, стр. 169, 171 - 173). „Прогнание преступников, по приговору военных судов, сквозь строй шпицрутенами, — негодующе писал в 1861 году в своей записке об отмене телесных наказаний в России либеральный кн. Н. А. Орлов, есть такая же *квалифицированная смертная казнь*, как четвертование и колесование. При вскрытии тел наказанных шпицрутенами постоянно оказываются кровоизлияния в легких, соответствующие если не всем, то большей части полученных ударов. Сердце содрогается при мысли, что по букве закона, если преступник лишится сил итти по фронту, то его должно вести вдоль оного, и если он испустил дух, то его тело должно еще получить определенное приговором число ударов" (Гр. Джаншиев, „Эпоха великих реформ", изд. 9-е, Спб., 1905, стр. 201). На фоне этих цитат, пропитанных кровью и ужасом, приобретает особый смысл совершенно исключительная по своему циничному лицемерию резолюция Николая I, положенная на докладе гр. П. П. Палена (временно управляющего в 1827 году, вместо гр. М. С. Воронцова, Новороссийским краем) о поимке двух контрабандистов, тайно перебравшихся через р. Прут, и о необходимости казнить подобных преступников, „ибо одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить предел оным": „*Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу,*

смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить" („Русская старина", 1883, № 12, стр. 660). Николай в момент написания резолюции, очевидно, забыл о пяти повешенных декабристах, а умиравших мучительной смертью от шпицрутенов он, по „формальным" причинам, повидимому, не считал казненными.

[50] Популярного в России в ту пору французского беллетриста (род. 1804, ум. 1857), автора романов социального содержания: „Парижские тайны", „Вечный жид" и др.

[51] Владимир Афанасьевич Обручев (1795 – 1866) — боевой генерал николаевских времен, бывший оренбургским военным губернатором и командиром Оренбургского Отдельного корпуса в 1842—1851 гг. Его своеобразная „политичность" проявилась в отношении Шевченка в 1850 году, когда возникло дело по доносу Исаева: относившийся ранее к Шевченку с несомненным участием и смотревший сквозь пальцы на некоторые нарушения им солдатской дисциплины, он резко изменил свою тактику, когда в дело вмешался Петербург, и проявил тогда подчеркнутую суровость, продержав Шевченка более полугода под арестом, не допуская никаких послаблений на месте новой ссылки поэта—в Новопетровском укреплении и свалив ответственность за предыдущие дисциплинарные „вины" Шевченка на его непосредственных начальников — майора Мешкова и капитан-лейтенанта Бутакова,—в то время как последние допускали эти нарушения лишь, чувствуя, что в этом отношении они не противоречат желаниям начальника, т.е. самого Обручева.

[52] Цитата из „Фауста" в переводе Э. И. Губера—слова Фауста Вагнеру в сцене за городскими воротами („Фауст", соч. Гёте, перевод Эдуарда Губера, Спб. 1838, стр. 47).

[53] Т. е. Эрмитаж в *новом* здании, перестроенном из так называемого Шепелевского дворца и открытом для публики в 1852 году.

[54] Вспоминая в своей автобиографической повести „Художник" о посещениях Эрмитажа совместно с Брюлловым, Шевченко писал: „Это были блестящие лекции теории живописи; и каждый раз лекции заключались Теньером и в особенности его „Казармой". Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и, после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу, говаривал: „для этой одной картины можно приехать из Америки" („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка,

писанные на русском языке", стр. 271). Однако, вернувшись из ссылки в Петербург, Шевченко „после внимательного обзора" остановился для работы над гравюрой акватинта не на этом произведении знаменитого фламандца, а на „Святом семействе" не менее знаменитого испанца Мурильо.

[55] До нас дошло лишь *восемь* рисунков (последний—в двух вариантах) задуманной Шевченком серии; они воспроизведены в книжке А. П Новицкого (Ол. Новицкого) „Тарас Шевченко як маляр", Львів — Москва, 1914, стр. 54—61.

[56] Павел Андреевич Федотов (1815—1852)—родоначальник русской жанровой живописи, автор картин „Сватовство майора", „Приезд жениха" и мн. др.

[57] Н. Я. Данилевский (1822 — 1885) — публицист-философ и естествоиспытатель, автор прошумевшей в свое время книги „Россия и Европа" (1871), в которой он выступил с особой теорией панславизма и славянской федерации, очень пришедшейся по сердцу славянофилам. Как статистик он в 1853—1856 гг. состоял в экспедиции знаменитого натуралиста академика К. М. Бера для исследования рыболовства на Волге и в Каспийском море, благодаря чему в эти годы бывал в Новопетровске; здесь он познакомился и близко сошелся с Шевченком, писавшим о нем в одном из своих писем к Бр. Залескому (8 ноября 1854 года): „человек умный и благородный, в широком смысле этого слова" („Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 78).

[58] Напечатанная в мартовской книжке „Москвитянина" (1850), пьеса Островского по доносу какого-то оскорбленного в своих сословных чувствах купца подверглась внимательному рассмотрению в секретном „комитете 2 апреля" по надзору за действиями цензуры и была признана неудобной для сцены, хотя ничего противоцензурного члены комитета в ней не обнаружили; автор „по прошению" был уволен со службы в Московском коммерческом суде и отдан под надзор полиции. На сцене комедия Островского явилась лишь в 1861 году—и то в искаженном виде, с „благополучным" окончанием и наказанным в лице Подхалюзина пороком; первоначальный же подлинный текст ее увидел свет рампы лишь в 1881 году (бар. Н. В Дризен „Драматическая цензура двух эпох. 1825 - 1881 Пб. [1914], стр. 85—95; Полное собрание сочинений А. Н. Ост-

ровского, под ред. М. И. Писарева, т. I, Спб [1905], стр. 498—499).

[59] Богиня карающей судьбы (в представлении древних греков).

[60] Подпоручик Андрей Анжелович Кампиони, по характеристике А. Е. Усковой („Науковий збірник за рік 1926", стр. 170): „молодой человек, фат, был не прочь покутить", состоял „начальником" артиллерии Новопетровского укрепления. Повидимому, он—сын „архитектора и кавалера" Анжело Антоновича Кампиони (1790—1847), (С. Н. Кондаков „Список русских художников. К юбилейному справочнику имп. Академии художеств" [Пгр. 1915], стр. 348; „Петербургский некрополь", т. II, стр. 317) и приходился братом, отмеченным в Московском и Петербургских некрополях, Кампиони-„Анжеловичам", из которых Павел Анжелович, бывший в 1882—1886 гг. директором Лесного департамента Министерства государственных имуществ, умер в 1894 году в чине тайного советника („Петербургский некрополь", т. II, стр. 317; „Список гражданским чинам первых трех классов", Спб, 1891, стр 536; „Столетие Лесного департамента", Спб. 1898, стр. 150).

[61] Плодовитого драматурга начала первой половины XIX века (род. 1777, ум. 1846). Вот полное заглавие его пьесы (1836), вполне характеризующее содержание и стиль этого громоздкого произведения: „Двумужница или за чем пойдешь, то и найдешь. Романтическая драма в двух частях, в пяти сутках, с принадлежащими к ней протяженными, плясовыми, хороводными, подблюдными и разбойничьими песнями, плясками, хороводными и святочными играми. Часть I. Сваха в бедах. Народный быт. В двух сутках. Часть II. Волжский разбойник. Русская быль. В трех сутках".

[62] Вернее—Эггерт, жена помощника ветеринара, служившего до 1852 года в Новопетровском укреплении, а с этого года, после выхода в отставку, проживавшего в Оренбурге.

[63] Константин Николаевич Зигмунтовский. Этой оригинальной личности и его жене Софье Самойловне, Шевченко посвящает несколько строк ниже, в этой-же записи.

[64] Сигизмунд III (1566—1632) царствовал в 1587—1632 гг.

[65] Заглавные роли в трагедиях Владислава Александровича Озерова (1770—1816): „Эдип в Афинах", „Фингал" и „Димитрий Донской", пользовавшихся огромным успехом у театральных зрителей начала XIX века.

[66] Имени Зигмунтовского, естественно, не имеется в „Общем морском списке“, отражающем офицерский состав русского флота со времени его возникновения.

[67] Неудачная экспедиция к южному полюсу известного исследователя полярных стран адмирала Ф. Ф. Беллинсгаузена состоялась в 1819—1821 гг.; Михаил Петрович Лазарев (1788—1851), бывший затем (1832—1845) главным командиром Черноморского флота, принимал участие в этой экспедиции в чине лейтенанта, командуя одним из двух кораблей, принадлежавших экспедиции,—шлюпом „Мирный“ („Общий морской список“, ч. VII, стр. 385).

[68] Это—увы!—то же ложь, что подтверждается справками Ю. Г. Оксмана („Життя й революція“, 1928, кн. 3, стр. 189).

[69] Имени этого „враля“ нет, конечно, в списке лиц, окончивших дерптский университет („Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat“, Dorpat, 1889).

[70] Одного из видных деятелей царствования Екатерины II (род. 1741, ум. 1820), бывшего в 1809—1812 гг. главнокомандующим Москвы (на этом посту его сменил пресловутый гр. Ф. В. Ростопчин).

[71] Филемон и Бавкида—легендарная чета старых супругов, которые радушно приняли посетивших их в образе утомленных путников богов Зевса и Гермеса. Народное сказание о них обработано Овидием в „Метаморфозах“.

[72] 1-е июля—день традиционного открытия Петергофских фонтанов.

[73] В обучение этому „комнатному живописцу“ крепостной Шевченко был отдан своим помещиком П. В. Энгельгардтом в 1832 году. „Ширяев был ретивее всякого дьяка-спартанца“ — вспоминал поэт много лет спустя в своей автобиографии (Д. І. Яворницькой „Матеріали до биографії Т. Г. Шевченка“, Катеринослав, 1909, стр. 9). Ср. о пребывании Шевченка у Ширяева недостоверные сообщения И. К. Зайцева („Русская старина“), 1887, № 6, стр. 676).

[74] Оба ученика Брюллова—Петр Степанович Петровский (1814—1842) и Григорий Карпович Михайлов (1814—1867)—были большими приятелями Шевченка со времени вступления его в апреле 1838 года в число учеников Академии художеств. Жизнь Петровского оборвалась рано; испортив себе здоровье усиленной работой с детских лет ради куска хлеба, он умер в Риме, в дни своей заграничной

ной поездки на счет Академии художеств. Михайлов же был с 1855 года профессором Академии, с 1861 года—академиком. О встрече с ним в Петербурге, после возвращения из ссылки, есть запись в дневнике Шевченка, стр. 291.

[75] Женитьба и развод Брюллова являются темным и неразъясненным эпизодом его биографии. Он женился 8 января 1839 года (ср. „Русский архив“, 1895, кн. 2, стр. 431 и „Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке“, Киев, 1888, стр, 305, где в годе описка или опечатка) на Эмилии-Катерине-Шарлотте фон Тимм (1821—1877), сестре известного впоследствии издателя „Русского художественного листка“ В. Ф. Тимма. „Его жена была прелестна собою и весьма образована,—вспоминает о ней Ф. И. Иордан:—она прельстилась талантом, обманчивым обхождением и разговорами Брюллова и, зная его ошибки и старые грехи, все-же решилась выйти за него замуж. С первых дней замужества он начал ревновать ее ко всем, даже к N. N. Говорили, будто поводом к неприятностям, начавшимся с первого дня свадьбы, послужило печальное недоразумение... Брюллов лишил жену общества, в котором она привыкла блистать, и у себя не принимал никого из ее приятельниц, супружество сделалось для нее каторгою“ (Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана, М., 1918, стр. 191, или „Русская старина“ 1891, № 7, стр. 62). О том, что Брюллов приревновал свою жену к Николаю I, имя которого в осторожном рассказе Иордана скрыто под буквами N. N., передает в своих воспоминаниях и художник П. П. Соколов („Исторический вестник“, 1910, № 8, стр. 401—402). В своих дополнительных поправках к сообщениям Соколова племянник Карла Брюллова В. А. Брюллов (там же, № 10, стр. 414), ссылаясь на свою мать (жену брата Брюллова, Александра) указал не без ехидства, что образ Шарлотты Брюлловой, представленный автором как нежный, махровый, полный невинности цветок, далеко не соответствует рассказам, „которые я слышал от современников“ и что его матери она „представлялась... далеко не таким невинным ребенком, каким рисует ее Павел Соколов“. „Не желая кидать тень на жену Брюллова,—многозначительно заканчивает свои заметки В. А. Брюллов.—смею заверить, опять-таки, со слов покойной матушки, что взваливать всю вину на одного Карла Брюллова было бы далеко несправедливо...“

„Не пишу вам о слухах, какие ходят о Карле Павловиче в городе и в самой Академии“,—читаем в автобиографической повести Шевченка „Художник“, написанной отчасти в виде писем молодого художника к своему „благодетелю“ и содержащей любопытные страницы о жене Брюллова и „несчастном его супружестве“: „Слухи самые возмутительные, и повторять их грешно. В Академии общий голос называет автором этих вестей [А. И.] Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай все это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения, а пока скопятся и выработаются материалы“ (Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, стр. 312-313; ср. стр. 304—306, 309, 311). Эти „нелепые сплетни“ заключались, конечно, в слухах об интимной близости жены Брюллова к Николаю I, женолюбие которого достаточно известно. Им верил хорошо осведомленный в скандальной хронике тех годов Н. С. Лесков, который в незаконченном романе „Чертовы куклы“ (1889 г.) хотел (как уже давно указал А. В. Амфитеатров) „рассказать, как исказился и разменялся на медную монету громадный талант К. П. Брюллова, и бросить свет на причины и подробности смерти А. С. Пушкина“ (Собрание сочинений А. В. Амфитеатрова, т. XXI. Спб. [1913], стр. 289; ср. в статье С. П. Шестерикова в „Известиях Отдел. Русск. языка и словесности Академии наук СССР“, т. XXX, Лгр. 1926, стр. 305—306). В лице Гелии, жены Фебуфиса-Брюллова и очевидной любовницы „герцога“—Николая Лесков контаминировал черты Шарлотты фон-Тимм-Брюлловой и Наталии Гончаровой-Пушкиной... Во втором браке жена Брюллова была за Алексеем Николаевичем Гречем, сыном того Греча, имя которого тесно связано с „Северной пчелой“ и Булгариным. Утверждение Иордана, будто „вдовою m-me Греч переселилась в Германию и там вышла в третий раз замуж за иностранца—военного человека“, неверно, о чем свидетельствует ее надгробие на городском кладбище в Павловске, где она погребена рядом со своим сыном Николаем Гречем („Петербургский некрополь“, т. I, стр. 675). См. о ней еще воспоминания В. П. Бурнашева („Русский архив“ 1872, № 9, ст. 1759), М. Е. Меликова („Русская старина“, 1896, № 6, стр. 657) и А. Н. Струговщикова (там же, 1874, № 4, стр. 70—710).

Использованные нами выше *печатные* материалы остались вне поля зрения С. Елеонского, вследствие чего мно-

гие страницы его статьи „Николай I и Карл Брюллов в „Чертовых куклах“ Н. С. Лескова“ („Печать и революция“, 1928, кн. VIII, стр. 37—57) совершенно неудовлетворительны.

[76] Цитата из стихотворения В. С. Курочкина, полностью записанная в дневнике под 29 ноября (см. стр. 218—219).

[77] Поэт-сатирик и юморист Василий Степанович Курочкин (1831—1875), с 1859 года—издатель знаменитого сатирического журнала „Искра“, своими переводами из Беранже особенно прославился; эту сторону его переводной деятельности Шевченко очень ценил, как видно по целому ряду мест его дневника. В свое время переводы Курочкина из Беранже пользовались огромнейшей популярностью. „Репутация его как лучшего переводчика французского национального певца до сих пор стоит незыблемо,—писал П. П Гнедич в 1920 году, - но едва ли такое определение точно. В. С. [Курочкин] значительно отступал от оригинала, изменяя основные положения подлинника. Неуместные руссицизмы делают многие его переводы крайне неудовлетворительными. Вместо французской легкости и того легкого налета скабрезности, что иногда просвечивает у Беранже, Курочкин противопоставляет тяжелое громоздкое русское остроумие, иногда обильно сдобренное салом“ („Бирюч петроградских гос. академических театров“, II, 1920 (1921), стр. 267). Этот отзыв в настоящее время нельзя не признать вполне справедливым.

[78] Александр Степанович Афанасьев (1817—1875)—русско-украинский этнограф и беллетрист, писавший под псевдонимом *А. Чужбинский*. Воспитанник Нежинского лицея, он в 1835—1843 гг. служил на военной службе (в Белгородском уланском полку), а на литературное поприще выступил в 1841 году стихотворением на украинском языке, написанным под впечатлением „Кобзаря“ Шевченка; в дальнейшей своей литературной деятельности он проявил себя как поэт „патриотического“ направления, настроивший свою лиру на торжественный лад. „во славу русского оружия . Со стороны украинской критики его литературная и этнографическая деятельность встречала в большинстве случаев насмешливую и враждебную оценку.

[79] „Вдова известного генерала 1812 года“ Ивана Семеновича Дорохова (1762 - 1815), раненного в обе ноги в бою под Малоярославцем 12 октября 1812 года,—Авдотья Яковлевна, рожд. Протасова; она умерла в Чернигове 25 ап-

реля 1849 года 58 лет" (см. заметку Б. Л. Модзалевского в журн. „Былое", 125, № 2, стр 236). Среди напечатанных стихотворений Афанасьева-Чужбинского, составляющих IX том собрания его сочинений (Спб, 1892), стихотворений, посвященных А. Я. Дороховой нет, хотя имеется ряд альбомных стихотворений и мадригалов в честь разных дам и девиц.

[80] Прославленного своей бездарностью стихотворца XVIII века и академика Академии наук.

[81] В „Русском Инвалиде", тщательно нами просмотренном за 1855—1857 гг., не нашлось стихотворений А. С. Афанасьева-Чужбинского; не указаны они и в библиографии его сочинений, составленной П. В. Быковым (Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева-(Чужбинского), т. I, Спб., 1890, стр III и т. IX, Спб., 1892, стр. III). Здесь, вероятно, у Шевченка описка, и малороссийское стихотворение Афанасьева он встретил не в этой военной газете, а в „Санктпетербургских ведомостях", о чтении которых находим упоминание в предшествующей записи дневника. Как раз в одном из первых январских номеров „Петербургских ведомостей" за 1856 г. (№ 2, 3 января), — что соответствует, конечно, хронологическому обозначению Шевченка „прошлой зимой", — имеется подробное описание обеда, данного в честь известного деятеля севастопольской обороны Э И. Тотлебена Обществом любителей шахматной и военной игры 5 декабря 1855 года, и в этом описании воспроизведены (стр. 12) приветственные стихи Афанасьева Тотлебену на украинском языке „Увесь мыр и сам наш ворог" (они не указаны в цитированной библиографии П. В. Быкова и не вошли в собрание сочинений Афанасьева). Стихи эти состояли из 40 строк, т. е. достаточно длинны („бесконечные") и достаточно „патриотичны" и льстивы, чтобы получить оценку, какую им дает Шевченко: „отвратительная и подлая лесть русскому оружию". Указываемой Шевченком обычной псевдонимной подписи А. С. Афанасьева: А. Чужбинский—под ними нет, поскольку они напечатаны не самостоятельно, а даны в тексте чужой статьи репортерского типа, но, кажется, не может быть сомнений, что Шевченко в своей записи вспоминает именно об этих стихах.—О встрече с Шевченком в Петербурге после возвращения поэта из ссылки Афанасьев-Чужбинский в своих воспоминаниях о нем рассказывает так: „Войдя в мастер-

скую Т. Г. в Академии, я застал его за работой: он гравировал. На вопрос мой, узнает ли меня, Шевченко отвечал отрицательно, но сказал, что по голосу, кажется, не ошибся и назвал меня по имени. Я бросился было обнять его, но он заметил по-русски: „Не подходите—здесь вредные кислоты. Садитесь". Минута эта была для меня чрезвычайно тягостная... Мы поговорили немного. Он был холоден и хоть несколько раз сам припоминал прошедшее, однако, не так, как ожидалось мне от этого свидания. Я ушел домой взволнованный и унес в сердце то чувство скорби, какое человек может вылить или в жарких слезах или вдохновенными стихами. Подобное охлаждение с его стороны я приписывал долгим страданиям и решился затаить в сердце еще одну утраченную надежду, может быть лучшую и последнюю в жизни" (Собрание сочинений А. С. Афанасьева (Чужбинского), т. VI. Спб, 1891, стр. 249).

[82] Бархвиц—Станислав Августович, подпоручик 5-го Оренбургского линейного батальона, которому Шевченко-солдат зимою 1848 года дал взаймы 63 руб. 30 коп. серебром; он не только не возвратил Шевченку этих денег, но после жалобы поэта „по начальству" о невозвращении им своего долга отперся от него и просил поступить с рядовым Шевченком по всей строгости законов за ложное предъявление претензии („Киевская старина", 1891, № 2, отд. II, стр. 334—335). Чем кончилось для Шевченки это дело, — неизвестно.—Апрелев, Василий Петрович (1805—1855), ротмистр Кавалергардского полка (из дворян Новгородской губернии), в 1844 году—полковник. Его биография с двумя портретами (один — карикатурный) помещена в „Сборнике биографий кавалергардов 1826—1908", Спб., 1908, стр. 94—95. Нам не удалось установить, что за личность „земляк Соколовский", благодаря которому Шевченко познакомился с Апрелевым.

[83] Один из офицеров Новопетровского укрепления.

[84] Знаменитый итальянский живописец болонской школы (род. 1575, ум. 1642).

[85] Александр Калам (1810—1863)—швейцарский художник-пейзажист и гравер, пользовавшийся большой известностью во всем мире. Он был с 1845 года „почетным вольным общником" Академии художеств.

[86] Лукьян—слуга Брюллова, часто упоминаемый в повести Шевченка „Художник" („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке", стр. 279 и др).

[87] Полностью они изданы М. А. Щепкиным, (внуком М. С.) в книге „Михаил Семенович Щепкин 1788—1863 гг. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная", Спб., 1914. См. также переиздание под ред. А. Б. Дермана „Записки крепостного актера М. С. Щепкина", М., 1928. Как известно, первые строки этого интереснейшего мемуарного повествования написаны в подлинной рукописи рукою Пушкина—лишнее доказательство настойчивости, с какою поэт понуждал Щепкина взяться за перо мемуариста.

[88] „История или повествование о донских казаках, отколь и когда они начало свое имеют и в какое время и из каких людей на Дону поселились, какие их были дела и чем прославились и пр, собранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого, чрез труды инженер-генерал-майора и кавалера А. Р. 1778 года", М., 1846. Автор этой книги Александр Иванович Ригельман (1720—1789), как видно из заглавия его работы,—военный инженер. Собранные им по истории донских казаков фактические данные чрезвычайно ценны.

[89] Карл Либельт (1807—1875)—польский философ, критик, литератор и революционный деятель, родом из Познани, участник восстания 1831 года; находившийся сначала под влиянием Гегеля, он затем перешел к разработке своей собственной философской системы, туманной „славянской философии", в которой исходил из убеждения в несостоятельности разума для решения вопросов о личности и бессмертии души Названное Шевченком трехтомное сочинение его (т. I—1849 г., т. II-III—1855 г.) вызвало много критических замечаний поэта на дальнейших страницах дневника.

[90] Унтер-офицер Кулих, с которым Шевченко был на приятельской ноге (как видно из дальнейших записей дневника), принадлежал, очевидно, к группе ссыльных поляков. С большинством из них Шевченко состоял в близких отношениях.

[91] Северин Пшевлоцкий—поляк-ссыльный из дворян Люблинской губернии, солдат 1-го Оренбургского линейного батальона в 1849—1856 гг. Он подвергся ссылке за „тайные, неблагонамеренные связи с политическими преступ-

никами", чтение „зловредных сочинений" и „вредные разговоры о правительстве".

[92] Галич, Александр Иванович (1783—1848)—философ и ученый, один из первых русских „шеллингианцев", „адъюнкт-профессор" российской и латинской словесности Царскосельского лицея (1814—1815), первый профессор философии (1819) только что основанного Петербургского университета, вскоре покинувший его в связи с обвинениями в „безбожии и революционности". Григорович, Василий Иванович (1786 — 1865) — конференц-секретарь Академии художеств в 1829 — 1859 гг., преподаватель „теории изящного". Как секретарь пользовался большим влиянием на дела Академии. К Шевченку был „расположен".

[93] Историческая работа, написанная Либельтом в 1847 году.

[94] См. запись под 15 июня (выше, стр. 34)

[95] Второго сына Николая I (род. в 1827 г., умер в 1892 г.)

[96] Капитан Георгий Михайлович Косарев (1818—1891) был в 1852 году непосредственным начальником Шевченка. Честный служака, недалекий, хотя по-своему добрый человек, он допекал поэта солдатской муштрой, оставив у своего „воспитанника" тяжелые воспоминания своими мелочными и строгими требованиями в отношении „выправки", обмундирования и т. п., чем и объясняются иронические и раздраженные отзывы о нем в дневнике Шевченка. Устными рассказами Косарева о поэте неоднократно пользовались исследователи, публикуя их в печати по своим записям. Некролог Косарева см. в „Туркестанских ведомостях", 1892, № 4, стр. 14.

[97] Николай Александрович (1807—1877)—вице-адмирал, астраханский военный губернатор и главный командир астраханского порта в 1853—1857 гг. („Общий морской список", ч. VI, стр. 515—518 и ч. XII, стр. 484—485).

[98] Генерала Ивана Никитича Скобелева (1778—1849), деда прославленного впоследствии „белого генерала". Скобелев выступал в печати с многочисленными патриотическими рассказами „военного содержания", подделываясь под народный „солдатский" юмор и прикрываясь псевдонимом „Русский инвалид" (напр., „Беседа русского инвалида или новый подарок читателям", Спб., 1838 и мн. др.) Свою повествовательную речь он пересыпал шутками, прибаутками, пословицами и она подлинно была „балагурством". С 1839 года он состоял комендантом Петропав-

ловской крепости, оставив по себе память „гуманного тюремщика". В литературе о Пушкине известен своими доносами на поэта.

[99] Эдикуль — семибашенный замок в Константинополе, место заключения наиболее важных и опасных преступников.

[100] Аркадий Гаврилович Родзянко (1793—1846) — поэт, в молодости приятель Пушкина (что, однако, не помешало ему написать на ссыльного поэта сатиру, из которой до нас дошли два стиха, не лишенные оттенка доноса). Воспитанник Московского университетского благородного пансиона, он служил в 1818—1821 гг. в военной службе, а после выхода в отставку проживал в своем богатом полтавском имении — селе Родзянках, Хорольского уезда. В одном из своих писем 1823 года Пушкин назвал его „певцом сократической любви" (Письма Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 51), иронически намекая на многочисленные порнографические стихотворения Родзянка, не появившиеся, конечно, в печати, но очевидно вполне достойные пера „прославленного" порнографа XVIII века Ивана Семеновича (или Степановича) Баркова (1732—1768). Портрет сына Родзянко—Гавриила, работы Шевченка, воспроизведен в сборнике „Шевченко та його доба", зб. II, (Київ, 1926) при стр. 105.

[101] П. Г. Родзянко (род. 1802), отставной подполковник, в 1844—1847 гг. был предводителем дворянства Хорольского уезда (В. Л. Модзалевский „Малороссийский родословник", т. IV, стр. 309).

[102] Клод-Жозеф Вернэ (1712—1789)—французский художник-маринист.

[103] Петер Корнелиус (1783—1867) возглавлял кружок немецких художников, ставивших своею целью возрождение „примитива" XV века и жертвовавших техникою рисунка ради „философского идеала". Петер Гессе (1792—1871) известен своими батальными картинами, между прочим, из эпохи 1812 года.

[104] Василий Иванович Штернберг (1818—1845)—талантливый художник-пейзажист, едва ли не самый близкий и задушевный приятель Шевченка в период пребывания поэта в Академии художеств.

[105] Лео Кленце (1784—1864) — выдающийся немецкий архитектор, одно время (в 1839—1850 гг.) живший в России и принимавший участие в постройке Эрмитажа

и Исаакиевского собора, а до этого создавший в Мюнхене много художественных зданий в античном стиле и в стиле „ренессанс" по заказу меценатствовавшего баварского короля Людовика I.

[106] Федор Антонович Бруни (1799—1875) — художник, в работах которого значительно отразилось влияние столь неприятного Шевченку Корнелиуса, впоследствии — ректор Академии художеств „по части живописи исторической и портретной". Отзыв о нем Шевченка излишне суров и резок.

[107] Эта картина Бруни находится в Государственном российском историческом музее в Москве.

[108] Маленькая дочь Усковых (см. выше, стр. 37).

[109] „Меркурий" и „Самолет" — известные пароходные компании на Волге.

[110] Не вполне точная цитата из басни И. А. Крылова „Ворона и лисица".

[111] Александра Михайловна, рожд. Белозерская (1828—1911) — известная украинская писательница, писавшая под псевдонимом: *Ганна Барвінок* и *А. Нечуй-вітер*.

[112] Историческая повесть П. А. Кулиша из времен борьбы Бориса Годунова с Дмитрием Самозванцем, появившаяся в трех книгах „Современника" 1852 и 1853 гг. (№№ 12 и 1, 2) под обычным псевдонимом Кулиша тех годов: *Николай М.*

[113] Семен Степанович Гулак-Артемовский (1813—1874) — племянник украинского поэта П. П. Гулака-Артемовского, певец-баритон, артист императорской сцены в сороковых и пятидесятых годах, автор популярной оперы „Запорожец за Дунаем" (1863), один из задушевных друзей Шевченка, сблизившегося с ним еще в начале сороковых годов. В дальнейших записях дневника Шевченка он обозначен просто по имени (ср. стр. 116, 272 и др.). В связи с выступлениями Артемовского в итальянской опере в Петербурге известна эпиграмма:

Хоть твой голос — маньифико,
Все же ты, о, мой амико,
Необтесанный мужико!

(„Первое собрание писем И. С. Тургенева", Спб., 1884. стр. 400). Ср. эпиграмму С. А. Соболевского (С. А. Соболевский, „Эпиграммы и экспромты", под ред. В. В. Каллаша, М., 1912, стр. 27).

[114] Павел Иванович (1817—1893)—статистик, экономист, историк и этнограф, автор книг: „Покорение Сибири“ (1849), „Записки проезжего“ (1854), „Очерки торговли России с Средней Азией (1855) и др. В данном случае Шевченко имеет в виду его обширную статью „Уральцы“ (с подзаголовком „Посвящается Владимиру Ивановичу Далю“) в „Библиотеке для чтения“, 1855. (№ 4, отд. I, стр. 45—165; № 5, отд. I, стр. 44—98).

[115] Иосаф Игнатьевич Железнов (1824—1863)—талантливый исследователь быта уральских казаков и их истории. Его книга „Уральцы. Очерки быта уральских казаков“ (Спб., 1858) пользовалась большой известностью и успехом (повторные издания ее появились в 1888 и 1910 гг.) Резкая оценка, какую дает Шевченко и Железневу и Небольсину, объясняется той идеализацией казачьего быта, которая проявляется в их работах, — Шевченку же в условиях его каторжного солдатского житья приходилось сталкиваться с темными и совершенно „прозаическими“ сторонами этого быта, и лживость подобной идеализации была ему особенно ясна.

[116] Художник-портретист Сергей Константинович Зарянко (1818—1870) был известен своей манерой совершенно точно копировать оригинал; этим объясняется несколько пренебрежительный отзыв Шевченка о нем как о наиболее характерном последователе „даггеротипного подражания природе“.

[117] Кондрат Афанасьевич Булавин — один из атаманов Донского казачьего войска, вождь неудачного восстания казачества в 1707 — 1708 гг. против Петра I. В песне он назван Игнатом Степановичем, но подобное изменение имени и отчества — явление довольно обычное в народном песнетворстве, — в данном случае, впрочем, вполне допустимо предположение, что в цитируемой Шевченком песне речь идет о товарище и сподвижнике Булавина — Игнате Некрасе (Некрасове).

[118] Фельдмаршал Сакен—генерал-фельдмаршал Фабиан Вильгельмович фон-дер-Остен-Сакен (1752—1837), один из видных военных деятелей царской России, командир I армии (главная квартира находилась в Киеве). Митрополит киевский Евгений (Ефим Алексеевич Болховитинов) (1767—1837) — знаменитый ученый — историк и библиограф, занимавший митрополичью кафедру в Киеве с 1822 года.

[119] См. „Мертвые души“, соч. Гоголя под ред. Н. С. Тихонравова, т. V, Спб., 1900, стр. 21, 109 и 110.

[120] Во время экспедиции капитан-лейтенанта А. И. Бутакова (о нем—ниже стр. 261), в 1848—1849 гг. по изучению и описанию Аральского моря, когда Шевченко-солдат, по выражению одного официального донесения Бутакова, „был назначен г. корпусным командиром для снимания видов в степи и на берегах Аральского моря“ („Киевская старина“, 1896, № 2, стр. 131). Участие Шевченка в этой экспедиции было нарушением запрета Николая I „писать и рисовать“, за что корпусный командир Обручев получил из Петербурга выговор; и для Бутакова также не обошлось без неприятностей.

[121] Киевского митрополита в 1633—1647 гг., прославленного своей ученостью и умом (род. 1596, умер 1647).

[122] Этот лейтенант Поскочин (Николай Петрович) вскоре умер: 21 октября 1857 года он „выключен из списков умершим“ („Общий морской список“, ч. XI, стр. 259). В его формуляре нет сведений о плавании, связанном с посещением полуострова Мангишлака и Новопетровского укрепления.

[123] Знаменитого историка Николая Ивановича Костомарова (1817—1885), давнего своего друга, также пострадавшего по делу Кирилло-Мефодиевского общества.

[124] Очевидно, жена упоминавшегося выше (стр. 91) смотрителя Новопетровского „полугоспиталя“.

[125] Об этой экспедиции прославленного академика Карла-Эрнеста (Карла Максимовича) Бэра (1792—1876) упоминалось уже выше—см. стр. 315.

[126] Учителем русской словесности в астраханской гимназии был в это время Михаил Иванович Рубцов („Адрес-календарь“ 1857, ч. I, стр. 187; 1858—1859. ч. I, стр. 209).

[127] В нашем распоряжении нет данных, чтобы судить о достоверности передаваемого Шевченком сообщения; укажем лишь, что в эти годы „командующим войсками в Прикаспийском крае и управляющим в оном гражданской частью“ в эти годы состоял известный военный деятель той эпохи генерал-лейтенант-барон Александр Евстафьевич Врангель (1804—1880).

[128] Сергей Петрович Левицкий (ум. 1855 г.) — чиновник оренбургской пограничной комиссии, питомец киевского университета выпуска 1845 года („Академические списки имп. университета св. Владимира (1834—1884)“, Киев,

1884, стр. 90), один из оренбургских приятелей Шевченка, пострадавший в связи со вторичной ссылкой поэта в 1850 году.

[129] „Ренегат Писарев“ — Николай Эварестович Писарев (род. в. 1806 г.), двоюродный дядя знаменитого критика Д. И. Писарева, всесильный правитель канцелярии киевского, волынского и подольского генерал-губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова (1792—1870), занимавшего этот пост в 1837—1852 гг. (как известно, Бибиков в бородинском бою потерял левую руку, — отсюда эпитет „безрукий“). Беззастенчивый взяточник и карьерист, Писарев был доверенным лицом Бибикова по управлению „Юго-Западным краем“, как на официальном языке называлась тогда правобережная Украина, и всеми силами содействовал настойчивой и последовательной обрусительной политике, проводившейся там русским правительством. В этом отношении он являлся для Бибикова незаменимым помощником, обладая особыми способностями в деликатном искусстве политического сыска, и успешно проявлял их в области „производства секретных и политических дел“. Его блестящей служебной карьере (в 1843 году он уже действительный статский советник и камергер) вполне содействовала его жена Софья Григорьевна, рожд. Г., тетка будущей морганатической супруги Александра II княжны Е. М. Долгоруковой, „молоденькая красавица-брюнетка, весьма грациозная, с оживленным и симпатичным лицом“ (А. Солтановский, „Оповідання про Київське життя 1840-х рр.“ — „Україна“ 1924, кн. III, стр. 95; ср. Записки Н. И. Мамаева — „Исторический вестник“ 1901, № 10, стр. 60, (где фамилия Писарева скрыта под сокращением П—в.) и сообщение П. И. Бартенева — „Русский архив“, 1884, кн. III, стр. 42). В полной мере ценя благосклонность Бибикова, она „сама являлась к нему по ночам по его востребованию“ (цит. воспоминания Солтановского). А когда до Бибикова доходили слухи о неимоверном, даже по тем временам, лихоимстве его верного помощника и он делал ему соответствующие замечания, — Писарев утверждал, что все это выдумки людей, ему завидующих: „Мало ли что говорят, — всему верить нельзя. Например, мне говорят, что ваше высокопревосходительство находится в преступной связи с моей женой, я этому не верю. И вы прекрасно сделаете, если подобно мне не будете веритр слухам, распространяемым на мой счет“

(цит. записки Мамаева, ср. воспоминания Солтановского). Повидимому, его служебная карьера окончилась именно так, как рассказывали Шевченку. 20 июля 1848 года он получил назначение губернатором в Олонецкую губернию (т. е. в Петрозаводск, а не в Вологду, как у Шевченка) и в этой должности пробыл до 8 июля 1851 года („Исторические данные об образовании губерний, областей, градоначальств и других частей внутреннего управления империи"... Спб, 1902. стр. 102). „Сделанный по протекции Бибикова губернатором N-ской губернии, — повествует о нем в своих записках Н. И. Мамаев, — он в губернском городе во время божественной литургии, совершаемой архиереем в какой-то царский день, в самой церкви, в присутствии всех, получил пощечину от какого-то отставного чиновника казенной палаты. После такого оскорбления он был уволен от службы" („Исторический вестник", 1901, № 10, стр. 61). После этого он прожил еще полных три десятка лет и умер в 1884 году в Венеции, „далеко не в достатке" по свидетельству П. И. Бартенева („Русск. арх.", 1884, кн. III, стр. 42), которому удалось добыть из Италии его „Любопытные записки", так и не увидевшие света по цензурным условиям (там же, 1892 кн. III, стр. 293; 1897, кн. III, стр. 143).

[130] Поэмы на русском языке „Сатрап и Дервиш" нет в литературном наследии Шевченка (ср. запись в дневнике под 13 декабря — ниже, стр. 225), но, как полагают некоторые исследователи, сюжет ее поэт намерен был использовать в поэме на украинском языке — „Юродивый", от которой сохранился лишь отрывок — начало. Любопытно, что в этой второй стадии замысла Шевченка, под влиянием внешних обстоятельств жизни поэта — чтения и встреч, действие поэмы должно было развернуться в среде сосланных декабристов „невольникiв святих".

[131] Аврааму Сергеевичу (1795—1869), описавшему свои путешествия по Египту, Нубии и „святой земле" („Путешествия по Сицилии, святым местам, Египту и Нубии", 5 томов, Спб., 1854). В 1853—1858 гг. он был министром народного просвещения.

[132] Контракты в Киеве — ежегодные съезды помещиков „из всех западных губерний для совершения своих домашних и хозяйственных сделок, как-то: отдача имений в *посессию*, т. е. на аренду, продажа и покупка имений,

уплата долгов и т. п. Ко времени открытия „контрактов" учреждается в Киеве ярмарка, привлекающая купцов даже из великороссийских губерний, съезжаются лучшие актеры и даются театральные представления, приезжают и разные певицы даже из-за границы". („Записки Н. И. Мамаева" — „Исторический вестник", 1901, № 10, стр. 48).

[133] Этот же анекдот об отце своего большого друга полтавского помещика, „отставного поручика" Льва Николаевича Свечки (1800—1845), имя и отчество которого в дневнике записаны неверно, Шевченко передает также и в повести „Близнецы", в связи с рассказом о киевских контрактах: „Покойному отцу его [Николаю Петровичу] (думать надо, с великого перепоя) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл. Вот он, начинивши вализы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве все шампанское вино, так что, когда начались балы во время контрактов, хвать—ни одной бутылки шампанского в погребах.—„Где девалось?"—спрашивают.— У полковника Свечки, говорят. К Свечке, а он не продает. „Пейте так,—говорит,—хоть купайтесь в йому, а на продане нема". Нашлися люди добрые—и так выпили. После этой штуки свечкино Городище и прочее добро вокруг Пирятина начало таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком. („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке", стр. 166—167).

[134] „Москаль-чарівник" популярная „опера-водевиль" на украинском языке Ивана Петровича Котляревского (1769—1830), родоначальника „новой" украинской литературы.

[135] Константин Трофимович Соленик (1811—1851)—известный актер, вся жизнь которого протекла в провинции, преимущественно в Харькове; пользовался огромным успехом у своих современников и не изменил провинции, когда получил предложение перейти на императорскую сцену. Как свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы современников, это был актер (преимущественно на комические роли) с большим талантом, подкупавший своей естественной и непринужденной игрой

[136] См. стихотворение Лермонтова „Из Гёте": „Горные вершины."

137 Отец декабриста Александра Ивановича Якубовича (1792—1845), человека оригинального и яркого, в личности которого Пушкин не шутя находил „много... романтизма" („Письма", под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 169),— ротмистр в отставке, роменский помещик Иван Александрович, состоявший одно время (1832) уездным предводителем дворянства. Его младший сын Иван был калекою, чем и объясняется отзыв Шевченка (Квазимодо — ставшее нарицательным имя одного из персонажей романа Гюго „Собор парижской богоматери", отталкивающим своим физическим уродством горбуна).

138 Феликс Фиялковский—унтер-офицер 1-го Оренбургского линейного батальона, из дворян Радомской губернии, поляк, сданный в солдаты в 1848 года „за побег за границу, с намерением присоединиться к венгерским мятежникам". В 1856 году он был произведен в унтер-офицерский чин, а в 1857 году вовсе уволен от военной службы.

139 Бюрно—Карл Иванович, военный инжен., в 1857 году, в чине генерал-майора, состоял в распоряжении оренбургского и самарского генерал-губернатора („Список генералам по старшинству", Спб., 1857, стр. 275). Француз по происхождению, из подпоручиков французской армии, тем же чином принятый (25 февраля 1820 года) в русскую службу, он встретился с Шевченком-солдатом осенью 1856 г.—в один из своих служебных приездов в Новопетровское укрепление („Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр 103). „Человек", по отзыву Бр. Залеского, „благородства редкого, артист и поэт" (там же, стр. 268), он произвел самое отрадное впечатление на Шевченка, о чем свидетельствуют восторженные отзывы поэта в письмах к Залескому. „Надолго останется в моем сердце это кратко-длинное свидание, эта симпатичная благородная физиономия, издающая тихие кроткие звуки"— писал Шевченко Залескому 8 ноября 1856 года, после встречи с Бюрно в Новопетровском укреплении (там же, стр. 104). —Герн, Карл Иванович, полковник, состоявший по особым поручениям при командире отдельного оренбургского корпуса („Список полковникам по старшинству", Спб., 1854, стр. 318); один из близких приятелей Шевченка в годы его солдатства, он оставил о нем ценные воспоминания в виде письма к М. М. Лазаревскому („Русский архив", 1898, кн. III, стр. 550—555).

[140] Джорджио Вазари (1512—1574)—художник и архитектор, ученик Микель - Анджело, автор большого биографического труда о художниках, скульпторах и архитекторах XIII—XVI веков. Об этой его работе, являющейся основным источником по истории искусства Возрождения, есть любопытное упоминание в повести Шевченка „Художник" („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке", стр. 336).

[141] Об этом Мешкове (о котором см. также запись под 28 июля — стр. 126) А. Е. Ускова многозначительно пишет в своих воспоминаниях: „Мешков—комиссариатский чиновник, был старик, имел молодую жену, об них болтали много" („Науковий збірник за рік 1926", стр. 170). Очевидно, донос Мешкова был связан как-то с семейными неприятностями ревнивого старика; на это намекает и Шевченко, два раза повторяя слово „маска" в своей записи.

[142] Т. е. 8-го (см. „Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 271).

[143] В подлинной рукописи дневника это письмо испещрено поправками и вставками, доказывающими, что Шевченко действительно много поработал над текстом, стремясь сделать письмо „как можно проще и благороднее".

[144] Т. е. „Явление Христа народу", над которой Иванов работал свыше двадцати лет.

[145] Вдова Николая I (до замужества—принцесса прусская Фредерика - Луиза - Шарлотта - Вильгельмина, род. в 1798, ум. в 1860), облик которой увековечен Шевченком в его „Сне" (1844):

А вот и „сам" появился—
Высокий, сердитый
Выступает, а с ним—женка,
Жизни в ней немного,—
Как опенок засушенный,
Тонка, долгонога,
Да к тому ж еще, бедняжка,
Трясет головою...
Так вот она, та богиня!
Горюшко с тобой!
Не пришлось быть знакомым
Мне с твоим портретом
И поверил тупорылым
Я твоим поэтам.

Вот так дурень, еще битый,
Только знать, не в меру!
И читай, что написали,
И имей им веру!..

(Перевод И. А. Белоусова — „Запретный Кобзарь“ под его ред. изд. 2-е. М., 1922, стр. 18.) Александра Федоровна до последнего момента своей жизни ощущала последствие нервного потрясения, испытанного ею 14 декабря 1825 года, с этого дня у нее начала, не переставая, трястись голова, что и отмечает в своих стихах Шевченко.

146 Предшествующая картина Иванова — „Появление Христа Магдалине“.

147 В „Выбранных местах из переписки с друзьями“ Гоголь посвятил особую статью Иванову (в виде письма к известному меценату гр. М. Ю. Виельгорскому) — „Исторический живописец Иванов“. В ней Гоголь говорил о картине Иванова как о „колоссальном деле, какого не затевал доселе никто“, — но в то же время не давал фактического описания этого „явления небывалого“, так что его статья, очень для него характерная, ни в какой мере не могла удовлетворить людей, желавших получить представлени о грандиозной работе Иванова.

148 Французский археолог (1755 – 1849) – автор большого исследования (1816) о статуе Юпитера Олимпийского, работы прославленного древне-греческого скульптора Фидия.

149 Федор Антонович Моллер (1812 – 1875) – исторический живописец, ученик Брюллова, под влиянием которого протекала его дальнейшая творческая деятельность.

150 Как известно, картина Иванова, произведшая огромное впечатление в Риме, в России была встречена холодно и совсем не оправдала надежд, возлагавшихся на нее автором. Трагедия Иванова как художника коренилась в том, что его взгляды на искусство и его задачи, отраженные в двадцатилетнем труде, шли вразрез с пониманием искусства широкой массы русских художников и всего общества — вернее той части, которая интересовалась живописью и вообще искусством

151 Кебаб, кебаф, кабаб — „баранина в ломтях, изжаренная на вертелочке, шашлык“ (Словарь Даля).

152 Вот документ, выданный Шевченку комендантом Новопетровского укрепления для следования в Петербург:

„*Билет.* Предъявитель сего служивший в Новопетровском укреплении линейного оренбургского баталиона № 1-го, рядовой из бывших художников с.-петербургской академии художеств, Тарас Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного баталиона от 26-го июня за № 1651, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же баталиона и мне сообщенного в его рапорте от 29-го июня за № 535, по высочайшему повелению уволен от службы и ныне по желанию его отправлен на местожетельство свое в г. С.-Петербург. Вследствие чего прошу покорнейше гг. начальствующих по тракту чинитъ Шевченке свободный пропуск, а также и на месте в С.-Петербурге впредь до высылки ему откуда следует надлежащего паспорта на свободное проживание: в удостоверение чего дан сей билет, за надлежащим подписом, с приложением казенной печати. Укрепление Новопетровское, августа 1-го дня 1857 года. Новопетровский комендант, состоящий по армейской пехоте, майор Усков. За плац-адъютанта прапорщик Хитрин („Русская старина“ 1891, № 5, стр. 442). Билет этот Шевченко получил по недоразумению: Ускову тогда еще не было известно, что поэту не разрешен въезд и проживание в столицах и что он должен „иметь жительство впредь до окончательного увольнения его на родину в г. Оренбурге“. В Новопетровском это было выяснено 23 августа, и оттуда сразу же полетели „отношения“ в Астрахань к находившемуся там плац-адъютанту Новопетровского Л. А. Бурцеву, в Академию художеств и в гражданские полиции Петербурга, Москвы и Нижнего-Новгорода — с просьбой немедленно отправить в Оренбург, „где он должен иметь местожительство впредь до окончательного увольнения его оттуда на родину“ (Д. І. Яворницький, „Матеріали до біографиї Т. Г. Шевченка“, Катеринослав, 1909, стр. 37—39). Шевченко узнал об этом сюрпризе немедленно по прибытии в Нижний-Новгород (см. ниже, стр. 183); ради избавления от путешествия в Оренбург, он по совету добрых друзей „дипломатично“ заболел, и болезнь его была удостоверена местной полицией. В томительном ожидании он прожил в Нижнем до 1 марта 1858 года, когда из Петербурга пришло разрешение, выхлопотанное влиятельными петербургскими друзьями поэта, о разрешении ему проживать в Петербурге под строгим полицейским надзором (см. ниже стр. 258).

[153] Лев Александрович, прапорщик 1-го Оренбургского линейного баталиона, бывший плац-адъютантом Новопетровского укрепления с осени 1855 года; один из приятелей Шевченка.

[154] Знаменитого итальянского архитектора, с 1779 года жившего в Петербурге и украсившего город многими великолепными зданиями (Академии наук, Смольного монастыря и др.).

[155] А. А. Сапожников, крупный астраханский рыбопромышленник и миллионер, был известен Шевченку еще мальчиком; есть основания предполагать, что поэт давал ему уроки рисования („Русская старина", 1896, № 3, стр. 657). Несмотря на первоначальное предубеждение, Шевченко возобновил с ним в Астрахани старое знакомство (см. ниже, стр. 183) и свое путешествие по Волге до Нижнего-Новгорода совершил на зафрахтованном Сапожниковым пароходе, вместе с его семьей. Возобновленное знакомство кончилось, однако, довольно нелепо: когда Шевченко в Петербурге пошел проведать Сапожникова, самодур-купец не принял его „по случаю скорого обеда" (см. ниже запись под 4-м мая 1858 года, стр. 291).

[156] Опера Мейербера (см. ниже, стр. 206).

[157] Песня из оперы композитора Алексея Николаевича Верстовского (1799—1862) „Аскольдова могила" (1835).

[158] В один день с Шевченком были уволены от военной службы унтер-офицеры: Александр Храбчинский, Эразм Ольшевский и Феликс Фиялковский и рядовой Станислав Домарацкий (Д. І. Яворьницкий, „Матеріали до биографиі Т. Г. Шевченка", стр. 34), сданные в солдаты за различные „политические преступления"—в роде чтения „крамольных сочинений", либеральных разговоров и т. п. (ср. выше, стр 114).

[159] Т е. книга директора астраханских училищ Михаила Самсоновича Рыбушкина (1792—1849) „Записки об Астрахани", М., 1841.

[160] О священнике Гаврииле Яковлевиче Пальмове (1810—1900), бывшем в течение ряда лет астраханским кафедральным протоиереем, см. „Астраханские епархиальные ведомости", 1900, №№ 7-9, где напечатана его биография, составленная И. Саввинским, и „слово", произнесенное при его погребении Н. Летницким. Оба эти панегирические произведения имеются в отдельных оттисках, представляющих большую библиографическую редкость.

161 Письмо Кухаренка в ответ на присылку „Москалевой Криници" (см. выше, стр. 45) Шевченко получил лишь 10 февраля 1858 года (см. ниже, стр. 250).

162 Иван Андреевич Варваци, а не Варвараци, как у Шевченка (1750—1825)—богатый купец, грек родом, один из первых рыбопромышленников в устье Волги, с семидесятых годов XVIII века поселившийся в Астрахани.

163 „Достойно замечания,—говорил М. С. Рыбушкин об астраханском Успенском соборе („Записки об Астрахани", стр. 30),—что зодчим этого великолепного здания был крестьянин Дорофей Макишев. По договорной цене ему заплатили за сей труд 100 руб."

164 Архитектор Константин Андреевич Тон (1794—1881), ректор Академии художеств, в церковном зодчестве был создателем особого и, нужно сознаться, неизящного стиля, получившего название по его имени. Стремясь возродить византийский и древне-русский стиль в архитектуре церквей и соборов, он создал свой особый стиль, в котором было очень мало византийского и древне-русского, но который чрезвычайно пришелся по вкусу Николаю I, приказавшему впредь строить церкви не иначе как по проектам Тона. Им, между прочим, построены церковь Христа-спасителя и так называемый Большой кремлевский дворец в Москве, вызвавший резкие критические замечания Шевченка в его дневнике (см. запись под 19 марта 1858 года ниже, стр. 265).

165 Классический труд знаменитого французского философа Монтескье (1689—1755), сыгравший огромную роль в развитии общественно-политической мысли второй половины XVIII и начала XIX веков.

166 Выдающегося историка, автора начавшей выходить с 1851 года многотомной „Истории России с древнейших времен".

167 Сожаление Шевченка о раскопанной Савур-могиле было напрасно: в статье „Русского вестника" речь шла не об известной по украинским песням и думам Савур-могиле, а совсем о другом кургане; ошибка поэта объясняется скудостью географических и топографических указаний прочитанной им статьи „Русского вестника".

168 Так в подлиннике—вместо *Рыбушкин*.

169 Дальнейшие записи дневника по 20 августа, набранные петитом, представляют сделанные „на память" поэту записи нескольких его поклонников, радостно приветство-

вавших его возвращение из ссылки. Весть о приезде Шевченка в Астрахань разнеслась, благодаря одному из жильцов дома, где поэт нанял „чулан“ для жилья за 20 коп. в сутки,—лекарю И. Муравскому, служившему в Астрахани по морскому ведомству („Русская старина“, 1896, № 3, стр. 656; ср. „Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 201); ему было известно имя автора „Кобзаря“ и новостью о его приезде он поделился со своими знакомыми и сослуживцами.

[170] Иван Петрович Клопотовский был в это время учителем географии Астраханской гимназии („Адрес-календарь“ 1858 – 1859, ч. I, стр. 209). Записанный с его слов В. Кларком рассказ о пребывании Шевченка в Астрахани напечатан в „Русской старине“, 1896, (№ 3, стр. 655—658); некоторые неточности его тогда же были оговорены А. Я. Конисским (там же. № 8, стр. 449—450). Очень любопытно, что в своей записи Клопотовский, имени которого, кстати сказать, нет в „Списке студентов и посторонних лиц, удостоенных степени кандидата и звания действительного студента в имп. университете св. Владимира“ (см. „Академические списки имп. университета св. Владимира (1834—1884)“, Киев, 1884, стр. 85 и сл.) называет Шевченко „бывшим профессором Киевского университета“; это доказывает, что поэт успел до своего ареста в 1847 году провести в университете несколько занятий по живописи; как известно, тогда предполагалось назначение его на должность преподавателя рисования в университете, но осуществлению этих проектов помешали арест и ссылка.

[171] Степан Андреевич Незабитовский (1829—1909) – лекарь, питомец Киевского университета выпуска 1854 года, младший судовой врач 45-го Флотского экипажа (1856 – 1864) („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 207; Л. Ф. Змеев, „Русские врачи-писатели“, тетрадь 5, Спб. 1889, стр. 29). Выйдя в отставку в 1879 году, он проживал в Баку и занимался частной врачебной практикой (сведения о нем имеются в „Росс. медицинском списке на 1908 год“, стр. 208, в списке „на 1910 год“ уже отсутствуют. Имени его почему-то нет в „Списке лиц, удостоенных медицинских степеней и званий медицинским факультетом университета св. Владимира с 1843 г. по 1883 г. включительно, помещенном в „Академических списках имп. университета св. Владимира (1834—1884)“, стр. 142—144).

[172] Евтихий Иванович Одинцов, состоявший врачем 46-го флотского экипажа в 1855—1863 гг. и умерший 26 февраля 1873 года, в должности младшего врача Каспийского экипажа („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 215; Л. Ф. Змеев, „Русские врачи-писатели“, тетрадь 2, Спб., 1886, стр. 39). Подписался же он Евгением, а не Евтихием потому, что следуя смешной и жеманной моде, возникшей у нас в давние времена, в житейском обиходе усвоил себе это „поэтическое“ имя взамен своего „законного“, назвавшегося ему неблагозвучным (вспомним, что уже мать Пушкинской Татьяны из „Евгения Онегина“, подчиняясь этой моде, Параскеву звала Полиной“).

[173] Федор Иванович Чельцов лекарь, прикомандированный к управлению астраханских портовых рот (1856—1858 гг.), питомец киевского университета, выпуска 1853 г. [„Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 321; Л. Ф. Змеев, „Русские врачи-писатели“, тетрадь 2, Спб. 1886, стр. 150; тетр. 3, Спб., 1887, стр. 74; „Академические списки имп. университета св. Владимира (1834 1884)“, стр. 140, 142]. Его знакомство с Шевченком, идущее, очевидно, со времен его учения в Киеве, не порывалось и после встречи в Астрахани, как свидетельствует сохранившийся экземпляр „Кобзаря“ в издании 1860 года с пояснительной авторской надписью Чельцову („Повне зібрання творів Т. Шевченка“, т. IV [Київ], 1927, стр. 515) Запись в дневнике под 17 августа сделана также Чельцовым.

[174] Владимир Васильевич Кишкин—капитан парохода „Князь Пожарский“, на котором Шевченку предстояло совершить путешествие по Волге до Нижнего-Новгорода, давний знакомый поэта, ранее служивший в военном флоте. 5 марта 1857 года он уволился с чином лейтенанта „для службы на коммерческих судах“ и служил в коммерческом флоте до 31 марта 1877 года, когда был произведен в капитаны 1-го ранга „с увольнением от службы“ („Общий морской список, ч. X, стр. 332—333); он умер 21 января 1911 года, на 86 году от рождения, в своем родовом имении Турово близ Луги (см. объявление в „Новом Времени“, 1911 года, № 12525, 25 января).

[175] Карл Осипович Новицкий (род 1819 году), врач 44 Флотского экипажа, питомец виленской медико-хирургической академии (1842) („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 213; „Адрес-календарь“ 1858—1859, ч. I, стр. 157; Л. Ф. Змеев, „Русские врачи-писатели“,

тетрадь 4, Спб., 1889, стр. 38). Выйдя в 1887 году в отставку, он жил на покое в Николаеве („Российский медицинский список на 1893 год“, стр. 175).

[176] Личность этих двух почитателей Шевченка установить нам не удалось.

[177] „Красноречие немногим досталось в удел; мне же, лишенному этого божественного дара, остается лишь в молчании удивляться и благословлять твою творческую силу, святой народный пророк-мученик Малороссии. Твое нынешнее пребывание среди нас делает меня совершенно счастливым, и минуты общения никогда не изгладятся из моей памяти. О, стократ, стократ благословляю тот драгоценный день, в который небо позволило мне близко познакомиться с тобою, ревностный и безбоязненный глашатай слова правды. Пусть же эти несколько слов напоминают тебе, поэту-художнику, глубокое почитание уважающего тебя Фомы Зброжека“. Фома (Иванович) Зброжек, автор приведенной выше восторженной записи,— старший врач 17-го рабочего экипажа в Астрахани (1856—1858), питомец киевского университета выпуска 1850 года („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 116; „Академические списки имп. университета св. Владимира (1834 — 1884)“, стр. 136; Л. Ф. Змиев, „Русские врачи-писатели“, тетрадь 4, Спб. 1888, стр. 123).

[178] Об астраханских почитателях Шевченка А. Ф. Писемский писал ему в 1856 году, побывав в Астрахани: „Я видел на одном вечере человек 20 ваших земляков, которые, читая ваши стихотворения, плакали от восторга и произносили ваше имя с благоговением. Я сам писатель и больше этой заочной чести не желал бы другой славы и известности, и да послужит все это утешением в вашей безотрадной жизни“ („Повне зібрання творів Т. Шевченка“, т. III, стр. 269)

[179] О Панове, „крепостном Паганини“, музыкой которого Шевченко наслаждался на пароходе (см. запись под 27 августа), не сохранилось никаких сведений, как и о большинстве других талантливых представителей „крепостной интеллигенции“; возможно, что он принадлежал нижегородскому помещику Алексею Егоровичу Крюкову (ср. „Нижегородские губернские ведомости“, 1858, часть неофициальная, № 7, 4 января, стр. 1). Любопытно припомнить, что декабрист Н. А. Крюков, нижегородец родом и едва ли не родственник владельца Панова, был

прекрасным скрипачем, вообще отличаясь музыкальностью (А. П. Беляев, „Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном 1805 — 1850", Спб, стр. 225, 325; воспоминания А. Ф Фролова — „Русская старина", 1882, № 6, стр. 702; воспоминания братьев Бестужевых под ред. М. К. Азадовского и И. М. Троцкого, М., 1930). Музыкальные строки, записанные Пановым в дневнике Шевченка, являются, повидимому, его собственным произведением.

[180] Джемс Уатт (1736—1819), обессмертивший себя усовершенствованиями в паровой машине, которые превратили ее в могучие орудие технического прогресса.

[181] Очень ценны эти строки Шевченка для характеристики его социально-политических взглядов; вполне верно учитывая огромную роль экономических факторов в революционной борьбе, он здесь в форме выражения своей мысли неожиданно совпадает с французским политическим деятелем Этьеном Кабе, с его трудом 1843 года. См. заметку А. Покровского „Шевченко и Кабе" — „Україна", 1927 г., кн. III, стр. 15—16.

[182] Жена А. А. Сапожникова, рожд. Козаченко (1838—1898) („Петербургский некрополь", т. IУ, стр. 29), дочь председателя астраханской казенной палаты Александра Петровича Козаченко (1808 - 1870) („Адрес-календарь", 1857 ч. II, стр. 3, 1858 — 1859, ч II, стр. 3; „Московский некрополь", т. II, стр. 58) и его жены Екатерины Никифоровны, рожд. Явленской (1819 — 1866) („Московский некрополь", т. II, стр. 58).

[183] „Исторический рассказ" известного историка и слависта Нила Александровича Попова (1833—1891), ученика С. М. Соловьева, „Королева Варвара" („Русский вестник", 1857, январь, кн. 1), легко написанный биографический очерк гр. Варвары Гаштольд, рожд. Радзивилл (1520?—1551), жены (с 1547 г.) короля польского Станислава II Августа. Романический характер этого необычного королевского брака привлекал к себе в течение многих лет усиленное внимание историков и поэтов.

[184] Так в подлиннике, вместо *Степаном Тимофеевичем*.

[185] Митрополит астраханский и терский Иосиф (род. 1597) был убит не самим Разиным, а его приверженцами, занявшими Астрахань, и убит тогда (11 мая 1671 года), когда сам Разин сидел в Москве, в тюрьме, ожидая казни,

186 Как известно, мать знаменитого историка, Татьяна Петровна (1 98—1875), („Петербургский некрополь“, т. II, стр. 493) происходила из крепостных. „Она не была счастлива в молодости; напротив, много перенесла горького,— оттого она недоверчива и скрытна“ („Автобиография Н. И. Костомарова“, М., 1922, стр. 39).

187 В подлинной рукописи дневника эта фраза не дописана.

188 Памятный Шевченку день „посвящения“ его в „солдатский сан“, когда он из III отделения был передан в распоряжение военного министерства (см. выше).

189 М. Г. Солонина, рожд. Гамалея (1829—1913?)—жена майора Захара Константиновича Солонина, ранее служившего в провиантской комиссии в Саратове, а в это время состоявшего „дистанционным смотрителем воронежских губернских магазинов“ („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 67; то же, 1858—1859 ч. I, стр. 69; таким образом неверно указание В. Л. Модзалевского („Малороссийский родословник“, т. IV, стр. 726), будто он умер в 1855 г. Передавший Шевченку привет от Солониной П. У. Чекмарев—отставной штаб-ротмистр, депутат саратовского депутатского дворянского собрания от Кузнецкого уезда („Адрес-календарь“, 1858 — 1859, ч. II, стр. 170; ср. там же, стр, 256). О нем нет сведений в редкой книжке [А. А. и В. И. Чекмаревых] „Род Чекмаревых“, Очаков 1913 (два выпуска).

190 „Певец кудрей и прочего тому подобного“ Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873), риторический поэт, пользовавшийся в тридцатых годах шумной известностью, а затем ставший популярным лишь в среде мелкого мещанства и замолкнувший к середине сороковых годов,—в эпоху „великих реформ“, выступил, после десятилетнего молчания, в новом стихотворном жанре—стал писать стихи на модные тогда „гражданские мотивы“, иногда с резкими сатирическими выпадами, может быть не всегда искренними и прочувствованными, но зато производившими впечатление на читателей, не всегда до конца разборчивых. Упоминаемый здесь Шевченком перевод „Собачьего пира“ из знаменитых „Ямбов“ поэта Огюста Барбье (1805—1882), появившихся во время французской революции 1830 года и отразивших революционное настроение тех годов, в свое время не мог появиться на страницах легальной печати, а в заграничных сборниках „запрет-

ных“ стихотворений печатался без указания фамилии переводчика. Текст его (не вполне точный) переписан в дневнике Шевченка под 16 сентября (см. стр. 173—174).

191 Иван Никифорович Явленский, несколько раз упоминающийся на дальнейших страницах дневника, — дядя жены А. А. Сапожникова Нины Александровны, сын упоминающейся в записи под 18 сентября Любови Григорьевны Явленской, бабки Н. А. Сапожниковой (ср. „Русский архив“, 1898, кн. I, стр. 237).

192 Знаменитого славянофила, поэта, публициста, историка и богослова (род. в 1804, ум. в 1860).

193 Стихотворение „России“, переписанное в дневнике Шевченка с измененным заглавием и с кое-какими отступлениями от подлинного текста, было написано Хомяковым в 1854 году, во время Крымской войны, и сразу же сделалось чрезвычайно популярным благодаря резкой и правдивой картине николаевской России; оно навлекло на автора настоящее гонение со стороны правительственных кругов и в русской легальной печати появилось лишь в 1860 году, после смерти Хомякова, разойдясь во множестве рукописных списков. В дневнике Шевченка оно переписано еще раз под 16 апреля 1858 года (см. стр. 282—283).

194 Дуня Гусиковская—предмет „первой любви“ поэта, тогда шестнадцатилетнего крепостного казачка, полька-швея.

195 Статья „Турецкая война в царствование Федора Алексеевича“ („Русский вестник“, 1857, март, кн. II и апрель, кн. 1) принадлежит перу не Нила Попова, работу которого о королеве Варваре читал эти дни Шевченко (см. выше), а его однофамильцу Александру Николаевичу Попову (1821—1877), автору многочисленных исторических трудов, из которых особенно известна большая, но к сожалению незаконченная монография по истории войны 1812 г.

196 Очерк „Матушка Мавра Кузьмовна“ напечатан в „Русском вестнике“, 1857, апрель, кн II (подп. *Н. Щедрин*).

197 Елисей Александрович Панченко состоял врачом гимназии и девичьего института в Астрахани („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 187 и 281; ср „Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 223, где неверно приведено отчество Панченка).

198 В Китае тогда происходило восстание так называемых тайпингов против манчжурской династии, ликвиди-

рованное правительством с помощью иностранных войск только через *пятнадцать* лет после его возникновения — в 1864 году. Прочтенный Шевченком фельетон об этом восстании („Новейшие сведения о действиях китайских инсургентов“) напечатан в „Русском инвалиде“, 1857, № 163, 31 июля.

[199] Мошны, где находилась „Святославова гора“, — местечко Черкасского уезда, Киевской губ., перешедшее к кн. Михаилу Семеновичу Воронцову (1782 - 1856), памятному по биографии Пушкина, как часть „приданого“ его жены Елисаветы Ксаверьевны, рожд. гр. Браницкой. Шевченко не прав, утверждая, будто Михаил Грабовский (1805 - 1863), польский историк, поэт, беллетрист и критик, известный своей дружбой с П. А. Кулишем, почти документально доказывал псевдо-народное предание о Святославовой горе. Наоборот, в своей статье „Парк князя М. С. Воронцова в Киевской губернии“ („Современник“, 1853 т. 38, апрель, кн. II, отд. VI, стр. 242 - 257), которую как раз имеет в виду Шевченко, Грабовский намекал, правда в очень деликатной форме, что нет никаких исторических данных, хотя бы основанных на народном предании, для того, чтобы называть холм, заключающий цепь Мошенских гор, Святославовою горою.

[200] Памятник автору „Истории государства российского“ симбирскому помещику, был поставлен в 1845 году по проекту тогда уже умершего С. И. Гальберга, идею которого разработали и осуществили по его черновым эскизам и проектам его лучшие ученики — А. А. Иванов (брат художника), П. А. Ставассер, Н. А. Рамазанов и К. М. Климченко Главная часть памятника — муза истории Клио — была вылеплена Ставассером и Ивановым.

[201] Петр Андреевич Ставассер (1816 — 1850) был учеником Академии художеств с 1827 года, а в 1841 году был послан на казенный счет за границу, где и умер от чахотки. Шевченко относился к нему с большой любовью.

[202] Его служебная биография, ничем не замечательная приведена в „Общем морском списке“, ч. IX, стр. 486 - 487.

[203] Имеется в виду Рудольф Павлович Ренненкампф, коллежский советник, председатель симбирской палаты уголовного суда („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 148).

[204] Следующая запись — под 11 сентября — в подлинной рукописи дневника сделана рукою В. В. Кишкина; она выдержана в разговорном стиле героя рассказа Г. Ф. Квит-

ка - Основьяненка „Конотопська відьма"—сотенного писаря Прокопа Григорьевича Пистряка.

[205] Так в подлиннике,—вероятно, вместо Терсис *Пастушков.*

[206] Об этом Медеме нет никаких сведений в „Общем морском списке".

[207] Т. е. памятник Г. Р. Державину, работы С. И. Гальберга (по проекту К. А. Тона), поставленный в 1847 году перед зданием университета, а в 1870 году перенесенный на Театральную площадь.

[208] Иван Яковлевич Посяда или Посяденко (род. 1823) и Георгий Львович Андрузский (род 1827)—два студента киевского университета, привлеченные по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе. Посяда, которому было вменено в наказание содержание под арестом, был переведен в казанский университет и по окончании его в 1847 году кандидатом был отправлен на службу в Рязанскую губернию (ср. А. И. Михайлов, „Преподаватели, учившиеся и служившие в имп. казанском университете (1804—1904)", ч. I, вып. 1, Казань, 1904, стр. 342 и 343). Андрузский, дававший на следствии путанные и противоречившие друг другу показания, „в уважении того, что слишком молод и летами и душою", также был переведен в казанский университет („с учреждением за ним и во время учения, и потом на службе строгого надзора"), но курса в нем не кончил и в 1848 году был определен на службу в Петрозаводск; в 1850 году у него был произведен обыск, результаты которого доказали, что он „остался при прежних преступных мыслях"; по „высочайшему повелению" от 5 апреля 1850 года он подвергся ссылке в Соловецкий монастырь „впредь до приказания", которое последовало лишь в 1855 году (М. А. Колчин, „Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI — XIX вв.—„Русская старина", 1888 №1, стр. 62; ср. Е. Бобров, „Из истории русской литературы и просвещения в XIX столетии", Варшава, 1909, стр. 29—33; А. С. Пругавин, „Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством", изд. 2-е, М. 1907; А. И. Михайлов, цит. соч. стр. 339).

[209] Леонтий Васильевич Дубельт (1792—1862)—памятный в летописях русского политического сыска управляющий III отделением (1839 — 1856), генерал-лейтенант корпуса жандармов, в двадцатых годах—пехотный офицер, „один из первых крикунов-либералов в Южной армии"

(Н. И. Греч, „Записки о моей жизни" под ред. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.-Лгр., 1930, стр. 459).

[210] Попов — Михаил Максимович (1800 — 1871), в молодости учитель пензенской гимназии, оставивший самые светлые воспоминания в одном из своих учеников—В Г. Белинском, а затем, с начала тридцатых годов — чиновник III отделения, достигший „степеней известных" и умерший в чине тайного советника („Петербургский некрополь", т. III, стр. 476). Его перу принадлежит статья о Пушкине, основанная на документах III отделения и появившаяся в печати после его смерти и без подписи („Русская старина" 1874, № 8, стр. 686—709), и ряд исторических очерков отчасти мемуарного, отчасти своеобразно-исследовательского характера в „Русской старине" (см. также его статью „Конец и последствия бунта 14 декабря 1825 года" в сб. „О минувшем", Спб, 1909, стр 110—121).—Дестрем — это, конечно, Нордстрем, Иван Андреевич; в пятидесятых годах, он, в чине статского советника, состоял в III отделении старшим чиновником особых поручений („Адрес-календарь", 1857, ч. I, стр. 12). На нем лежали цензорские функции, и он их выполнял весьма рьяно, находя, напр., неприличным для пьесы, идущей в императорском театре, заглавие „народной сцены" М. А Стаховича „Изба", переименованной им в „Святки" (А. А. Стахович, „Клочки воспоминаний", М, 1904, стр. 33 и 270—271).

[211] Капитан 2-го ранга М. П. Комаровский (1813—1884) в это время состоял командиром вновь построенного парохода „Астрахань" и вел его „от нижегородской машинной фабрики по реке Волге до Астрахани". 19 ноября 1857 года он уволился „для службы в коммерческих судах" (вероятно, имея в виду поступить на службу к А. А. Сапожникову). В 1862 года он был произведен в капитаны 1-го ранга, в 1870—в генерал-майоры и зачислен по резервному флоту; умер в чине генерал-лейтенанта („Общий морской список", ч. X, стр 370—371, „Петербургский некрополь", т. II, стр. 449).

[212] Автор этого стихотворения, не указанный в „заветной портфели" В. В. Кишкина, — Петр Лаврович Лавров (1823 — 1900), известный революционный деятель, социолог и философ. Из его длинного, в 288 строк, стихотворения в дневнике переписаны лишь первые 96 строк, которые Шевченко в своей приписке (см. ниже) назвал „превосходной прелюдией к превосходнейшему стихотворению". Пол-

ностью, по рукописи посланной самим автором Герцену, оно напечатано (без указания, конечно, фамилии Лаврова) в IV книжке „Голосов из России", Лондон 1857 (см. „Материалы для биографии П. Л. Лаврова под ред. П. Витязева, вып. I, Пгр. 1921, стр. 36). Не отмечая разночтений, которые дает переписанный в дневнике текст по сравнению с авторизованным текстом „Голосов из России", мы позволили себе лишь в трех местах вставить 5 строк, пропущенных Шевченком при переписке; они заключены в прямые [ ] скобки (мы пользовались вторым изданием IV вып. „Голосов из России", London, 1858, в котором лавровское стихотворение занимает стр. 39—49).

213 Граф Петр Андреевич Клейнмихель (1793 - 1869)— один из наиболее доверенных и близких к Николаю I лиц, выученик Аракчеева, получивший титул графа в 1839 г. Он был посвящен в самые интимные дела Николая и, твердо помня свой графский девиз: „усердие все превозмогает", „покрывал" его любовные похождения. „Говорят",—писал Н. А. Добролюбов в своей статье 1855 года „Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев": что графиня К. П. Клейнмихель надевала на себя особенное подвязное брюхо, чтобы показать, что она беременна; потом, когда наступало время родить для maitresse императора, графиня делалась больна, потом приносили к ней новорожденного, брюхо сбрасывалось, и миру являлся новый маленький quasi-Клейнмихель („Голос минувшего", 1922, № 1, стр. 65). Об этой же „помощи" верноподданного Клейнмихеля своему императору см. в „Полном собрании сочинений и писем А. И. Герцена", под ред. М. К. Лемке, т. X, стр. 307 и 312.

214 Начиная с этой строки до конца, стихотворение в подлинной рукописи дневника переписано рукою И. Н. Явленского.

215 Рашель — прославленная французская трагическая актриса, выступавшая, главным образом, в классической трагедии; она играла в Петербурге и в Москве в 1853 — 1855 гг. - Фреццолини—примадонна итальянской оперы, певшая в Петербурге в сезон 1847 - 1848 года.

216 Алексей Александрович Бобржицкий (или Бобржецкий), кандидат 1-го отделения философского факультета киевского университета (выпуска 1848 года — „Академические списки имп. университета св. Владимира" (1834—1884), стр. 92), состоял в нижегородской гимназии учителем

латинского языка („Адрес-календарь“, 1858—1859. ч. I, стр. 208). Его нужно отожествить с показанным в „Предварительном списке русских писателей и ученых“ С. А. Венгерова („Критико-биографический словарь...“, изд. 2-е, т. I, Пгр., 1915, стр. 66) А. Бобржицким, сотрудником „Русского педагогического вестника“, 1861 и „Литературной библиотеки“, 1867.

[217] Т. е. Николая I. О „тоновском“ стиле см. выше, стр. 142.

[218] Он был поставлен в 1826 году в так называемом Мининском саду.

[219] С Н. А. Брылкиным (ум. 1888) („Петербургский некрополь“, т. I, стр. 302) и его семьей Шевченко очень сблизился за время пребывания в Нижнем-Новгороде; в дальнейших записях дневника постоянно встречаются упоминания об этих „искренних друзьях“ поэта.

[220] „Голоса из России“—непериодические сборники, которые Герцен начал издавать в Лондоне с половины 1856 года.

[221] П. А. Овсянников,—архитектор по специальности, имевший отношение к пароходству „Меркурий“, также как и Брылкин сделался одним из близких приятелей поэта. См. о нем дальнейшие упоминания в дневнике.

[222] Монография Костомарова „Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России“ печаталась в ряде номеров „Отечественных записок“, 1857 (№№ 1 – 7). Отдельное издание ее вышло только в 1859 году.

[223] Комедия Островского, напечатанная в 1 кн. „Русской беседы“ 1857, была запрещена тогда к представлению во всех театрах за резкое осуждение чиновничьего быта и впервые увидела свет рампы (на сцене Александринского театра) 27 сентября 1863 года (Собр. соч. Островского, под ред. М. И. Писарева, т. II, стр. 431—432).

[224] О нем смотри ниже—в записи под 1 октября.

[225] „Записки маркера“ Толстого появились в I кн. „Современника“, 1856 за подписью *Л. Н. Т.*, но читатели тех годов, внимательно следившие за текущей литературой, уже хорошо знали, кто скрывается под этими тремя буквами.

[226] Как можно судить по записи дневника под 12 января 1858 года (ниже, стр. 237) упоминаемый здесь И. П. Грасс был женат на *сестре* Н. А. Брылкина.

[227] Старшим полицеймейстером в Нижнем-Новгороде был в это время полковник Павел Вильгельмович Лаппо-

Страженецкий (или Староженецкий) („Адрес-календарь“, 1857 ч. II, стр. 93; 1858—1859 ч. II, стр. 107; 1859—1860, ч. II, стр. 238). Положительный отзыв о нем Шевченка вполне противоречит той характеристике, какую дает этому „бравому и любезному гвардейскому художнику“ талантливый актер А. П. Ленский, впервые встретившийся с ним в Нижнем весною 1865 года: „известный взяточник и дантист, сворачивающий скулы и правому, и виноватому. Впоследствии, встречаясь с ним, я всегда выносил тяжелое впечатление от этих бесцветных, холодных глаз с желтоватыми белками; от этих, словно лязгающих при разговоре, крупных желтых зубов из-под желтых же усов с подусниками и сильно двигающегося четырехугольного подбородка. Что-то холодное и жестокое чудилось в этом человеке. Впоследствии, читая щедринское описание градоначальников города Глупова, таким я представлял себе Угрюм-Бурчеева“ („Русская мысль“, 1909, № 4, отд. II, стр. 15). Очевидно, этого полковника, умевшего быть с кем нужно предупредительным и обходительным, следует отожествить с показанным в „Петербургском некрополе“ (т. II, стр. 610) Павлом Васильевичем Лаппо Страженецким, умершим 3 января 1882 года и погребенным на католическом кладбище Выборгской стороны.—Доктор Гартвиг, оказавшийся столь же любезным, как и полицеймейстер,—Август Генрихович, лекарь, служивший по министерству внутренних дел („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 65). Его фамилию Шевченко пишет не во всех случаях правильно.

228 Предположение Шевченка оказалось верным: в Оренбург ему возвращаться не пришлось, так как нижегородская полиция признала его „немогущим следовать в обратный путь, впредь до совершенного выздоровления“ (Д. У. Яворницький, „Матеріали до биографии Т. Г. Шевченка“, Катеринослав, 1909, стр. 43). Разрешения на приезд в Петербург он дождался в Нижнем, хотя оно последовало очень нескоро (см. ниже, стр. 258).

229 Эта драма—первое драматическое произведение известного впоследствии беллетриста и драматурга Алексея Антиповича Потехина (1829—1908); она впервые появилась на петербургской сцене 29 апреля 1854 года.

230 Племянница знаменитого трагика, Мария Васильевна.

231 Евгений Климовский (настоящая фамилия Оглоблин), род. в 1824 году; довольно известный провинциальный актер

той эпохи; в 1854 года он недолгое время служил в Петербурге, затем выступал в Костроме, а с лета 1857 года обосновался в Нижнем-Новгороде. Он был автором популярного в те годы романса „Хуторок“ и некоторых других вокальных произведений. Умер в семидесятых годах. Оценку его как актера Шевченко впоследствии несколько изменил—в лучшую сторону (см. стр. 235)

232 „Переделка“ с французского Павла Степановича Федорова (1803—1879), известного водевилиста николаевских времен, с 1853 года начальника репертуарной части петербургских театров. Водевиль этот шел в Петербурге впервые в сезон 1847—1848 года (ср. „Каталог одесской городской публичной библиотеки, т. IV, Одесса, 1904, стр. 114, № 1046).

233 В числе чиновников особых поручений при нижегородском военном губернаторе А. Н. Муравьеве состоял Владимир Николаевич Якоби („Адрес-календарь“, 1857 ч. II, стр. 92; 1858—1859, ч. II, стр. 106),—очевидно сын этого представителя либеральной нижегородской интеллигенции.

234 Джиованни-Франческо Барбиери (1591—1666), прозванный Гверчино (т. е. косоглазый),—итальянский художник болонской школы, последователь Гвидо Рени. Доменикино Цампиери (1583—1641) — художник той же школы, работы которого отличались красотою своей композиции.

235 Генерал Веймарн—генерал-майор Александр Владимирович Веймарн, с 1851 года командир 4-го учебного карабинерного полка (стоявшего в Нижнем-Новгороде), принадлежавший, как можно судить по записям дневника Шевченка, к либеральной части нижегородского общества. 3 июля 1858 г., когда поэт жил уже в Петербурге, Веймарн был „зачислен по армейской пехоте и в запасные войска“, а в 1866 году и совсем уволен в отставку— с мундиром и пенсией. Год его смерти нам неизвестен (род. в 1814 г., см. Н. М. Затворницкий, „Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 по 1902 г. включительно“. Спб., 1909, стр. 597—598).— „Полицеймейстер № 2“— штабс-капитан Петр Дмитриевич Кудлай, младший полицеймейстер Нижнего, бывший до этого городничим в

г. Судогве Владимирской губ. („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 19 и 201; то же 1859—1860 г., ч. II, стр. 238).

[236] О смерти этого Петровского см. запись в дневнике под 30 марта 1858 году (см. стр. 273).

[237] Запись о событиях этого дня сделана не Шевченком, а слугою П. А. Овсянникова, Михайлом,—чрезвычайно безграмотно, с переиначенными до неузнаваемости словами и т. п. Нами дана исправленная редакция.

[238] Август Коцебу (1761—1819)—плодовитый немецкий писатель, драматические произведения которого пользовались большим успехом у невзыскательной публики благодаря умению автора подделываться под „требования момента“ и вкусы своих „потребителей“; с легкой руки сатирика кн. Д. П. Горчакова его многочисленные произведения получили название „коцебятины“ (С. П. Шестериков, „Из неизданных стихотворений Д. П. Горчакова“ „Известия по русскому языку и словесности“, т. I, вып. 1, Лгр. 1928, стр. 170). Долгое время живший в России, Коцебу состоял тайным агентом русского правительства в Германии и был убит студентом Зандом, воспетым Пушкиным в стихотворении „Кинжал“ (1821). Драма Коцебу „Сын любви“, написанная в 1791 году, в России была впервые поставлена в 1803 году (А. Вольф. „Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года“, ч. II, Спб. 1877, стр. XXIX).

[239] Это было одно из первых выступлений на сцене Екатерины Николаевны Васильевой, рожд. Лавровой (1829—1877), жены популярного московского актера Сергея Васильевича Васильева (1827—1862). Она только что кончила московскую театральную школу, почему Шевченко и назвал ее по ошибке „артисткой московского театра“.

[240] Актер Платонов играл на сцене нижегородского театра с 1855 года.

[241] Популярный в те годы водевиль, „переделанный“ с французского П. С. Федоровым; в Петербурге впервые шел в 1841 году.

[242] Константин Антонович Шрейдерс (ум. 1894), в ту пору коллежский секретарь, асессор нижегородской казенной палаты („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 93; ср. то же на 1858—1859 год, ч. II, стр. 106, 107, 251)—один из добрых друзей Шевченка, часто поминающийся на страницах дневника поэта за нижегородский период

его жизни. Не всегда точные, анекдотического характера, воспоминания Шрейдерса о Шевченке известны в печати по записи Г. И. Демьянова („Исторический вестник“ 1893, № 5, стр. 336—344; ср. там же, № 8, стр. 881—882 и „Нижегородские губернские ведомости“ 1893, №№ 30 и 31). Укажем кстати, что имени Шрейдерса, „бывшего студента киевского университета“ — по словам Шевченка, нет в „Списке студентов и посторонних лиц, удостоенных степени кандидата и звания действительного студента в имп. университете св. Владимира“, помещенном в „Академических списках университета св. Владимира (1834—1884)“, Киев, 1884, стр, 85 и сл.

243 Барон Федор Федорович Торнау (1810—1890)—полковник лейб-гвардии кирасирского „его величества“ полка („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 87), состоявший в 1856—1875 гг. военным агентом в Вене, автор интересных воспоминаний („Исторический вестник“, 1897, № 1, стр. 50—82; № 2, стр 419—447); в 1834—1836 гг. он был послан в Абхазию „для тайного обозрения горских аулов“ и „взят в плен горцами, у которых оставался до 1838 года“ („Список генерального штаба“, Спб. 1882, стр. 9). Пребывание в плену описано им в специальной статье: „Воспоминания кавказского офицера“ („Русский вестник“ 1864, №№ 9—12), переведенной на немецкий и французский языки (о нем см. у Д. Д. Языкова, „Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц“, вып. X, стр. 76).

244 Нижегородским губернатором был в это время (с 10 сентября 1856 года по 16 сентября 1861 года) „раскаявшийся декабрист“ генерал-майор Александр Николаевич Муравьев (1792—1863), в молодости — один из основателей „Союза Спасения“ и член „Союза Благоденствия“, которому „по уважению совершенного и искреннего раскаяния“ первоначальное наказание — шестилетняя каторжная работа — было заменено ссылкой в Сибирь без лишения чинов (он был полковником генерального штаба) и дворянства. Иркутский городничий в 1828 году, он медленно и упорно преодолевал всевозможные препятствия на пути своего служебного продвижения и в конце концов достиг высоких ступеней иерархической лестницы, выделяясь среди николаевских „сатрапов“ оттенком некоторого либерализма — остатком свободолюбивых увлечений молодости. См. о нем еще, ниже, стр. 213 и 254.

245 С Егором Петровичем (а не наоборот, как у Шевченка) Ковалевским (1811—1868), состоявшим начальником азиатского департамента министерства иностранных дел с 1856 г., Шевченко потом был в близких и сердечных отношениях. Как председателю Литературного фонда, Ковалевскому пришлось в 1860 году выступать в деле освобождения сестры и двух братьев Шевченка от крепостной зависимости (они были крепостными помещика В. Э. Флиорковского — „по покупке от Энгельгардта").

246 Речь идет о книге нижегородского историка-краеведа Николая Ивановича Храмцовского (1818—1890) „Краткий очерк истории и описание Нижнего-Новгорода", первая часть которой („Очерк истории") была издана в Нижнем в 1857 году (вторая часть вышла в 1859 г.).

247 Второе издание брошюры Герцена вышло в Лондоне в 1857 году (см. Полное собрание сочинений и писем Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. VII, стр. 263 и 495).

248 Повидимому, жена секретаря нижегородской казенной палаты Михаила Ивановича Попова („Адрес-календарь", 1857, ч. II, стр. 93; 1858—1859, ч. II, стр. 106, 251), с которым Шевченко вскоре сошелся несколько ближе (см. запись под 1 ноября — ниже, стр. 208).

249 Четырнадцатилетняя актриса нижегородского театра Екатерина Борисовна Пиунова (1843—1909), о которой Шевченко упоминает в своем дневнике впервые в этой записи, — героиня его неудачного романа, все перипетии которого отражены на страницах дневника. Впоследствии она сделалась довольно известной актрисой, преимущественно на бытовые роли. Ее воспоминания, не слишком достоверные в отношении Шевченка, были напечатаны Н. Ф. Юшковым в „Волжском вестнике", 1892, №№ 300—303 и тогда же изданы отдельным оттиском: Н. Ф. Юшков, „К истории русской сцены. Е. Б. Пиунова-Шмидгоф в своих и чужих воспоминаниях", Нижний-Новгород, 1889 (частичная перепечатка—в „Артисте", 1890, № 7 (апрель), стр. 176—180). (См. о ней еще воспоминания А. И. Шуберт „Моя жизнь", под ред. А. Дермана, Лгр., 1929).

250 Опера знаменитого итальянского композитора Джоакино Россини (1792—1868), автора „Севильского цирульника", „Отелло", „Семирамиды" и ряда других опер.

251 Большой театр в Петербурге помещался в здании, которое ныне занято консерваторией (против б. Марин-

ского театра). В 1889 году здание Большого театра было передано консерватории и в 1891—1896 гг. подверглось соответствующей, радикальной перестройке.

[252] А. Н. Поповой.

[253] Известный педагог и этнограф Виктор Гаврилович Варенцов (1825—1867), окончивший казанский университет в 1845 году кандидатом русской словесности, был инспектором дворянского института в Нижнем-Новгороде очень недолго — с 16 марта 1857 года по 21 ноября того же года, когда был назначен исправляющим должность адъюнкта по кафедре русской словесности казанского университета. Он не мог быть „товарищем по университету Н. И. Костомарова“, так как последний был питомцем харьковского университета. О В. Г. Варенцове см. статью Б. Л. Модзалевского „К биографии В. Г. Варенцова“ (письма его к Л. Н. Модзалевскому) в „Русской старине“, 1904, № 2 (февраль), стр. 445—451.

[254] Об этом труде Кулиша см. выше, стр. 38.

[255] Этот слух был неверен.

[256] „Le Nord“ — газета, издававшаяся с 1855 года в Брюсселе и являвшаяся органом русского правительства; ее зависимость от Петербурга тщательно скрывалась и маскировалась, но это была „тайна Полишинеля“, известная всем.

[257] Т. е. Наполеон III, ставший императором в результате устроенного им 2 декабря 1851 года государственного переворота. Шевченко называет его именем французского разбойника XVIII в. Картуша (Луи-Доминика-Бургиньона, 1693—1721), атамана разбойничьей шайки в Париже и его окрестностях, ставшего почти легендарным, благодаря своим „подвигам“.

[258] Слух об издании „Посредника“ был только слухом, не имевшим под собою реальной почвы. Сазонов, которого называли редактором этого нелепого по своим задачам журнала (быть посредником между Герценом и русским правительством?!), — вероятно. Николай Иванович (1815—1862), друг Герцена в университетский период его жизни, впоследствии эмигрант, близкий к радикальным кругам французской республики; в 1857 году, как раз когда ходили слухи о его новом антиправительственном издании, он предпринял шаги к возвращению на родину и примирению с русским правительством. О нем см. в статье

П. Е. Щеголева „Пушкин и Тардиф" в журнале „Звезда", 1930, № 7, стр. 234—239.

[259] Александр Егорович Тимашев (1818—1893), состоявший начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III отделением с 26 августа 1856 года по 18 апреля 1861 года (а в 1868—1878 гг. бывший министром внутренних дел), был женат с 1848 г. на Е. А. Пашковой (своей двоюродной сестре), дочери А. В. Пашкова и его жены Елисаветы Петровны, рожд. Киндяковой (кн. А. Б. Лобанов-Ростовской, „Русская родословная книга", изд. 2-е, т. II, стр. 80, 82; „Пушкин и его современники", выпуск XXXVIII—XXXIX. Лгр., 1930, стр. 220—221. Ср. „Сборник биографий кавалергардов", 1826—1908", Спб., 1908, стр. 134—135).

[260] И. А. Анненков (1802—1870), „бывший лейб-гвардии кавалергардского полка поручик", приговоренный к каторжным работам, а затем, с 14 декабря 1835 года, живший на поселении в Сибири. После амнистии декабристам, был назначен 21 июня 1857 года „состоять при начальнике Нижегородской губернии сверх штата" („Воспоминания" Полины Анненковой, под ред. С. Гессена и Ан. Предтеченского, М. 1929, стр. 262; ср. „Адрес-календарь", 1858—1859 ч. II, стр. 106). Повидимому, он находился в „свойстве" с Н. К. Якоби, нижегородским знакомым Шевченка: его мать—Анна Ивановна —дочь иркутского генерал-губернатора Ивана Варфоломеевича Якоби („Алфавит декабристов" под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, Лгр. 1925, стр. 269).

[261] Оба названные Шевченком лица — характерные представители николаевской эпохи. Александр Иванович Чернышев (1786—1856)—военный министр в 1832—1852 гг., с 1848 года—председатель государственного совета, один из доверенных сотрудников Николая I, получивший в 1849 году титул светлейшего князя. В процессе декабристов (он был членом „следственной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах") он особенно „прославился" пристрастным отношением к своему родственнику графу З. Г. Чернышеву, которого старался всячески запутать и „утопить" в надежде воспользоваться на правах родственника его большим состоянием. „Из членов тайной следственной комиссии,—вспоминал впоследствии декабрист М. А. Фонвизин,—всех пристрастнее и недобросовестнее поступал бывший после военным министром князь Чернышев:

допрашивая подсудимых, он приходил в яростное исступление, осыпал их самыми пошлыми ругательствами"... („Общественное движение в России в первой половине XIX века", т. I, Спб, 1904, стр. 198). Как человек Чернышев вообще пользовался плохой репутацией, и независимые представители аристократического Петербурга отказывались принимать его у себя в качестве гостя („Воспоминания графа В. А. Соллогуба", Спб., 1887, стр. 125—126). Василий Васильевич Левашев (1783—1848), получивший графский титул в 1833 году, начал свою карьеру на военной службе еще при Александре I, но упрочилась она в день 14 декабря 1825 года; он пользовался полным доверием Николая и производил по его поручению первые допросы арестованным декабристам. И. Д. Якушкин передает его фразу при одном из таких допросов: „Я приступаю к обязанностям судьи и скажу вам, что в России есть пытка" („Записки", М. 1926, стр. 76). Он был членом следственной комиссии и верховного уголовного суда над декабристами. В 1831 году началась его административная карьера (он был назначен временным военным губернатором Подольской и Волынской губерний), которая закончилась председательствованием в государственном совете. „Отличительными чертами графа, при усердном и безотчетном исполнении воли царской, были: тираннический деспотизм над всем, от него зависевшим, и, несмотря на очень ограниченную способность к делу, безмерное тщеславие" („Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа", — „Русская старина" 1900, № 3, стр. 583. Ср. „Сборник биографий кавалергардов 1800—1826", Спб., 1906, стр. 95—103).

262 Виднейший декабрист Николай Иванович Тургенев (1789—1871), живший с 1819 года за границей и после 14 декабря сделавшийся эмигрантом, впервые приехал в Россию после амнистии декабристам 11 мая 1857 года; он пробыл на родине недолго (до 8-го июля того же года), но после этого приезжал еще два раза („Алфавит декабристов", под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, стр. 407). Книга, о которой говорит Шевченко в своей записи, — очевидно, широко известная работа Тургенева полумемуарного, полупублицистического характера „La Russie et les Russes", вышедшая в Париже за десять лет перед тем (1847) в трех томах.

[263] Великой княгини Марии Николаевны (1819—1876), дочери Николая I, бывшей в 1852 году президентом Академии художеств.

[264] Об этой „землячке-литвинке“ Елене Скирмунт см. запись под 15 ноября 1857 года (ниже, стр. 215).

[265] См. запись под 10 февраля 1858 года (ниже, стр. 250).

[266] Madame Гильде неоднократно упоминается на дальнейших страницах дневника, но относительно этой личности и ее „очаровательного семейства“ в полной мере — „комментарии излишни“.

[267] „Матрос или старая погудка на новый лад“ — так первоначально называлась повесть Шевченка на русском языке „Прогулка с удовольствием и не без морали“, впервые появившаяся в 1887 году в „Киевской старине“ (№№ 6—9. Также „Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке“, Киев, 1888, стр. 425—562). См. ниже запись под 25 октября, стр. 204—205.

[268] Пожар этот уничтожил ряд построек нижегородской ярмарки: „театр, цирк, 8 балаганов, в которых помещались различные комедианты, 1 кондитерскую, 8 трактиров, 2 фотографических заведения, 1 аптеку, 12 харчевень, 7 постоялых дворов, 7 маклерских контор, контору акцизно-откупного комиссионерства, 2 портерных, 21 мелочные лавки, 3 питейных выставки, 7 хомутных балаганов, 1 пикет, 1 гауптвахту и ряды сырейный и экипажный. Разломано для прекращения пожара 12 мелочных лавочек, балаган, где помещались во время ярмарки портные, хомутный балаган и часть моста через обводный канал“ („Нижегородские губернские ведомости“, 1857, часть неофициальная, № 45, 9 ноября, стр. 181 — 183). Все эти постройки были деревянные, благодаря чему пожар был, вероятно, действительно великолепен.

[269] Правителем канцелярии нижегородского военного губернатора А. Н. Муравьева состоял Андрей Кириллович Кадницкий („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 92; 1858 — 1859, ч. II, стр. 106), фамилию которого Шевченко искажает и в дальнейших записях своего дневника.

[270] Окончательное заглавие было несколько изменено.

[271] Григорий Федорович Квитка (1778—1843) — популярный в свое время русско-украинский драматург и беллетрист, писавший под псевдонимом *Грицько Основьяненко* (ср. выше, стр. 5).

[272] В послесловии к своему роману „Черная Рада“: „Об отношении малороссийской словесности к обще-русской. Эпилог к „Черной Раде“ („Русская беседа“, 1857, т. III, № 7, стр 123—145), Кулиш, не называя Шевченка по имени, дал обширную, хотя и несколько одностороннюю характеристику его творчества, где, между прочим, назвал его „величайшим талантом южно-русской литературы, певцом людских неправд и собственных горячих слез“ (стр. 137—140). Хронологически это была одна из самых ранних печатных восторженных оценок поэзии Шевченка.

[273] Патриарх Никон (1605—1681) вошел в историю благодаря проведенной им реформе по исправлению богослужебных книг (вызвавшей возникновение раскола) и своей борьбе с царем за первенствующее значение в государстве церковной власти. Единоборство с царем кончилось для него неудачно: в 1666 году он был лишен патриаршего сана.

[274] Повидимому, кн. Владимир Александрович Трубецкой (1825—1879), председатель нижегородского гражданского суда, коллежский советник („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 93), бывший в 1864—1871 гг. воронежским губернатором [В. К. Трутовский], „Сказания о роде князей Трубецких“, М, 1891, стр. 260; „Исторические данные об образовании губерний, областей, градоначальств и других частей внутреннего управления империи...“ Спб., 1902, стр. 52) и памятный по биографии Н. А Добролюбова, нижегородца родом (см. книгу [Н. Г. Чернышевского], „Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1851—1862 годах“, т. I, М. 1890, passim). Шевченко, конечно знал в годы своей ссылки и другого представителя семьи Трубецких - кн. Сергея Васильевича (1815—1859), приятеля Лермонтова, блестящего кавалергарда в молодости, невольного и счастливого соперника Николая I на пути его романических похождений, посаженного разгневанным царем в Алексеевский равелин Петропавловской крепости (в июне 1851 года) за увоз „чужой жены“ и разжалованного в рядовые. В мае 1853 года он был произведен в унтер-офицеры с переводом в Оренбургские линейные батальоны, где пробыл до 20 ноября 1855 года (когда был уволен в отставку) — и где, вероятно, встречался с Шевченком. См. о нем статью П. Е. Щеголева „Любовь в равелине“ — „Былое“, 1920, № 15 и в его же книге „Алексеевский ревелин“, М. 1929, стр. 7—28.

[275] „В нижегородских губернских ведомостях“, единственной тогдашней нижегородской газете, репертуар местного театра не печатался, так что нельзя сказать, о какой „кровавой драме“ говорит в своей записи Шевченко.

[276] „Митрополит киевский и всея Руси“ Алексей (Плещеев) занимал митрополичью кафедру с 1354 года до самой смерти в 1378 году.„ Святым“ признан в 1431 году.—[Н. Д. Н. Н. Дурново], „Иерархия всероссийской церкви от начала христианства в России и до настоящего времени, М., 1892, стр. 9).

[277] М. А. Дорохова (ум. 1867), имя которой встречается и на дальнейших страницах дневника Шевченка, — была начальницей нижегородского Мариинского института в 1856—1864 гг. Дочь камергера А. А. Плещеева, известного своей дружбой с В. А Жуковским, она с 1852 года вдовела после Руфина Ивановича Дорохова, сына упоминавшегося выше (стр. 320) „генерала 1812 г.“, человека буйного и дикого характера, увековеченного Львом Толстым в жестоком и властном образе Долохова „Войны и мира“; Р. И. Дорохов был убит на Кавказе, в бою с горцами. „Я Дорохова лично мало знаю, — писал Жуковский генералу Н. Н. Раевскому в 1838 году, ходатайствуя перед ним за разжалованного в солдаты Дорохова:—но знаю коротко милую добрую жену его; примите к сердцу ее несчастия“ („Архив Раевских“, под ред. Б. Л Модзалевского, т. II, стр. 413). „О доброте“ Дороховой и ее „благоволении ко всем“ писал в одном из своих писем 1858 года декабрист И. И. Пущин, хорошо знавший эти стороны ее характера („Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири“, под. ред. С. Я. Штрайха, М., 1925, стр. 253). Близостью же ее к кругу декабристов объясняется тот факт, что лично ей незнакомый Г. С. Батеньков в свое двухдневное пребывание в Нижнем-Новгороде в 1856 году останавливался в ее доме („Литературный Вестник“, 1901, кн. VIII, стр. 305).

[278] „Незабвенный друг“ Шевченка княжна В. Н. Репнина (1808 - 1891), дочь видного и просвещенного деятеля александровских времен кн. Н. Г. Репнина (женатого на внучке последнего гетмана гр. К. Г. Разумовского), сыграла в жизни поэта до ссылки роль преданной и заботливой сестры. Они познакомились в 1843 году и скоро их отношения перешли в тихую и теплую дружбу—не без романического оттенка влюбленности; ссылка поэта прервала этот намечавшийся роман на первых же, наиболее поэтических

страницах, а оживленная переписка, возникшая между ними, прервалась после второй, еще более тяжелой ссылки поэта в 1850 году. Репнина. по ее собственному свидетельству, „не могла продолжать утешать его письмами за все время его десятилетнего изгнания, потому что получила грозное предупреждение от гр. А. Ф. Орлова („Русский архив“, 1887, кн. II, стр. 258). Встреча Шевченка с Репниной во время его проезда через Москву в 1858 году (см. стр. 264) не оживила их отношений, загубленных длинным рядом лет каторжной жизни Шевченка.

[279] Из „Мертвых душ“ Гоголя (кучер Чичикова).

[280] О З. В. Туре, стихотворения которого печатались в „Отечественных записках“ в 1856—1857 гг., нам не удалось найти каких-либо сведений. „У нас появился новый талант: стихотворец г. *Тур*“, — сообщал И. И. Панаев В. П. Боткину 26 апреля 1856 года: „Стишки его точно недурны, но еще молоды“ („Тургенев и круг „Современника“, Агр., 1930, стр. 375; ср. там же, стр. 300).

[281] Пропущено Шевченком при переписывании стихотворения из „Отечественных записок“.

[282] „Сочинения и письма Н. В. Гоголя“, шесть томов, Спб., 1857 — издание, в котором впервые были собраны в двух последних томах письма Гоголя к разным лицам, благодаря чему оно сохраняло научное значение в течение многих лет до 1901 года, когда появилось четырехтомное издание писем Гоголя под редакцией В. И. Шенрока.

[283] Федор Иванович Иордан (1800—1883) выдающийся русский гравер, с 1855 года профессор Академии художеств по гравировальному классу; ректор Академии с 1871 года, „по части живописи и скульптуры“. Его перу принадлежат обширные и любопытные воспоминания, опубликованные в „Русской старине“, 1891, а в 1918 вышедшие отдельным изданием. В них, к сожалению, нет никаких упоминаний о Шевченке. — В своем отзыве о портрете Гоголя, гравированном Иорданом, Шевченко исходил из соображений художественно-технического порядка; сам Гоголь считал этот портрет наилучшим и обращался к читателям, желавшим иметь его изображение, с просьбой „покупать только тот [портрет], на котором будет выставлено: *Гравировал Иорданов*“ (соч. Гоголя, т. VII, Спб., 1900, стр. 13).

[284] На обложке „Полярной звезды“ (во всех книгах) помещены в медальоне профильные портреты пяти казненных декабристов — П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, М. П. Бестужева-Рюмина, С. И. Муравьева-Апостола и П. Г. Каховского, а под ним—на переднем плане топор и плаха, а вдали — мрачный силуэт Петропавловской крепости. Изображение Бестужева, кстати сказать, является фантазией художника, так как его достоверный портрет в виде карандашной зарисовки во время допроса в следственной комиссии, стал известен лишь в 1923 году. (П. Щеголев, „К иконографии декабристов“ — „Музей революции“, I, Пгр. 1923, стр. 65).

[285] Николай I.

[286] Внебрачная дочь декабриста Ивана Ивановича Пущина (1798—1859), прославленного своей дружбой с Пушкиным, Анна родилась в Ялуторовске 8 сентября 1842 года и 23 октября 1860 года вышла замуж в Нижнем-Новгороде за А. А. Палибина; умерла она в начале 1863 г. („Алфавит декабристов“, под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, стр. 381; ср. ниже, стр. 244). Пущин ее очень любил, сам заботился о ее воспитании в раннем детстве и расстался с ней лишь в 1855 г., разумно согласившись на предложение Дороховой взять ее к себе на воспитание. Дорохова же называла ее Ниночкой, вероятно, в память своей рано умершей дочери Анны Руфиновны (1831—1849. См. „Петербургский некрополь“, т. II, стр. 81).

[287] Осуждение Шевченком Пущина очень характерно для автора „Катерины“, но Пущин не был исключением среди декабристов: внебрачные связи декабристов — явление общего порядка...

[288] История высылки из Петербурга известного мистика-масона Александра Федоровича Лабзина (1766—1825), вице-президента Академии художеств с 1818 года, изложена в дневнике Шевченка не вполне точно — в той версии, которая дана также в „Былом и думах“ Герцена (Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцина, под ред. М. К. Лемке, т. XII, стр. 50). В действительности же Лабзин в заседании Совета Академии (13 сентября 1822 года) возражал против избрания в „почетные любители“ трех сановников: министра финансов гр. Д. А. Гурьева, министра внутренних дел гр. В. П. Кочубея и „неудобозабываемого“ „царева друга“ гр. А. А. Аракчеева. Он подвергся высылке в г. Сенгилей Симбирской губ., где первое время жил с женой

в холодной избе, испытывая всевозможныя лишения: только в половине мая 1823 года ему было разрешено переселиться в Симбирск, где он вскоре сблизился с лучшими представителями местного общества (см. статью Б. Л. Модзалевского в „Русском биографическом словаре", Лабзина — Ляшенко, Спб., 1914, стр. 9 и у Н. К. Шильдера, „Имп. Александр I, его жизнь и царствование", т. IV, стр. 267—268). Вообще же его дерзкое выступление послужило лишь удобным предлогом для реакционных кругов правительства Александра I, вдохновляемых входившим тогда в силу изувером архимандритом Фотием, отделаться от наиболее яркого и независимого представителя мистицизма, уже давно представлявшегося некоторым сановникам „опасным вольнодумцем".

289 В упоминающемся Шевченком рассказе Герцена в „Былом и думах" (Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XII, стр. 52—54) речь идет об известном романе декабриста Василия Петровича Ивашева (1794—1840) и гувернантки семьи Ивашевых Камиллы Ледантю (1808—1839), последовавшей за ним в Сибирь и там с ним обвенчавшейся. История жены И. А. Анненкова Полины Гебль (1800—1876), также последовавшей за своим женихом в ссылку, сходна в общих чертах с перипетиями этого романа, чем и объясняется ошибка Шевченка, спутавшего Полину Гебль с Камиллой Ледантю.

290 Полуфантастический роман Александра Дюма (отца) об Анненковой „Le maître d'armes", в котором по отзыву самой Анненковой „больше вымысла, чем истины" (Воспоминания Полины Анненковой, под ред. С. Гессена и Ан. Предтеченского, М., 1929, стр. 56; ср. стр. 269—270), появился на русском языке в сокращенном переводе Г. И. Гордона, лишь в 1925 г. („Учитель фехтования. Исторический роман из времен декабристов", изд-во „Время", Лгр., 1925).

291 Старушки сообщили Шевченку неверные сведения о Пущине: он был женат (с мая 1857 года) на вдове (вовсе не богатой) своего друга декабриста Фонвизина — Наталье Дмитриевне, рожд. Апухтиной (1805—1869), с которой его давно связывали дружеские чувства, и в это время мирно проживал в имении своей жены в Бронницком уезде Московской губ., не занимая никаких „видных мест".

292 „Кирасирский юнкер" Демидов — нижегородский помещик (погребенный в Крестовоздвиженском монастыре

в Нижнем-Новгороде), Денис Алексеевич Демидов (1813-1876), произведенный 20 февраля 1839 года из юнкеров лейб-гвардии Кирасирского полка в корнеты, а 10 ноября 1840 года переведенный в гусарский „его величества“ полк. ([М. И.] Марков, „История лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка“, Спб., 1884, прилож., стр. 130). Д. А. Демидов был женат первым браком (с 1 июля 1839 года) на Марии Федоровне Миркович (1819—1854); она погребена „в церкви села Сиворицы, под Гатчиной, в бывшем имени Демидовых“ („Федор Яковлевич Миркович. 1789—1866. Его жизнеописание...“, Спб., 1889, стр. 91, 124, 349. Ср. К. Головщиков „Род дворян Демидовых“, Ярославль, 1881, стр. 252—253; кн. А. Б. Лобанов-Ростовский, „Русская родословная книга“, изд. 2-е, т. I, Спб., 1895, стр. 185; [П. А. Демидов] „Родословная рода Демидовых, их благотворительная деятельность и медали в память их рода“, Житомир, 1910, стр. 35—36). Портрет М. А. Демидовой работы Шевченка не сохранился, как не сохранились многие произведения Шевченка-живописца и портретиста.

293 Этот рассказ противоречит всем тем материалам, какими мы располагаем для характеристики отношения нижегородского губернатора Муравьева к каторжному положению крепостных крестьян; в тяжбах крестьян с помещиками он всегда стоял на стороне первых,—и недаром из крепостнической среды против него выпускались памфлеты и эпиграммы в роде следующей:

Ты популярности искал,
Свободы дух распространял,
Прогрессом бредил и народ—
На бунт подталкивал вперед.

(„Русская старина“, 1898, № 7, стр. 91). Ср. запись в дневнике под 19 февраля 1858 (см. стр. 254).

294 Лев Михайлович Жемчужников (1828—1912)—живописец и гравер, племянник „оренбургского сатрапа“ гр. В. А. Перовского, двоюродный брат поэта гр. А. К. Толстого, ставший впоследствии одним из близких друзей Шевченка; автор содержательных и любопытных воспоминаний, изданных лишь частично („Мои воспоминания из прошлого“, изд. М. и С. Сабашниковых, вып. I и II, 1926 — 1927 гг.). Потомок (по материнской линии), последнего украинского гетмана гр. Кирилла Разумовского,

он страстно любил Украину, увлекаясь и ее природой и ее обычаями. Шевченко здесь упоминает о нем в связи с теми страницами „Записок о Южной России" Кулиша (т. II. Спб., 1857, стр. 1—103), которые содержат текст собранных Жемчужниковым украинских песен и сказок

[295] Вероятно, Николая Всеволодовича Жадовского, чиновника особых поручений при министре государственных имуществ М. Н. Муравьеве („Адрес-календарь" 1856-1859, ч. I, стр. 258).

[296] Как указано выше (стр. 305), близких отношений между Далем и Шевченком не было; в отзывах о нем Шевченка всегда чувствуется оттенок легкой антипатии.

[297] Речь идет о княжне Лидии Федоровне Голицыной (1834—1889), через четыре с половиной месяца (30 марта 1858 года) вышедшей замуж за нижегородского помещика М. А. Мессиннга (кн. Н. Н. Голицын, „Род князей Голицыных", т. I. Спб., 1892, стр. 220). Упоминаемый Шевченком ее брат Владимир (1834—1876), служивший ранее (1851) в Бородинском егерском полку, состоял адъютантом нижегородского военного губернатора А. Н. Муравьева в чине прапорщика („Адрес-календарь" 1857, ч. II, стр. 92; 1858—1859, ч. II, стр. 106). — Сантифолия - роза (одна из разновидностей так назыв. „французской розы").

[298] А. П. Варенцов (ум. 1895)—камер-юнкер, занимавший в это время место директора нижегородской ярмарочной конторы („Адрес-календарь") 1858—1859, ч. I, стр. 8), а в молодости — офицер лейб-гвардии Преображенского полка (О. фон-Фрейман, „Пажи за 185 лет", стр. 364; „История Л.-гв. Преображенского полка", т. IV. Спб., 1883. „Список гг. генералам, штаб- и обер-офицерам", стр. 50), был женат с 1848 года на сестре только что упоминавшихся Голицыных—княжне Софье Федоровне (1830—1893) (кн. Н. Н. Голицын, „Род кн. Голицыных", т. I, стр. 220; „Московский некрополь", т. I, стр. 177), портрет которой Шевченко начал писать 14 ноября (см. запись под этой же датой).

[299] Фанданго—национальный испанский танец мавританского происхождения, исполняемый всегда под аккомпанемент кастаньет.

[300] „Драматическое представление в трех отделениях" Н. А. Полевого (1796—1844), известного журналиста и драматурга, появившееся в печати в 1842 году (в „Русском вестнике").

[301] Ср. запись под 17 октября (выше, стр. 203).

[302] Бобелина—„энергичная, крепкая по натуре женщина (намек на греческую героиню—*Бобелину*") (М. И. Михельсон, „Русская мысль и речь", т. I, стр. 60). О Бобелине, участнице греческого восстания против турок 1821 года, см. роман популярного когда-то немецкого писателя Христиана-Августа Вульпиуса (1762—1827), (автора прославившего его разбойничьего романа „Ринальдо-Ринальдини"), изданный в русском переводе Андреем Пеше под заглавием: „Бобелина, героиня Греции нашего времени. Сочинение автора Ранальдо-Ринальдини [sic]", М. 1823, (ср. [В. Г. Анастасевич] „Роспись российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина", Спб., 1828, стр. 120, № 8562; здесь имя автора не указано). В позднейшие годы роман Вульпиуса стал любимой книгой читателей, вкус которых воспитывался на лубочных произведениях.

[303] Т. е. Фрелих, Николай Адамович, городской архитектор Нижнего-Новгорода („Адрес-календарь" 1857, ч. I, стр. 254; 1858 — 1859, ч. II, стр. 107; „Люди Нижегородского Поволжья", вып. I („Краткий словарь писателей-нижегородцев") под. ред. В. Е. Чешихина (Ч. Ветринского), Н.-Н., 1915, стр. 45).

[304] Федор Михайлович Лазаревский (1820—1890), младший брат друга Шевченка М. М. Лазаревского, один из приятелей поэта, познакомившийся с ним в 1847 году, на следующий же день по приезде Шевченка-солдата с фельдъегером в Оренбург, где Лазаревский в это время жил, состоя чиновником оренбургской пограничной комиссии. В 1854—1857 гг. он был чиновником особых поручений при петербургском гражданском губернаторе, а затем перевелся в удельное ведомство, служил в провинции и к концу жизни занимал место начальника ставропольского удельного ведомства, позабыв либеральные и украинофильские симпатии молодости. Благодаря совпадению визита Шевченко к madame Гильде и кратковременного пребывания Лазаревского в Нижнем-Новгороде встреча их так и не состоялась.

[305] О нижегородском актере Владимирове, талантливом и старательном исполнителе драматических и комедийных ролей, есть отзыв в приводимой ниже целиком (стр. 375) театральной рецензии Шевченка.

[306] Под стройкой указываем варианты по „Собранию стихотворений Василия Курочкина", т. I, Спб., 1869, стр. 296—298.

307 Ср. ниже стр. 372.

308 Об этом приезде Щепкина в Нижний-Новгород в конце декабря 1857 года см. ниже, стр. 230.

309 Т. е. Уттермарку. Подпоручик Николай Иванович Уттермарк числился в нижегородской строительной и дорожной комиссии—„для производства работ" („Адрес-календарь", 1857, ч. I, стр. 253—254; 1858—1859, ч. II, стр. 107).

310 Личность его нам установить не удалось.

311 Т. е. картину кисти Жана-Андре Гюдена (1802—1880), известного французского мариниста, побывавшего в России в 1841 году.

312 Александр Дмитриевич Улыбышев (1794—1858)—заметная фигура нижегородского общества той эпохи. В молодости член „Зеленой Лампы", памятной по участию в ней Пушкина, он некоторое время служил в коллегии иностранных дел, затем (1830) вышел в отставку и поселился сначала в своем нижегородском имении, а несколько позже (1841) — в самом Нижнем-Новгороде, являясь среди нижегородцев непререкаемым авторитетом в области музыки, театра и вообще искусства. Прославившие его биографии Моцарта (Спб., 1843) и Бетховена (Лейпциг, 1857), написанные по-французски, долгое время были основными работами о знаменитых композиторах, хотя и вызывали возражения со стороны некоторых критиков (А. Н. Серова, напр.), вследствие предпочтения, которое Улыбышев отдавал Моцарту перед Бетховеном. Творчество Моцарта он считал кульминационным пунктом в развитии немецкой музыки. „Во время моего детства, — вспоминает Е. Б. Пиунова, в Нижнем был самый строгий критик сцены—как оперной, так и драматической — генерал [sic] Улыбышев, — человек высоко - образованный и страстный любитель театра, не пропускавший буквально ни одного спектакля ни сам, ни, по его желанию, его семья!.. Он имел постоянно абонированное кресло в 1-м ряду для себя и литерную боковую ложу—для семьи. Генерала все артисты страшно боялись, и все из кожи лезли угодить ему. Когда чья-либо игра удовлетворяла „генерала" (как все его звали), то он выражал это киванием своей, убеленной сединами, головы и обращением в свою ложу с тем же знаком одобрения; если же играли дурно, он сидел вполне спокойно и, как только опускался занавес, выражал *громко* свое суждение окружающим знако-

мым,—а его знакомые были весь город!.. Раз играли „Разбойников“ Шиллера. Генерал проглядел два акта и уходит... Это сильно удивило всех, потому что все привыкли видеть его в театре от начала до конца, почему и подумали, что генералу дурно. Тогда полицмейстер встал, подошел к уходящему генералу и говорит:—„Что с вами, ваше превосходительство?“ — Тот отвечает: „А что?“ — „Да вы уезжать изволите?“—„Да что же мне тут делать? Я приехал смотреть шиллеровских „Разбойников“, а это жулики макарьевские,—так вот вы и смотрите!..“ („Артист“, 1890, кн. VII, апрель, стр. 178).

[313] Врач, помощник управляющего нижегородской удельной конторой („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 136; „Адрес-календарь“ 1857, ч. I, стр. 25), откуда его близкое знакомство с Ф М. Лазаревским. Вскоре он перевелся в Петербург, состоя причисленным к департаменту уделов министерства императорского двора („Адрес-календарь“ 1858-1859. ч. I, стр. 22); умер в 1873 году в чине действительного статского советника (кн. А. Б. Лобанов-Ростовский, „Русская родословная книга“, изд. 2-е, т. II, стр. 18).

[314] Поэма „Неофиты“, посвященная „М. С. Щепкину ни память 24 декабря 1857“ (день встречи Шевченка со Щепкиным в Нижнем-Новгороде—см. стр. 230), была впервые напечатана лишь после смерти Шевченка в журн. „Основа“, 1861. № 4; сам автор не считал ее вполне законченной. Сюжет поэмы взят из времен Нерона, но в эпоху ее создания, во времена еще не упраздненного крепостного права, она имела вполне „актуальный“ смысл, и современные исследователи творчества Шевченка справедливо видят в „Неофитах“ поэму не о Нероне и замученных первых христианах, а о Николае I и декабристах (П. Филипович, „Шевченко і декабристи“, Киів 1926, стр. 34). Перевод поэмы на русский язык см. в „Кобзаре“ Шевченка под ред. М. Славинского, Спб., 1911, стр. 230—238 (перевод А. П. Колтоновского).

[315] См. выше.

[316] Составленный Кулишем украинский букварь Спб. 1857.

[317] Осип Максимович Бодянский (1808—1877)—известный славист и историк, профессор славянских наречий московского университет ; много писал по-украински - стихи и критические статьи. Упоминаемое дальше Шевченком исследование его вышло отдельным изданием в 1855 году.

[318] Т. е. Герцена.

[319] Шевченко имеет в виду ту же переделку пушкинской повести, которая шла в Петербурге в сезон 1853—1854 гг. и не имела особого успеха (А. Вольф „Хроника петербургских театров, с конца 1826 до начала 1855 года", ч. II, Спб., 1877, стр. 194 206, XXXII). Она была напечатана в 1858 году, без обозначения фамилии автора („Станционный смотритель, драма в 3 действиях, из повести Пушкина", Спб 1858, 8°, 42 стр., ценз. дозвол. от 29 ноября 1858 года) и отмечена анонимной в двух специальных библиографических справочниках („Описание Пушкинского музея имп. Александровского музея", сост. С. М. Аснаш и А. Н. Яхонтовым, под ред. И. А. Шляпкина, Спб. 1899, стр. 353, № 1623—1574; „Каталог одесской городской публичной библиотеки", т. IV, Одесса, 1904, стр. 144, № 2311). Автором этой переделки, далекой и от текста и от замысла пушкинской повести, является знакомец Пушкина Николай Иванович Куликов (1812—1891), актер и драматург, состоявший в 1838—1852 гг. режиссером Александринского театра (см. „Полный алфавитный список драматическим сочинениям на русском языке, безусловно дозволенным к представлению" (Исправлено по 1 января 1873 года). Спб. 1873, стр. 72 и „Ежегодник имп. театров", сезон 1890-91 года, стр. 319).

[320] Е. Трусова, рожд. Вышеславцева,—небольшая актриса нижегородского театра, выступившая на сцене еще в конце тридцатых годов. Исполненная ею в „Станционном смотрителе" роль взбалмошной и глупой помещицы Акулины Терентьевны Лепешкиной, повидимому, по своему характеру вполне подходила к ее бытовому амплуа.

[321] Популярное „в оны дни" второразрядное увеселительное заведение.

[322] О „Балахне" см. выше.

[323] У В. И. Даля было *четыре* дочери.

[324] У Шевченка— Эпокалипсис.

[325] Эта фраза в записи Шевченка является результатом недоразумения. Как видно из текста упоминаемого поэтом письма („Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 289—290), Кулиш в нем пишет о работе, уже сделанной, отошедшей в прошлое.

[326] „Сцены" А. Н. Островского „Праздничный сон до обеда" появились в февральской книжке „Современника", 1857 г., и впервые шли на сцене Александринского театра

в Петербурге 28 октября 1857 года, так что для провинции составляли совершенно свежую новинку (ср. „Полное собрание сочинений А. Н. Островского" под ред. М. И. Писарева, т. II, стр. 432). Краткий отзыв Шевченка об этой вещи совпадает с оценками других лиц: А. Ф. Писемский, напр. писал автору: „.... твои оценки в „Современнике" я прочитал и прочитал с удовольствием, и когда читал и другим, все хохотали; но мнение большинства литературного таково, что в них ты повторяешься, хотя в то же время все очень хорошо убеждены, что виноват в этом не ты, а среда, и душевное желание всех людей, тебя любящих и понимающих, чтобы ты переходил в другие сферы" („Вестник Европы", 1916, № 10, стр. 51—52).

[327] Не совсем точная цитата эпиграммы драматурга и поэта XVIII века В. В. Капниста „на самого себя":

Капниста я прочел и сердцем сокрушился,
Зачем читать учился.

[328] Иоанн, которому приписывается Апокалипсис.

[329] Не Брас, а Брон, Генрих Иванович, учитель французского языка в Нижегородском дворянском институте („Адрес - календарь", 1858 - 1859, ч. I, стр. 207; здесь место учителя этого языка отмечено вакантным, но, вероятно, его занимал именно Брон).

[330] Прасковья Михайловна Голынская — одна из представительниц нижегородского „большого света" тех годов, племянница губернатора А. Н. Муравьева, жена которого (вторая) Марфа Михайловна, рожд. княжна Шаховская (ум. 1855), приходилась сестрой матери П. М. Голынской—Марье Михайловне (Муравьев оба раза был женат на родных сестрах). О Голынской существует забавная эпиграмма гр. В. А. Соллогуба („Русский архив", 1895, кн. I, стр 358) и несколько строк в стихотворном пасквиле нижегородских крепостников на Муравьева („Русская старина", 1897, № 9, стр. 548). Впоследствии она была фрейлиной „высочайшего двора" („Памятная книжка" 1884, стр. 371).

[331] Николай Осипович Осипов (род. 1825)—художник, „свой человек" в семье гр. Ф. П. Толстого (он был первым учителем рисования дочери Толстого, Екатерины, впоследствии Юнге). Человек общительный и добрый, он в первые годы ссылки Шевченка был посредником между гр. А И. Толстой и сосланным поэтом. В качестве волонтера он принимал участие в Крымской кампании 1854—1856 гг.

[332] Личность его нам не удалось установить.

[333] Перечисленные здесь роли определяют репертуар Щепкина в период его пребывания в Нижнем-Новгороде: „Ревизор" Гоголя, „Матроз", переводный водевиль Д. Шепелева (ср. А. И. Вольф. „Хроника петербургских театров", ч. II, Спб., 1877, стр. XXI), „Москаль - чарівник" И. П. Котляревского и „Бедность не порок" Островского.

[334] Московский актер Ленский — Дмитрий Тимофеевич (настоящая фамилия Воробьев) (1805—1860), известный водевилист сороковых годов; его, преимущественно переводные, водевили имели огромный успех у публики. Он выступал также как переводчик Беранже (ср. ниже стр. 245). Приписываемая ему басня (он неоднократно „грешил" и по части сатирических стихотворений) впервые появилась в „Полярной звезде", 1859 (кн. V, стр. 46; см. также сборник Н. П. Огарева, „Русская потаенная литература", Лондон, 1859, стр. 290, и сб. „Лютня", II, стр. 305)—под заглавием „Помойная яма" и, конечно, без подписи. „Хозяин", задетый в басне,—Александр II с его робкими и нерешительными попытками „оздоровить" государственный механизм России.

[335] Пользовавшаяся тогда громадной популярностью в водевильных ролях талантливая актриса Надежда Васильевна Самойлова (1823 -1899).

[336] В дневнике Шевченка это стихотворение В. С. Курочкина „18 июля 1857 года" переписано, действительно, в очень неточной редакции (Подлинный текст см. в „Песнях Беранже, Перевод Василия Курочкина", Спб., 1858, стр. 1—3 (и дальнейшие издания - напр. изд. 5-е Спб., 1864. стр. 1—3. а также в „Собрании стихотворений Василия Курочкина", т. I, Спб., 1869, стр. 43—44). Не отмечаем многочисленных отличий списка Шевченка от этой авторской редакции.

[337] У Шевченка описка: - Певец.

[338] Пропущено Шевченком.

[339] Сигизмунд Игнатьевич Сераковский (1826 - 1863) — польский политический деятель, один из друзей Шевченка по ссылке. Превратившийся в 1848 году из студента петербургского университета в солдата Оренбургского Отдельного корпуса за попытку тайно перейти границу, он дослужился до офицерского чина (1856), поступил в Академию генерального штаба в Петербурге и благодаря служебным поездкам за границу познакомился с Герценом и Гарибальди (1860), состоя членом политического

кружка поляков, офицеров русской службы. Он принял участие в восстании 1863 года и окончил свои дни на виселице, попав в плен к русским правительственным войскам. Шевченко познакомился и сблизился с этим замечательным человеком в конце 1849 года в Оренбурге.

340 С. Т. Аксакову, знаменитая книга которого „Семейная хроника и воспоминания" вышла в свет отдельным изданием за несколько месяцев перед этим (М. 1857).

341 Директор нижегородского городского театраВаренцов,— вероятно, тот самый Александр Петрович о котором упоминалось выше (см. стр. 214 и 364).

342 Донат Михайлович Рейковский—лекарь, коллежский ассесор, служивший по министерству внутренних дел и почтовому ведомству („Российский медицинский список на 1858 год", стр. 249).

343 Талантливый и разносторонне образованный старший сын Щепкина — Дмитрий Михайлович (род. 1817 умер 12 декабря 1857 года на острове Малага). Он был магистром астрономии и одновременно работал в области филологии, археологии и истории искусства.

344 Водевиль Д. Т. Ленского „Простушка и воспитанная" впервые шел на петербургской сцене в 1856 году Несмотря на ничтожность содержания, он еще долгое время (несколько десятков лет) не сходил с репертуара петербургских и провинциальных театров — „благодаря куплетам, написанным на русские мотивы" (А. Вольф, „Хроника петербургских театров", стр. 10).

345 Может быть, об этом ссыльном поляке, с которым Шевченко познакомился в годы своего солдатства, говорится в записях дневника под 3, 8 и 9 апреля (см стр. 277 и 279), где Шевченко называет его своим соизгнанником, поразному обозначая его фамилию: Кроневич, Кроникевич.

346 О внебрачном сыне В. А. Перовского Алексее Васильевиче Перовском, доставлявшем своему отцу много забот диким и буйным характером, подробные сведения собраны П. Л. Юдиным („Русская старина", 1896, № 5, стр. 423—426; см. также „Материалы для биографии Гоголя" В. И. Шенрока, т. IV, М. 1897, стр. 191, 276—278, „Memoires" кн. П. В. Долгорукова, т. I, Genève, 1867, стр. 499, и письма А. О. Смирновой к В. А Жуковскому—„Русский архив", 1902, кн. II, стр. 108). Матерью Алексея Перовского была, повидимому, жена генерала

барона Николая Антоновича Зальца (1798—1862) Наталья Антоновна, рожд. Рашет (1806—1856).

[347] Очевидно, приятель Шевченка не исполнил своего обещания; по крайней мере, нам не удалось найти его заметки в „Московских ведомостях“, а в тщательно составленной А. С. Поляковым „Библиографии о М. С. Щепкине“ („Русский библиофил“, 1914, № 7, стр. 29—50) нет о ней никаких упоминаний. Повидимому, Олейников вообще не выступал в печати; его имя не включено в „Краткий словарь писателей-нижегородцев“ (Н-Н 1915), изданный под ред. В. Е. Чешихина (Ч. Ветринского) и составляющий I-й (и, увы, единственный) выпуск предпринятого нижегородской губернской ученой архивной комиссией биографического словаря „Люди Нижегородского Поволжья“.

[348] Портрет Шрейдерса воспроизведен в нашем издании. Портрет Кадницкого, хотя и был исполнен (см. стр. 251), не сохранился, а относительно Фрелиха Шевченко так и не выполнил своего намерения.

[349] Остафьевы — помещики Нижегородской губернии; нам не удалось выяснить, о ком говорит Шевченко (ср. Annuaire de la noblesse de Russie R. I. Ermerin seconde année. St-Pb, 1892, стр. 398).

[350] Т. е. жену А. Н. Муравьева (ср. выше стр. 369 и „Нижегородские губернские ведомости“, 1858, часть неофициальн., № 1—4 января, стр. 2 и № 14—15 апреля, стр. 54).

[351] Александр Евграфович Бабкин (которого, конечно, имеет в виду Шевченко, по ошибке переставивший его инициалы) — нижегородский исправник („Адрес - календарь“, 1857, ч. II, стр. 93, то же 1858 - 1859, ч. II, стр. 108).

[652] Сестра упоминавшегося выше Н. А. Брылкина, жена И. П. Грасса.

[353] Влиятельный впоследствии вдохновитель правительственной реакции Михаил Никифорович Катков (1818—1887) в те годы был еще поклонником английской конституции и вел свой журнал в либеральном направлении. „Матрос“ Шевченка в „Русском вестнике“ напечатан не был и появился лишь в 1887 г на страницах „Киевской старины“.

[354] После перехода Пиуновой на казанскую сцену в 1858 г. ей действительно пришлось столкнуться с соперничеством Прокофьевой, о чем она вспоминает в своих воспо-

минаниях: „Делилась тогда молодежь на партии: стрелковисты, прокописты и пиунисты. И беда была в тот спектакль, когда бывало все мы—Стрелкова, Прокофьева и я—играем. Чья возьмет?" („Артист", 1890, № 7, апрель стр. 180).

[355] Ивану Александровичу Щербине (О нем см. „Русскую старину", 1891, № 10, стр. 181, 201, 204, 207).

[356] Проект об устройстве Пиуновой в харьковском театре не получил осуществления.

[357] Василий Николаевич Погожев (1802—1859)—инженер-майор, член общего присутствия V округа путей сообщения в Ярославле („Адрес-календарь", 1 57, ч. I, стр. 249; 1858—1859, ч. I, стр. 275; ср „Московский некрополь", т. II, стр. 431), сблизившийся с литературными и музыкальными кругами в сороковых годах, когда его две молоденькие дочери Вера и Наталья обратили на себя общее внимание своими большими музыкальными дарованиями; им предсказывали блестящую будущность, но ранняя смерть разрушила все надежды. В воспоминаниях Погожева („Исторический вестник", 1893 г.,№№ 6—10) есть беглое упоминание о „поэте и живописце Шевченке" (№ 8, стр 372)—в том месте воспоминаний, где автор вспоминает лиц, интересовавшихся музыкальными талантами его дочерей.

[358] Так Шевченко пишет фамилию „лекаря" Дмитрия Ивановича ван-Путерена, младшего врача нижегородского приказа общественного призрения и врача нижегородского дворянского института („Российский медицинский список на 1858 год", стр. 243; „Адрес-календарь", 1858—1859, ч. I, стр. 207; ч. II, стр. 107. Ср. „Рускую родословную книгу" кн. А. Б. Лобанова-Ростовского. изд. 2-е, т. II, стр. 17—18 и „Люди Нижегородского Поволжья", вып. I, „Краткий словарь писателей-нижегородцев", под ред. В. Е. Чешихина (Ч. Ветринского) Н.-Н, 1915, стр. 36). В дни своего пребывания в Москве в марте 1858 года (см. стр. 261) Шевченко с ним встречался и даже пользовался его медицинскими советами.

[359] Шевченко исполнил свое намерение, и 1 февраля 1858 года на страницах „неофициальной части" „Нижегородских губернских ведомостей" (№ 5, стр. 17—18) появилась с подписью *** нижеследующая статья, принадлежащая его перу.

„Бенефис Г-жи Пиуновой января 21 1858 г.

„Приняв в соображение нравы нижегородских обитателей, в особенности обитательниц, я немало удивился, войдя в театр и найдя его почти полным. — „Что бы значило это?“ — спросил я знакомого мне отъявленного нетеатрала. — „Как что? Сегодня бенефис миленькой Пиуновой. Еще девочкой поступила она на нашу сцену; миловидностью и грациозностью своею обратила на себя внимание и, надо отдать ей справедливость, умела это внимание поддержать и заслужить любовь нашей, не очень щедро расточающей свои чувства публики. Вы сами увидите сейчас, насколько это справедливо“.

„И действительно, г-жа Пиунова достойно поддержала мнение о себе. Независимо от юности и располагающей наружности, она так мила и естественна, что, глядя на нее, забываешь театральные подмостки. — Давали в этот вечер драму „Парижские нищие“ и водевиль „Бедовая бабушка“. Водевиль сам по себе хорош, но в исполнении г-жи Пиуновой и г-жи Трусовой (бабушка) это вышла такая миленькая игрушка, что хоть на любую столичную сцену: так грациозна наивностью своею Глаша и так добродушно комична Бабушка. Бенефициантка обладает всеми задатками сценического искусства, а это, вместе с молодостью ее, конечно, подает большие надежды и в будущем. Но мы не скроем, что самые успехи ее порождают и большие требования. Сколько можно судить, — г-жа Пиунова с особенным пристрастием выбирает роли наивно-милых девушек. Слова нет: это лучшие ее роли; но она не должна забывать, что в них же кроется однообразие и легкость, которые могут вредить ее таланту. Мы искренно думаем, что она может смело расширить свой репетуар; труда будет больше и вдумываться в роли нужно будет серьезнее; но зато талант развернется шире. Наше мнение подтверждает сама г-жа Пиунова: в комедии Остро ского „Бедность не порок“ она играла разбитную вдовушку и выполнила эту роль с большим тактом, а тут, конечно, обыкновенными способностями не обойдешься, особливо в 17 лет. Сюда же можно отнести и роль Татьяны в „Москале-чаривнике“; пьеса эта была поставлена в два дня по желанию Михаила Семеновича Щепкина, приехавшего случайно в Нижний и согласившегося участвовать в трех спектаклях и, несмотря на поспешность

постановки, а также незнание малороссийского языка,— г-жа Пиунова в роли Татьяны была очень хороша, так что наш ветеран-артист был в восторге и говорил, что он ни с кем с таким удовольствием не играл, а мнение Щепкина может служить авторитетом. В нашей милой бенефициантке он принял сердечное участие, советовал ей серьезно трудиться, и, конечно, советы и напутствия вполне оценены ею. В „Парижских нищих“ г-жа Пиунова исполнила роль Антуанетты весьма совестливо, но видно, что у ней не было сочувствия к роли. Еще как-то мы заметили в одном месте, именно в свиданьи с дочерью Банкира, когда она приходит просить работы, неправильность в дикции и позволяем себе обратить ее внимание на этот предмет.

„Господин Владимиров выполнил роль бродяги Гастона чрезвычайно рельефно и талантливо; в сцене, когда его берут в рабочий дом и когда он своему бывшему патрону говорит „мерзавец“,—он удивительно хорош. В г. Владимирове виден весьма опытный артист, занимавшийся своим искусством добросовестно. Он вовсе не односторонен и игра его в особенности замечательна в пьесах, имеющих литературное достоинство, к какому бы роду они ни принадлежали. Тут он вполне выказывает себя. В гриммировке и костюмировке он просто совершенен. Вообще о г. Владимирове мало отзываться лестно, в нем видно и развитие и необыденное понимание искусства. Почти то же можно сказать и о г. Климовском. Судить его нужно не по пустой роли Д'Обиньи. Кажется, целью его поступления на нижегородскую сцену были испытание себя и окончательный выбор тех ролей, которые более подойдут к свойству его таланта. Нам в особенности понравился он в пьесе „Суд людской – не божий“ и в пьесах Островского.

„Г-жа Васильева передала очень верно тщеславную и своевольную Алиду, дочь Банкира. Мимика ее замечательна, роль же сама по себе не может дать полного понятия об ее игре. Лучше всего она в „Бедной невесте“. Но странное впечатление оставляет г-жа Васильева: видна какая-то законченность в ее игре, как будто она выказала все свои средства и дальше ожидать нечего; впечатление, не говорящее в пользу будущего развития; признать же совершенно установившимся талантом г-жу Васильеву нельзя. Очень желательно бы было, если бы г-жа Ва-

сильева вникнула в причину такого явления и, нам кажется, что выяснение этого себе может принести ей большую пользу".

Статейка Шевченко не особенно понравилась Пиуновой (см. ниже, стр 244—запись под 3 февраля), вызвала полемическое возражение со стороны некоего Щеголева (псевдоним), очевидно, большого поклонника задетой Шевченком Васильевой (см. „Нижегородские губернские ведомости", 1858, часть неофициальная, № 8, 22 февраля, стр. 29—30: „Заметки на статью о бенефисе г-жи Пиуновой (в 5-м № Н. Г. В.)". Отражение недовольствия на Шевченко Васильевой находим в лаконической записки дневника под 29 января (см. стр. 242).

[360] Младший брат (1829 — 1880) памятного в биографии Шевченка Михаила Лазаревского. В молодости офицер, он с 1850 года служил по удельному ведомству и в 1862—1874 гг. состоял управляющим Ливадией. „Это был положительно очень честный, добрый, хороший, но не получивший высшего образования и ограниченный человек" („Записки Ю. А. Горбуновой", „Наша старина", 1914, № 7, стр. 650).

[361] „Екатеринославское восстание 1856 года" было связано со слухами о „воле", возникшими среди крестьян весною 1856 года в связи с окончанием Крымской войны. Согласно этим слухам, „на Перекопе, на горе" какой-то царь в золотой шапке раздавал волю пришедшим за ней крестьянам. Таких неправдоподобных и необычайных рассказов оказалось вполне достаточно, чтобы возникло массовое переселение жаждущих воли крестьян из Степной Украины в Крым, превратившийся в своего рода „обетованную землю". Тяга в Крым ради освобождения от помещичьей власти охватила не только Екатеринославскую губернию,—многие места Степной Украины были охвачены этим стихийным движением, сильно тревожившим русское правительство.—Николай Данилович Белозерский давний (с 1847 года) знакомец Шевченка, который, однако, не питал к нему больших симпатий. Дядя В. М. Белозерского и А. М. Кулиш (см. выше стр 326)—богатый черниговский помещик. В 1824—1841 гг. был борзенским уездным судьей (гр. Г. А. Милорадович, „Родословная книга черниговского дворянства", т, II, Спб., 1901, ч. VI, стр. 237).

[362] „Дочь второго полка",—комическая опера известного в свое время композитора Гаэтано Доницетти (1787—1848),

автора оперы „Лючиа“, „Линда“ и др., впервые поставлена в Париже в 1840 году (F. Clément et P. Larousse „Dictionnaires des opèras, p. 291). Текст к ней написан плодовитыми французскими драматургами Жаном-Франсуа Баяром и Жюлем-Анри Вернуа-де-Сент-Жоржем.

[363] Николаю I.

[364] Александр Михайлович Гедеонов (1790—1867)—управляющий императорскими театрами в 1833—1858 гг., типичный николаевский чиновник, чуждый искусству, грубый и деспотичный.

[365] Эвелина Карловна Шмитгоф или Шмитдгоф (1830—1860)—актриса, игравшая на нижегородской сцене с 1849 года, а ранее некоторое время выступавшая в Москве. Безнадежно больная чахоткой, 29-летняя Шмитгоф, вероятно, поэтому и показалась Шевченку старухой.

[366] Он умер 24 января 1858 г.

[367] Известные в печати материалы целиком подтверждают эту характеристику и рисуют Болтина действительным противником крепостного права, энергично боровшимся с крепостническими элементами нижегородского дворянства. Отставной капитан-лейтенант (1842 г. „Общий морской список“, ч. IX, стр. 273), он был сначала сергачским уездным предводителем дворянства, а с 4 января 1858 года (по 7 января 1861)—губернским („Исторические данные об образовании губерний, областей, градоначальств и других частей внутреннего управления империи...“, Спб., 1902, стр 97. Ср. М. А. Зеленецкий, „Исторический сборник о нижегородских губернских предводителях дворянства 1785—1896 гг. Н.-Н., 1902, с портретом Болтина, и „Люди Нижегородского Поволжья“, вып. I (Краткий словарь писателей-нижеговодцев), под ред. В. Е. Чешихина (Ч. Ветринского). Н.-Н., 1915, стр. 6, и воспоминания В. И. Глориантова. „Нижний-Новгород былого времени“, „Русский архив, 1907, кн. I, стр. 287—289).

[368] О бенефисе Е. Н. Васильевой не имеется сведений в „Нижегородских губернских ведомостях“, так что мы лишены возможности сообщить о нем что-либо в дополнение краткой записи Шевченка,—сплетни же, упоминаемые поэтом, находились, конечно, в связи с его критическим отношением к талантам Васильевой и тем явным предпочтением Пиуновой (ср. выше стр. 374—375), источник которого местные сплетники и кумушки видели в любви

поэта к молодой актрисе; его увлечение Пиуновой ни для кого, разумеется, уже не составляло тайны.

[369] Это волнующее своим содержанием письмо в подлинную рукопись дневника внесено постороннею рукою, может быть М. А. Дороховой, о которой есть упоминание в следующей записи — под 31 января. Вполне вероятно, что текст его составлен не Шевченком, а именно Дороховой.

[370] Второе письмо Шевченка к Е. Б. Пиуновой до нас не сохранилось.

[371] Управляющий „конторой" нижегородского театра (ранее служил в балете).

[372] „Губернские очерки" Салтыкова в 1857 году вышли *двумя* отдельнымм изданиями.

[373] Вильям Гогарт (1697—1764)—знаменитый английский живописец и гравер, сатирик по основному свойству своего творчества. Он смотрел на искусство художника как моралист-проповедник, используя свои рисунки о житейских комедиях и драмах в качестве своеобразного „агитационного материала". Серия рисунков Шевченка „Притча о блудном сыне" выполнена под его несомненным влиянием.

[374] Пятиактная драма, переведенная с французского Федором Алексеевичем Бурдиным (1826—1887), известным актером и приятелем Островского и впервые поставленная в Петербурге в 1856 году.

[375] См. ее выше, на стр. 374—376.

[376] Среди нижегородских чиновников тех годов был Николай Александрович Белов, исправляющий должность столоначальника палаты гражданского суда („Адрес-календар". 1858—1859, ч. II, стр. 107).

[377] „Фрейшютц" („Волшебный стрелок") опера популярного немецкого композитора К. Вебера (1786—1826), основателя романтической школы в музыке, помянутая в „Евгении Онегине" („разыгранный Фрейшитц перстами робких учениц...").

[378] В подлинной рукописи дневника оставлено место для обозначения количества „юных воспитанниц" нижегородского института.

[379] Поэта-слепца пушкинской эпохи.

[380] Стихи Е. Беляевой, прочитанные ею на акте института 9 февраля, были тогда же напечатаны в „Нижегородских губернских ведомостях", в описании этого торжества (1858, часть неофициальная, № 9, 1 марта, стр. 34—35)

[381] Шумахер, благодаря которому Шевченко впервые увидел знаменитый герценовский журнал (начавший выходить в Лондоне с 1 июля 1857 года), — известный поэт-сатирик Петр Васильевич (1820—1891), живший в течение нескольких лет в Нижнем-Новгороде, весьма своеобразная фигура, оригинал и по своим привычкам и по всему „стилю жизни“ (о нем см. в статье Н. Ф. Бельчикова, „Из быта литературных кружков 60—70 годов“ — „Литература и марксизм“, 1928, кн 3, стр. 130—146).

[382] См выше, стр 238.

[383] Записанная в дневнике редакция второго и третьего стихотворения является черновой. Приводимые нами в примечаниях переводы сделаны по *окончательному* тексту.

ДОЛЯ.

Ты не лукавила со мною:
Ты другом, братом и сестрою
Была бедняге. Ты взяла,
Еще дитей, меня за руку
И в школу хлопца отвела
К дьячку разгульному в науку:
„Учись! Со временем, дитя,
Людьми мы будем“, — ты сказала.
Я стал учиться: верил я, —
И научился... Ты же солгала:
Что мы за люди? — Нужды нет!
Мы не лукавили с тобою,
Мы прямо шли, и за собою
У нас зерна неправды нет.
О, доля, да, ты не лукава!
Тебе, как другу, верю я!
Идем же дальше, — дальше слава,
А слава — заповедь моя!..

(Перевод Н. В. Гербеля, „Кобзарь Тараса Шевченко в переводе русских поэтов“, под ред. Н. В. Гербеля, изд. 3-е, Спб. 1876, стр. 125, „Кобзарь“ под ред М. Славинского. Спб. 1911, стр. 238—239).

[385]

МУЗА.

И ты, прекрасная, святая.
Подруга Феба молодая,
Меня в объятия взяла
И, с колыбелью разлучая,

Далеко в поле отнесла.
Там на могилу положила,
Туманом сизым обвела
И на раздолье ворожила
И петь и плакать зачала...
То были чары чаровницы!
Везде и всюду с этих пор,
Как светлый день, как луч денницы,
Горит на мне твой дружный взор!
В степи безлюдной, вдалеке,
Блистала ты в моей неволе,
В моем страдальческом венке,
Как пышный цвет сияет в поле!
В казарме душной надо мной
Ты легким призраком носилась—
И мысль тревожно за тобой
На волю и простор просилась!
Золотокрылой, дорогой
Ты пташкой надо мной парила
И душу мне живой водой
Ты благотворно окропила!
Пока живу я—надо мною
Своей небесною красою
Свети же, зоренька моя!
Моя заступница святая,
Моя отрада неземная,
Не покидай меня! В ночи
И ясным днем, и вечерами
Ты людям истину учи
Вещать нелживыми устами.
За край любимый, край родной,
Мне помоги сложить молитву,
И в самый час последний мой,
Как я закончу жизни битву,
Не покидай меня—пока
Последний свет в очах не сгинет,
Поплачь о мне хотя слегка—
И горсть земли твоя рука
Пускай тогда на гроб мой кинет!..

(Перевод Н. С. Курочкина,—„Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов“, под ред. Н. В. Гербеля, изд. 3-е, стр. 123—124; „Кобзарь“ под ред. М. Славинского, стр. 239).

[386] СЛАВА

Где, барышница-торговка,
Где ты по свету гуляешь?
Что лучами золотыми
Ты меня не приласкаешь?
Иль в Версаль ты забралася
Да с злодеем там пируешь?
Или с кем другим связалась, —
Ночь с похмелья с ним ночуешь?
Приходи ко мне скорее,
Позабудем горе злое,
С поцелуем обоймемся
И сольемся оба-двое!
Будет радость, будет счастье,
Будет лад и мир меж нами...
Ничего, что в кабаках ты
Веселилася с царями
И что с нашим Николаем
В Севастополе гуляла...
Все когда-то это было,
А теперь уж миновало...
Дай твоею неземною
Красотою мне упиться,
Под крылом твоим спокойно
В холодке уснуть, забыться!..

(Перевод И. А. Белоусова, – Т. Г. Шевченко, „Запретный Кобзарь“, изд. 2-е, М, 1922, стр. 52. Ср. перевод М. Славинского в изд. „Кобзаря“ под его редакцией, стр. 239).

[387] См. выше, стр. 203.

[388] Посвященное Щепкину стихотворение „Пустка“ („Заворожи мені, волхве, друже сивоусий“) было написано Шевченком еще в 1844 году, т. е., вероятно, в самом начале их знакомства. Повидимому Щепкин любил повторять эти стихи, вспоминая впоследствии поэта (Перевод их на русский язык М. Славинского под заглавием „Пустая избушка“ см. в изд. „Кобзаря“ под его ред., стр. 83).

[389] Директор харьковского театра (ср. выше стр. 247).

[390] Директор и одновременно актер нижегородского театра.

[391] Перевод „Фауста“ (лишь одной I части), сделанный поэтом Эдуардом Ивановичем Губером (1814—1847), удостоившийся в рукописи одобрения Пушкина и посвященный „незабвенной памяти А. С. Пушкина“, вышел в свет в 1838 году (ср. выше стр. 314). „Последняя сцена“ I части „Фауста“ — свидание Фауста с Маргаритой в тюрьме.

[392] Фридрих-Август-Мориц Ретш (1779—1857) — немецкий живописец и гравер старой классической школы; из его произведений особенной известностью пользуется альбом гравюр к „Фаусту“ (который как раз Шевченко имеет в виду в своей записи).

[393] Питомцы киевского университета, кончившие медицинский факультет в 1858 году со званием уездного врача, Федор Николаевич Волконский (или Волхонский) и Павел Потапович Малюга („Академические списки имп университета св. Владимира (1834 — 1884)“, стр. 149; „Российский медицинский список на 1860 год“, стр 70 и 234).

[394] „Народні оповідання“ (повістки) Марка Вовчка“, ставшие вскоре очень популярными, тогда только вышли в свет (Спб., 1857; конец года), и многим еще не было известно, что под этим псевдонимом скрывается Мария Александровна Маркович, рожд. Вилинская (1834 — 1907), жена известного украинского этнографа А. В Марковича, русская по национальности Упоминаемый Шевченком Каменецкий, — Даниил Семенович (ум. 1880) — украинский этнограф, фактор (управляющий) типографии П. А. Кулиша (в которой печаталась книга Марка Вовчка), много ему помогавший в его литературных предприятиях.

[395] Упоминавшееся выше (стр. 370) издание: „Песни Беранже. Переводы Василия Курочкина“, Спб., 1858. В том же году вышло второе издание, исправленное и дополненное (Ср. С. А. Венгеров, „Русские книги“, т. II, Спб., 1898, стр. 205).

[396] Официальное название комитета было не столь категорично: губернский комитет по устройству и улучшению быта помещичьих крестьян.

[397] Нижегородским епископом был в это время (1857—1860) Антоний (Александр Иванович Павлинский, 1804—1878) (Н. Д. [Н. Н. Дурново] „Иерархия всероссийской церкви от начала христианства в России и до настоящего времени“, М., 1892, стр. 86).

[398] Речь Муравьева тогда же появилась в „Нижегородских губернских ведомостях" (№ 10, 8 марта, стр. 37—38).

[399] Н. И. Мирцев состоял директором не нижегородского, как указывает Шевченко, а казанского театра Он пригласил Пиунову в свой театр, увидев ее игру в Нижнем-Новгороде.

[400] Борзна — уездный город Черниговской губ.

[401] Дача Н. М. Щепкина в Богородском уезде, под Москвой.

[402] Эти „удачные стишки", имевшие широкое распространение среди либерально настроенного общества, не могли появиться в дореволюционных изданиях дневника Шевченка; запись поэта с этими крамольными стихами впервые была опубликована П. И. Зайцевымв 1919 году. („Наше Минуле," 1919, № 1—2, стр. 7-8). Они были известны ранее по мало доступным в России заграничным сборникам, напр. „Русская потаенная литература XIX столетия" (Н. П. Огарева, Лондон, 1861, стр 422), „Лютня" (вып. II, изд. 3-е, Берлин s. a., стр. 93—94), при чем печатались, естественно, без указания фамилии автора. Как анонимное произведение комментируемое „политическое" стихотворение появилось и в русской легальной печати после Февральской революции („Голос минувшего", 1917, № 5—6, стр. 103, хрестоматия Н. Л. Бродского и В. Л. Львова-Рогачевского „Красный декабрь", Лгр., 1925, стр. 30), - между тем автор его давно указан — это уже упоминавшийся выше (стр. 347—348) Петр Лаврович Лавров („Былое", 1906, № 8, стр. 38. Ср. сборн. под ред. П. Витязева „Материалы для биографии П. Л. Лаврова", вып. I, Пгр., 1921, стр. 36.)

[403] „... по просьбе графа Федора Петровича, — писал в этом письме Лазаревский, — тебе дозволено жить в Петербурге под надзором полиции и под руководством графа Ф. П. для продолжения изучения живописи при Академии художеств. Графиня ... просит тебя, чтобы ты поспешил, а главное не обижался условиями, потому что это только форма. Она говорит, что ты должен представиться президенту (ее высочеству) Академии, что тобою интересуются теперь все художники и желают скорейшего твоего приезда" (Письмо от 20 февраля 1858 года - „Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 302).

[404] Очевидно, брат Н. А. Брылкина.

405 Лев Осипович Товбич, майор, старший чиновник особых поручений при нижегородском военном губернаторе („Адрес-календарь“, 1857, ч. II, стр. 92; 1858 1859, ч. II, стр. 106). Вероятно, он приходился родственником упоминающейся ниже жене М. А. Максимовича — Марии Васильевне, рожд. Товбич (см. стр. 386).

406 Повидимому, из числа „девиц“ мадам Гильде (см. выше, стр. 203).

407 Капитан Григорий Фердинандович Петрович — „начальник искусственных строений Нижегородской строительной и дорожной комиссии“ „(Адрес-календарь“, 1857, ч. I. стр. 254; 1858—1859, ч. II, стр. 107).

408 Сергея Степановича Ланского (1787 — 1862), зятя известного кн. В. Ф. Одоевского.

409 Гр. Владимира Федоровича (1794 — 1884), министра императорского двора в 1852 — 1870 гг. Адъютант Николая I с 1817 года (когда будущий император был еще великим князем), Адлерберг на всю жизнь остался у него доверенным лицом. „Мать Адлерберга [Юлия Федоровна], — пишет о начале этой „дружбы“ Н. А. Добролюбов,—„была начальницею Смольного монастыря, в то время как Николай еще был легковерен и молод (так говорят поэты, хоть, правду сказать, Николай всегда отличался легковерием в некоторых отношениях, по общему примеру всех необразованных, хотя и сильных людей). В то время, пользуясь близким родством с начальницей и имея таким образом свободный вход в монастырь, молодой Адлерберг позволял себе довольно много с молодыми девицами и, чтобы обеспечить вполне свой успех, предложил свои услуги Николаю Павловичу. Оба они начали охотиться в монастыре, а матушка Адлерберга облегчала им победы, устраивая свидания и т. п. После этого, по восшествии Николая на престол, Адлерберг исполинскими шагами пошел по пути почестей...“ („Голос минувшего“, 1922, № 1, стр. 65—66). Какой намек скрыт в названии „распутный японец“, которое Шевченко дает Адлербергу, — непонятно; во всяком случае это намек не на наружность влиятельного „царского друга“.

410 „Детские годы Багрова внука, служащие продолжением Семейной хроники“, М.,— 1858.

411 Поэма „Відьма“ является переработкой поэмы „Осина“, написанной Шевченком за десять лет перед этим, в марте 1847 года. См. перевод ее, исполненный

М. Славинским, в редактированном им изд. „Кобзаря", стр. 125—135.

[412] Обе пьесы написаны были Шевченком еще до ареста и ссылки, в 1846 году, так что, строго говоря, не относятся к произведениям его „невольнической музы". См. перевод А. П. Колтоновского в упомянутом выше (прим. 314) изд. „Кобзаря", стр. 122—125.

[413] Николай Евстафьевич (Густавович) Вильде (1832 — 1896), известный в свое время московский актер и драматург, женатый на дочери А. Д. Улыбышева. (М. А. Щепкин, „М. С. Щепкин 1788—1863 гг. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная", Спб., 1914, стр. 326.) Он жил тогда в Нижнем временно, используя свой служебный отпуск.

[414] Т. е. упоминавшаяся выше (стр. 377) Эвелина Карловна Шмитгоф и ее сестра Люция, воспитанница московской балетной школы, ранее выступавшая в балете, а в Нижнем перешедшая на амплуа водевильной актрисы. Видевший ее в 1861 году в Воронеже А. А. Стахович посвятил этой несомненно талантливой актрисе несколько теплых страниц в своих театральных воспоминаниях. („Клочки воспоминаний", М., 1904, стр. 241 и сл. до 275).

[415] Максимилиан Карлович Шмитгоф, ставший вскоре мужем героини неудачного романа Шевченка — Е. Б. Пиуновой. Он выступал впоследствии в Харькове как комедийный актер, певец и композитор. Очевидно, после его смерти Пиунова еще раз была замужем — по крайней мере на ее надгробии указана ее третья фамилия — Кнорек-Комаровская („Петербургский некрополь", т. II, стр. 401).

[416] В экспедицию по изучению и описанию Аральского моря Шевченко-солдат был привлечен в качестве рисовальщика именно Бутаковым, руководившим, в чине капитан-лейтенанта, всей экспедицией. Участие Шевченка вызвало неприятности для Бутакова в связи со вторичной, более тяжелой ссылкой поэта в 1850 году, так как оно отчасти нарушало царский запрет Шевченку „писать и рисовать". За описание Аральского моря Бутаков был избран почетным членом берлинского гидрографического ученого общества; он умер в 1869 году в чине контр-адмирала, оставив много печатных работ специального характера („Общий морской список", ч. IX, стр. 330 — 334). С Шевченком он сохранял отношения самые дружеские.

[417] Известный русско - украинский ученый — ботаник, филолог, историк и этнограф, видный деятель украинской культуры, бывший профессором московского и киевского университетов, ректор последнего в 1833—1835 гг. (род. в 1804, ум. в 1873); в 1857 году жил в Москве, принимая ближайшее участие в редактировании славянофильского журнала „Русская беседа“. Он был женат с 30 апреля 1853 года на Марии Васильевне Товбич (И. Максимович, „Сборник сведений о роде Максимович“, Рига, 1897, стр. 63; В. Л. Модзалевский, „Малороссийский родословник“, т. III, стр. 316), о которой ср. выше, стр 384.

[418] Кетчер, Николай Христофорович (1807 — 1886), поэт, переводчик Шекспира, врач по образованию, в молодости — друг Белинского и Герцена, который посвятил его оригинальной личности много блестящих страниц в „Былом и думах“; Бабст, Иван Кондратьевич (1823 — 1881), видный экономист и историк, профессор московского университета, ранее (1851 — 1857) бывший профессором в Казани; впоследствии был директором Лазаревского института восточных языков; Афанасьев, Александр Николаевич (1826 — 1871), талантливый исследователь народной поэзии, собиратель русских народных сказок и легенд — фольклорист, этнограф и библиограф. В это время он, вместе с сыном М. С. Щепкина — Николаем приступил к изданию журнала „Библиографические записки“, который до наших дней сохранил научное значение и на долгое время определил тип подобного рода периодических изданий.

[419] Мин, Дмитрий Егорович (1818 — 1885), доктор медицины, поэт и переводчик, приобревший большую известность своим удачным переводом (1855) „Ада“ Данте (из „Божественной Комедии“); в 1863 – 1878 гг. он был профессором судебной медицины московского университета, а по выходе в отставку всецело отдался литературной деятельности.

[420] „Сказание о гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном“ было напечатано в „Киевлянине“ в 1850 году и тогда же вышло отдельным оттиском.

[421] О родственнице Н. В. Станкевич Ирине Афанасьевне Грековой сохранилось несколько страничек в воспоминаниях Н. А. Огаревой. „Ее наружность была необыкновенно симпатична, хотя нельзя было назвать ее красивой“,— пишет Огарева: „выражение — ее лица было испол-

нено доброты, приветливости. Кроме того, к ней влекло меня и всех знающих ее, потому что у нее был замечательный музыкальный талант: редко чистый, мелодичный, сильный голос, контральто, что для меня и всех понимающих музыку — выше лучшего исполнения на любом инструменте. Я любила слушать ее, особенно когда она пела страстные и грустные малороссийские песни; из всех этих мотивов меня поразила одна заунывная песня, начинающаяся словами: „Вы простите, мои детки“. Это была любимая песня Тимофея Николаевича Грановского; в грустном, тяжелом настроении духа нельзя было дослушать ее до конца, так как она потрясала все фибры человеческого существа. Как редко светлое явление между людьми, Ирина Афанасьевна недолго радовала окружающих своей симпатичной натурой, своим задушевным, глубоко потрясающим пением. Вскоре после ее замужества доктора запретили ей петь или, лучше сказать, много петь, — вовсе не петь было для нее все равно, что не жить; доктора нашли в ней какое-то расположение к аневризму. Когда ее по обыкновению обступали все, прося спеть еще что-нибудь, она отвечала: „Нет, будет, мне не велят много петь, сердце что-то не в порядке“. Года два после нашего свидания в Гейдельберге в Москве состоялся какой-то концерт, устроенный любителями музыки; Ирина Афанасьевна принимала тоже в нем участие. Она запела своим звучным, симпатичным голосом, вдруг голос ее оборвался, и она склонилась; все бросились к ней, но она уже не дышала... Между присутствующими находился медик, который сказал: „Все кончено, это разрыв сердца“ (Н. А. Тучкова-Огарева „Воспоминания“ под ред., С. А. Переселенкова, Лгр., 1929, стр. 270 — 272). Из „Московского некрополя“ (т. I, стр. 329) видно, что И. А. Грекова умерла 3 января 1870 года, на 46 году.

[422] П. М. Щепкин (1821—1877), служивший в это время в московском сенате („Адрес - календарь“ 1858 — 1859, ч. I, стр. 108), а в конце жизни бывший товарищем председателя московского окружного суда („Московский некрополь“, т. III, стр. 375) — *третий* сын М. С. Щепкина. После смерти Дмитрия Михайловича (см. выше стр. 371) старшим сделался Николай Михайлович (см. ниже стр. 388.)

[423] Жены М. А. Максимовича — Марии Васильевны.

[424] Стихотворение, написанное в 1847 году, в крепости.

[425] Аполлон Николаевич Мокрицкий (1811—1871) — художник, доверенный ученик Брюллова, ранее бывший чиновником. В 1842 году он поехал на собственный счет за границу, где пробыл (при поддержке со стороны Академии художеств) до 1848 года. Звание академика он получил в 1848 году и вскоре сделался профессором Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

[426] Второй сын М. С. Щепкина (упоминавшийся уже выше)—Николай Михайлович (1820—1886), идейный издатель и книготорговец, принадлежал к либеральной части московского общества тех годов. В полицейском „списке подозрительных лиц в Москве“, относящемся к 1859 году, против его имени стоит помета: „действует одинаково с отцом“, а его отцу, прославленному семидесятилетнему старику, в том же списке дана грозная характеристика: „желает переворота и на все готовый“ („Русский архив“ 1885, кн. II, стр. 450)... Буржуазный либерал, Щепкин-сын был, конечно, далек от выдуманной глупостью полиции склонности своего отца к „потрясению основ“, но характерна способность полицейского ока даже в книгоиздательской деятельности меценатского типа видеть „желание к перевороту“. Книги, изданные Щепкиным (отчасти совместно с либеральным московским купцом К. Т. Солдатенковым), вполне мирного характера; это сборники стихотворений Кольцова, Полежаева и Огарева („легального“), сочинения Белинского, этнографические сборники А. Н. Афанасьева, драматические сочинения Шекспира в переводе Кетчера, но по тем годам подобный подбор книг сам по себе был „крамолой“. Якушкин, подаривший Шевченку портрет знаменитого деятеля XVIII века „на пользу просвещения“ Н. И. Новикова,—Евгений Иванович (1826—1905), младший сын декабриста И. Д. Якушкина, юрист-энограф; позже принимал участие в проведении „крестьянской реформы“ в Ярославской губ., принадлежал к либералной части русской интеллигенции той эпохи. В 1905 году он издал записки своего отца.

[427] Ср. выше.

[428] Е. К. Станкевич, рожд. Бодиско, — жена упоминающегося в записи под 20-м марта Александра Владимировича Станкевича (1821—1912), брата Николая Станкевича, памятного в истории русской культуры своим кружком; она приходилась двоюродной сестрой Гранов-

скому („Т. Н. Грановский и его переписка“, т. II, М., 1897, стр. 295; ср. „Московский некрополь“, т. III, стр. 154). Укажем кстати, что Н. М. Щепкин был женат на сестре Станкевича — Александре Владимировне („Русский архив“, 1889, кн. I, стр. 529 и сл; сб. „Русские ведомости“, 1863 — 1913, М., 1913, отд. II, стр. 206).

129 Помещавшийся на Лубянке, в доме Сисалина.

130 Вероятно, родственница Миницкого, о котором есть упоминания в письмах Т. Н. Грановского („Т. Н. Грановский и его переписка“, т. II, по указателю; вряд ли это одно и то же лицо с доктором И. Ф. Миницким, корреспондентом И. С. Тургенева.

131 Знакомый Шевченка со времен ссылки; нам не удалось найти о нем каких-либо биографических сведений.

132 „Летопись событий в Юго-Западной России в XVII в. составил Самуил Величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720“ (4 тома, Киев, 1848, 1851, 1854 и 1864) — одно из виднейших произведений летописного характера, чрезвычайно ценный источник по истории Украины.

133 „Стихотворения Ф. Тютчева“, Спб., 1854 (изд. „Современника“, вышедшее под редакцией Тургенева).

134 Т. е. Н. М. Щепкина, книгоиздательская фирма которого носила название „Н. Щепкин и К⁰“ (ср. выше стр. 388).

135 „О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала. Речь, произнесенная 6 июня 1856 года в торжественном собрании имп. казанского университета“. изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, М., 1857.

136 Е. И. Якушкин был женат с 1848 года на Елене Густавовне Кнорринг (ум. в 1873 году. См. „Алфавит декабристов“, под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, стр. 432).

137 Знаменитый московский историк и археолог Иван Егорович Забелин (1820—1908) в эти годы состоял архивариусом московского дворцового управления („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 30; то же, 1858 — 1859, ч. I, стр. 30), которому была подчинена московская оружейная палата, где директором был талантливый беллетрист тридцатых годов и археолог-диллетант Александр Фомич Вельтман (1800 – 1870).

138 Т. е. к традиционному „пасхальному“ крестному ходу.

[439] Екатерина Романовна Дашкова, рожд. гр. Воронцова (1743 – 1810), видное лицо в царствование Екатерины II, принимала близкое участие в возведении ее на престол в 1762 году, в 1783—1796 гг.— „директор“ Академии наук. В „Полярной звезде“ Шевченко читал статью Герцена „Княгиня Екатерина Романовна Дашкова“, излагающую содержание ее записок, впервые опубликованных на английском языке в 1840 году и представляющих ценный, хотя и очень пристрастный, источник для истории царствования Екатерины II (статья эта перепечатана в VIII томе собрания сочинений Герцена, стр 429—484).

[440] Иван Васильевич (1817—1885) — знаменитый актер-ученик Щепкина по московской театральной школе, сделавшийся затем его преемником на московской сцене. Его перу принадлежит несколько пьес: „Перемелется — мука будет“, „Самозванец Луба“ и др.

[441] Эта эпиграмма не Щербины, с которым Шевченко лично познакомился через несколько дней (см. ниже стр. 278), а талантливого, но теперь совершенно забытого лирического поэта Алексея Николаевича Апухтина (1840 — 1893), в те годы еще только начинавшего свою литературную деятельность. Озаглавленная „Пародия“, эпиграмма эта вызвана стихотворением А. А. Фета, напечатанным в февральской книжке „Русского вестника“, 1858, (т. XIII, февр., кн. II, стр. 397):

* * *

Лесом мы шли по тропинке единственной
В поздний и сумрачный час,
Я посмотрел: запад с дрожью таинственной
 Гас.

Что-то хотелось сказать на прощанье —
Сердца не понял никто;
Что же сказать про его обмирание?
 Что?

Думы ли реют тревожно несвязные,
Плачет ли сердце в груди,
Скоро повысыплют звезды алмазные,
 Жди!

У Шевченка „великолепная“, по оценке Е. Я. Колбасина в письме к Тургеневу („Тургенев и круг „Современника“, Агр. 1930, стр. 354), пародия Апухтина при-

ведена с вариантами в двух первых куплетах („прекрасные“ вм. „прелестные“, „тут“, вместо „там“); последний же куплет дан в совершенно испорченной редакции. В подлиннике текста он читается так:

Много бессмыслиц прочтешь патетических,
Множество фраз посреди,
Много и рифм, а красот поэтических —
Жди!

(Сочинения Апухтина, изд. 7-е, Спб., 1912, стр. 294). Другая же пародия на то же стихотворение Фета („Беседа“) „Подражание неизвестного автора: по форме Фету, по содержанию: самому себе“ (тогда же появилась в „Весельчаке“ (1858, № 21, 18 июня, стр. 171).

[442] Сергей Васильевич Шумский (настоящая фамилия — Чесноков) (1820—1879) — выдающийся актер московской сцены, как и Самарин — ученик Щепкина. В 1845—1851 гг. играл в Одессе.

[443] Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — видный юрист и философ, в 1861—1868 гг. — профессор государственного права в московском университете, консервативный либерал по своим убеждениям и политическим симпатиям. После него остались замечательные воспоминания, изданные лишь частично (в „Записях прошлого“ М. и С. Сабашниковых), под ред. М. А. Цявловского.

[444] Алексей Иванович Кронеберг — сын классика-лингвиста, профессора и ректора харьковского университета Ивана Яковлевича (1788—1838). Ал. И. Кронеберг известен своим переводом „Летописи“ Тацита (М. 1858).

[445] Евгений Федорович Корш (1810—1897) — журналист и переводчик, один из членов кружка Т. Н. Грановского, редактор „Московских ведомостей“ (1843—1848), издатель журнала „Атеней“ (1858—1859). С 1862 года в течение тридцати лет был библиотекарем Румянцевского музея.

[446] Николай Федорович фон-Крузе (1823—1901) — прославленный своим доброжелательством московский цензор, вскоре вынужденный выйти в отставку, вследствие слишком „мягкого“ отношения к печати (состоял цензором при московском цензурном комитете с 25 марта 1855 года по 12 декабря 1858). Позже был председателем петербургской земской управы и членом совета дворянского земельного банка. Он иногда выступал в периодической прессе статьями и заметками по земским и общественным вопросам, большею частью без подписи.

447 Его не следует смешивать с упоминавшимися выше нижегородскими Варенцовыми.

448 Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — известнейшая и своеобразнейшая фигура московского общества на протяжении многих десятилетий; сын крепостного крестьянина, историк-археолог, драматург и журналист, профессор всеобщей и русской истории московского университета в 1826 — 1844 гг., член Академии наук (1841), издатель „Московского вестника“ (1827—1830) и „Москвитянина“ (1841 — 1856). В своих исторических работах и публицистической деятельности он был сторонником консервативного направления и последователем так называемой „официальной народности“ (триединая формула: „православие, самодержавие и народность“, т. е. *крепостное право*), как и его близкий приятель и соратник Степан Петрович Шевырев (1806— 1864), профессор русской словесности и педагогики в московском университете, с чрезвычайной враждебностью выступавший в своих критических статьях против „западников“ (особенно против Белинского).

449 Эти украинские стихи Максимовича под заглавием „25 марта 1858“, были напечатаны после смерти Шевченка в журн. „Основа“, 1861, № 6, стр. 8—без указания фамилии автора (см. перепечатку их в сборнике М. Комарова „Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьскіх, російськіх, білоруських и польскіх поетів“, Одесса, 1912, стр. 9—10).

450 В письме Г. П. Галагана, одного из гостей Максимовича, писанном им к жене через несколько дней после встречи с Шевченком, есть несколько дополнительных сведений об этом обеде в честь поэта: „Максимович дал нам обед на благовещение по случаю возвращения Шевченка. Наш поэт сильно переменился, постарел; над его широким лбом распространилась лысина, густая борода с проседью при его глубоком взгляде дает ему вид одного из мудрых наших дідов — полковников, к которым часто приходят за советом. Обедали у Максимовича: Кошелев с женой, два Аксаковых, Хомяков, Погодин, Шевырев, [П. И.] Бартенев, старушка [А. П.] Елагина и старик Щепкин. За шампанским Максимович прочел премилые стихи в честь Шевченка, в которых сказал, сколько он недоставал для Украины. Между прочим там он говорит, что без тебя:

Твої думки туманами по лугах вставали,
Твої сльози росицею по степах спадали,
Твої пісні соловейком в садах щебетали!

Не правда ли, прелестно? Сам Щепкин навзрыд плакал— он щирий малороссиянин. После обеда Шевченко прелестно пел с женою Максимовича. А Москали слушали хорошо, потому что все хороший народ („Записки, ст.-філі відділу Укр. Акад. наук“, кн. VII - VIII, стр. 378—37?).

[451] Одна из младших дочерей С. Т. Аксакова (род. в 1829 г., ум. в 1869. См. А. А. Сиверс „Генеалогические разведки“, вып. I, Спб. 1913, стр. 95).

[452] Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — публицист и общественный деятель славянофильского направления, финансировавший ряд славянофильских периодических изданий, автор любопытных воспоминаний. Он был женат на Ольге Федоровне Петрово-Соловово (1816—1893). (В. В. Руммель и В. В. Голубцов“, „Родословный сборник русских дворянских фамилий“, т. I, стр. 431; „Московский некрополь“, т. II, стр. 97).

[453] Она помещалась „по Михайловской улице, против дома Дворянского собрания, где теперь гостиница „Европейская“ („Исторический вестник“, 1886, № 11, стр. 415. Ср. „Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка“, писанные на русском языке, стр. 308—309).

[454] Григорий Петрович Галаган (1819—1888) — украинский общественный деятель и этнограф, основатель (1869) закрытого учебного заведения с классической программой „Коллегия Павла Галагана“, названная им так в память умершего сына. Человек очень богатый, он в конце жизни, с 1882 года, был членом государственного совета, когда либеральные украинофильские симпатии молодежи ему стали совершенно чужды. Цитату из его письма к жене о Шевченке мы привели выше (стр. 392).

[455] Написанная еще в 1845 году поэма Шевченка о знаменитом деятеле чешского национального возрождения XV в. „Эретик або Іван Гус“ полностью опубликована лишь в 1907 году по авторской рукописи, отобранной у него при обыске в 1847 году и пролежавшей 60 лет в архиве департамента полиции. После освобождения от солдатчины Шевченко усиленно разыскивал полный текст своей поэмы у приятелей и знакомых, — в надежде, что он дал в свое время кому-нибудь в виде автографа „на память“, но

розыски эти были тщетны. Неполною оказалась и рукопись, присланная Максимовичем: см. переводы „Еретика“ — И. А. Белоусова („Кобзарь“ в его переводе, изд. 2-е, М. 1919, стр. 130—140) и М. Славинского (изд. „Кобзаря“, под его ред., стр. 84—88).

456 С неменьшей задушевностью встреча семьи Толстых и Шевченка описана в воспоминаниях младшей дочери гр. Ф. П. Толстого — Екатерины Федоровны (впоследствии Юнге): „Отец, кажется, поехал встречать его на станцию железной дороги, а мы дома с замиранием сердца ждали, смотрели в окошко и, как всегда бывает, просмотрели, так что возглас кого-то: „приехали!“ застал нас врасплох; мы не успели выбежать навстречу,—Т. Гр. уже вошел в залу. Среднего роста, скорее полный, чем худой, с окладистой бородою, с добрыми, полными слез глазами, он простер к нам свои объятия. Все мы были под влиянием такой полной, такой светлой, такой трогательной радости! Все обнимались, плакали, смеялись, а он мог только повторять: „Серденьки мои! други мои!“ — и крепко прижимал нас к своему сердцу...“ (Е. Ф. Юнге, „Воспоминания“ [М., 1913], стр. 164). Отметим ошибку, допущенную Е. Ф. Юнге: ее отец *не* встречал Шевченка на вокзале.

457 Василий Михайлович Белозерский (1823—1899), бывший позже (в 1861—1862 гг.) редактором издававшегося в Петербурге „южно-русского литературно-ученого журнала“ „Основа“, за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе пострадал сравнительно легко: во внимание к его „благородству и откровенности“ на допросах наказание ему ограничилось высылкой на службу „под надзор“ в Олонецкую губернию. В пятидесятых годах Белозерский возвратился в Петербург и служил в канцелярии петербургского военного генерал-губернатора, занимая место „начальника I отделения канцелярии“ („Адрес-календарь“, 1858—1859, ч. II, стр. 159). Его сестра была замужем за П. А. Кулишем (ср. выше стр. 326).

458 Ян Станевич — поляк, сосланный за политические провинности в Оренбург, где Шевченко с ним и познакомился.

459 Эдуард-Витольд Желиговский (а не Желяковский, как у Шевченка) (1816—1864) — польский поэт, писавший под псевдонимом „Антоний Сова“. Питомец дерптского университета (1833—1836). Album academicum der kaiser-

lichen Universität Dorpat, „Dorpat." 1889, стр. 228, № 3176), он по окончании высшего образования жил в Вильне и в виленском округе. Общее направление его протестующей поэзии, пропитанной народническими настроениями, определило (1851 г.) высылку поэта-идеалиста на службу в Петрозаводск, где он одно время жил с В. М. Белозерским. Позднее его перевели в Оренбург, где он числился в штате оренбургского гражданского губернатора „младшим чиновником особых поручений" (Ср. „Адрес-календарь", 1857, ч. II, стр. 104). Здесь, очевидно, он и познакомился лично с Шевченком. В 1857 году ему было разрешено жить в Петербурге, но он недолго пользовался этим разрешением и в 1860 году эмигрировал за границу. См. о нем еще ниже, стр. 419.

[460] Иван Николаевич Таволга-Мокрицкий, правитель канцелярии петербургского обер-полицмейстера, происходивший из дворян Полтавской губернии, был женат на „землячке" и хорошей знакомой Шевченка Марии Львовне Свечке, дочери упоминавшегося выше (стр. 331) Л. Н. Свечки и племянницы известного писателя Е. П. Гребенки (В. Л. Модзалевский, „Малороссийский родословник", т. IV, стр, 582—583); с ней Шевченко встретился несколько позже — 6-го апреля (см. запись под этой датой). С семьей Мокрицких Шевченко и впредь не порывал знакомства; И. Н. Мокрицкому адресовано последнее письмо поэта (от 24-го февраля 1861 г.), писанное за 2 дня до смерти („Повне зібрання творів Т. Шевченка", т. III, стр. 207)... Вероятно *братом* этому „полицейскому" Таволге-Мокрицкому приходился Петр Николаевич Таволга, знакомец М. А. Маркович („Твори Марка Вовчка", под ред. Ол. Дорошкевича, т. IV, [Київ] 1928, по указателю), автор стихотворения на смерть Шевченка („Над домовиною Т. Шевченка"), напечатанного в „Основе", 1861 (№ 3, стр. 10 и в Сб. М. Комарова „Вінок Т. Шевченкові із віршів..." Одеса 1912, стр. 17—19).

[461] Гр. Петр Андреевич Шувалов (1827 — 1889) был петербургским обер-полицеймейстером в 1857 — 1860 гг. („Отчет по государственному совету за 1889 г.", СПб., 1890, прилож., стр. 79). В 1866—1874 гг. он состоял шефом жандармов и главным начальником III отделения, затем послом в Лондоне и членом государственного совета. Противник „реформ" Александра II, он пользовался, однако, громадным влиянием на царя; „в публике

его называли даже „вице-императором“ („Воспоминания Е. М. Феоктистова“, под ред. Ю. Г. Оксмана, Лгр. 1929, стр. 107), а Герцен по тем же основаниям дал ему прозвище „Петр IV“, прочно к нему приставшее. О представлении ему Шевченка см. запись в дневнике под 6 апреля (ниже стр. 278).

462 Василий Михайлович Лазаревский (1817—1890) — старший из шести братьев Лазаревских, близкий Шевченку человек, состоявший в это время правителем канцелярии министра государственных имуществ; с 1863 года — вице-директор департамента общих дел министерства внутренних дел, с 1866 года член совета министра внутренних дел и главного управления по делам печати. Он принимил кое-какое участие в литературе, печатал повести и рассказы в журналах сороковых и пятидесятых годов и перевел несколько пьес Шекспира. Его живо написанную брошюру „Об истреблении волком домашнего скота и дичи и об истреблении волка“ (Спб., 1876). И. С. Тургенев в письме к нему любезно сравнил с подобными сочинениями С. Т. Аксакова“ (!) („Тургенев и его время“, Сб. I, под ред. Н. Л. Бродского, М., Пгр.-1923, стр. 289).

463 У Шевченка здесь явная ошибка, обнаруживающая странные провалы памяти (ср. в записи под 10 февраля — выше стр. 250): с В. М. Лазаревским, как свидетельствует целый ряд неопровержимых доказательств, он встретился 29 марта 1858 года совсем не впервые. Его знакомство с ним относится к 1847—1848 гг., когда Лазаревский, служивший в штате председателя Оренбургской пограничной комиссии, проживал в Оренбурге.

464 „Сегодня вечером были мы, — читаем в дневнике Е. А. Штакеншнейдер под 2 марта 1858 года, — в театре-цирке... на представлении *Роде: Образование земной коры.* Это представление в 40 картинах, которые изображают постепенное развитие земной поверхности до ее нынешнего состояния. — Наглядно и понятно изображена земля сперва в жидком состоянии, газа; потом этот газ горит, и после этого наружная сторона шара кристаллизуется, хладеет и твердеет и на ней показывается растительность, но потоки воды ее заносят, и таким образом образуется первый слой земли, и так далее. — Затем показываются превращения в недрах ее и различные минералы и иные свойства. — Картины меняются беспрестанно. И, наконец, после разных чудовищ, нам

незнакомых, появляются животные знакомые и, наконец, человек. — Затем была показана в ряде картин твердь небесная со светилами и их системами. Затем ряд картин нашего времени, и в заключение играл большой калейдоскоп“ („Голос минувшего“, 1915, № 11, стр. 199). Предприятие Роде, которое высшая церковная власть признала „весьма вредным для народной веры и нравственности“ (Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. IX, стр. 256), вызвало ряд заметок в современных газетах. „Мысль – представить нам, посредством фантасмагорических картин, геологические изменения поверхности земного шара, очень счастливая мысль, — писал обозреватель петербургской жизни „Сына отечества“ (1858, № 5, 2 февраля, стр. 142), — потому что только этим способом и можно достигнуть до изображения той постепенности которая, вероятно, господствовала при этих изменениях; но от мысли до выполнения еще очень далеко, и надо сознаться, что выполнение не совсем удачно, тем более что впечатлению, производимому картинами, много вредит ломаный русский язык, на котором производится объяснительное чтение, вдобавок еще не всегда совпадающее с изображениями“. См. тот же „Сын отечества“ 1858 г., № 7, 16 февраля, стр. 197, „Петербургские ведомости“ № 60, 16 марта, стр. 341, и „Северную пчелу“, № 65, 22 марта (ст. Ф. Лесгафта „Несколько слов о геологических картинах г. Роде). Спектакли Роде вызвали нижеследующие стихи в уличном журнальчике „Пустозвон“ (от 5 апреля 1858 года, стр. 1):

Недавно были в моде
Спектакли в новом роде:
Показывал нам Роде
При всем честном народе,
Как в девственной природе —
Урод жил на уроде.

[465] Николай Андреевич Лавров (1820—1875) — художник-портретист, бывший учеником Брюллова одновременно с Шевченком. В 1849 году получил звание академика (С. Н. Кондаков, „Список русских художников к юбилейному справочнику Академии художеств“ [Пгр., 1915], стр. 108; Ф. И. Булгаков, „Наши художники“, т. II, Спб. 1890, стр. 6).

[466] Алексей Лукашевич — „ученик и любимец великого Брюллова“ по позднейшему указанию Шевченка (ниже стр. 291) окончил Академию художеств по архитектурному отделению в 1839 году (как стипендиат Главного управления путей сообщения и публичных зданий), получив звание художника XIV класса (С. Н. Кондаков, цит. соч. стр. 353).

[467] Т. е. Николая I.

[468] Давнишний знакомый Шевченка — очевидно, еще со времен учения в Академии художеств (ср. „Повне зібрання творів Т. Шевченка“, т. III, стр. 31, 253 и 255). Его имя несколько раз встречается в дневнике Шевченка, но личность этого „старого знакомого и щирого земляка“ поэта не установлена. О знакомстве с Шевченком сам он оставил несколько строк — в связи с принадлежавшим ему автопортретом поэта 1859 года, воспроизведенным в „Русской старине“ 1891, „Портрет Шевченка, написанный им самим в 1859 году, подарен мне покойным Тарасом Григорьевичем, в память многолетней искренней между нами приязни. О взаимных наших близких отношениях можно читать в оставленных Шевченко Записках, напечатанных в журнале „Основа“, 1861, если не ошибаюсь, года. („Русская старина“, 1891, № 5. стр. 447. Ср. у Ол. Новицького, „Тарас Шевченко як маляр“, Львів - Москва, 1914, стр. 40 и его же заметку в сб. „Шевченко та його доба“, зб I, ДВУ 1925, стр. 196—197).

[469] Василий Александрович Кокорев (1817 — 1889) — крупный капиталист той эпохи, приобревший огромное состояние винными откупами; он иногда выступал в печати в роли публициста экономиста, старательно подчеркивая во второй половине пятидесятых годов свою „либеральность“.

[470] О нем часто упоминается в дальнейших записях дневника, но личность этого „обязательного“, по характеристике Шевченка его приятеля, установить нам не удалось. А. Я. Кониский в своей книге о Шевченке (А. Кониський, „Тарас Шевченко - Грушівський, хроніка його життя“, т. II, Львів. 1901, стр. 332) называет Сошальского богатым помещиком, и это указание дает право предположить, что речь идет об одном из представителей богатого дворянского рода, носившем двойную фамилию *Розалион-* (или *Розеллион-*) *Сошальских*. В те годы был известен генерал Александр Григорьевич Роза-

лион-Сошальский, автор „Записок русского офицера, бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 гг.“ („Военный сборник“ 1858, №№ 5—7; ср. „Русскую старину“, 1885, № 1, стр. 227). Ему посвящено стихотворение А. С. Афанасьева-Чужбинского 1850 года „Партизан“ (Собрание сочинений А. С. Афанасьева (Чужбинского), т. IX, Спб. 1892, стр. 85—91) и возможно, что его же перу принадлежат краткие воспоминания о харьковском университете, оканчивающиеся на 1816 году, когда автор покинул университет (А. Розалион-Сошальский, — „Мои воспоминания (По поводу статей гг. А. Лавровского и К-ого“) — „Харьковские губернские ведомости“, 1869, № 43, 15 апреля, и № 41, 17 апреля). Во всяком случае, приятеля Шевченка нужно отожествить с тем Розалион-Сошальским, которого Штакеншнейдер в своем дневнике 1856—1857 гг. называет, на ряду с гр. А. И. Толстым, Г. П. Данилевским и некоторыми другими в числе друзей Н. Ф. Щербины, „носившихся“ с ним и всячески о нем хлопотавших („Голос минувшего“, 1915, № 11, стр. 185). По поводу небольшого скандала, учиненного подвыпившим поэтом Л. А. Меем на вечере у Штакеншнейдеров она замечает о Сошальском: „Сошальский на то и бил, чтобы произошел пущий скандал и, хотя он барин, богатый помещик, но выказал себя в этот вечер именно таким, каким он мне с первого раза показался: неприличным человеком, не умеющим вести себя в обществе, к которому принадлежит. Щербина и Мей—другое дело. Щербина и не имеет претензий быть светским человеком и знать все приличия светского человека; не будь он поэтом, то вероятно, он и не бывал бы никогда в тех домах, где бывает; и вторил он Сошальскому, вероятно, не вполне ясно понимая, что он делает, что так поступать можно в трактирах, а не в семейных домах. Что же касается Мея, то он премилый и, конечно, вполне приличный и умеющий себя вести во всяком обществе, но он, увы, одержим пороком — он пьет“. „Одно хорошо в этом, — заканчивает Е. А. Штакеншнейдер свою запись о взволновавшем ее столкновении гостей ее семьи, — что Сошальскому отказано от дома“ (там же, стр. 173). Припомним еще, что в „деле о распространении „зловредных“ сочинений среди студентов харьковского университета в 1827 году“, опубликованном М. А. Цявловским („Эпигоны декабристов“ — „Голос минувшего“, 1917 № 7 — 8,

стр. 95—99), одним из главных действующих лиц является студент Владимир Розалион-Сошальский, автор „крамольного“ стихотворения „Рылеев в темнице“, впоследствии раскаявшийся в своих заблуждениях и поступивший на военную службу.

[471] Мария Степановна Кржиевич (1824—1905), рожд. Задорожняя, „хорошенькая, веселая и приветливая барынька“, как ее характеризует в своих записках М. И. Глинка („Записки“, под ред. А. Н. Римского-Корсакова, М.-Лгр., 1930), посвятивший ей свой романс „Не называй ее небесной“. Она приходилась племянницей известному в тридцатых - сороковых годах своим скуповатым „меценатством“ богачу Г. С. Тарновскому, в доме которого, вероятно, и состоялось знакомство с ней Шевченка. В своем дневнике, он по обычаю, искажает ее фамилию — пишет: Гженсевич, Гресевич.

[472] Судя по записи под 13 мая (ниже, стр. 294), можно думать, что Градович—врач. В таком случае это „лекарь“ Эдуард Александрович Градович, врач петербургского опекунского совета, ординатор Александринской женской больницы, ранее прилукский и лохвицкий (Полтавской губ.) уездный врач („Российский медицинский список на 1858 год“, стр. 84; „Адрес-календарь“ 1858 — 1859, ч. I, стр. 308; Л. Ф. Змеев, „Русские врачи-писатели“, вып. I, Спб., 1886, стр. 76).

[473] Опера Даниэля - Франсуа Обера (1782 — 1871). известного французского композитора, автора популярных комических опер: „Фра-Диаволо“, „Фенелла“ и др.

[474] Осип Александрович (1807 — 1878) — талантливый певец-бас петербургской сцены, создатель роли Сусанина в „Жизни за царя“ Глинки.

[475] Запретная в России в те годы, к которым относится дневник Шевченка, сатира Беранже в переводе Курочкина позднее печаталась в заграничных сборниках — но, конечно, без указания фамилии автора (см. „Полярную звезду на 1861 год“, кн. VI, стр. 209—211 и „Лютня Сборник свободных русских песен [sic] и стихотворений“, Лейпциг, 1869, стр. 121—123).

[476] Ср. выше стр. 371.

[477] Александр Львович Элькан (1819—1869) — своеобразная фигура „старого Петербурга“, мелкий журналист и переводчик, вездесущий и всеведующий сплетник с подлинными хлестаковскими чертами: в эти годы

числился „переводчиком департамента искусственных дел главного управления путей сообщения и публичных зданий“ („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 245, 1858—1859, ч. I, стр. 271). Он был знаком Шевченку еще со времен академического учения поэта, о чем свидетельствует повесть „Художник“ и ряд упоминаний в письмах Шевченка. Об Элькане см. обстоятельную заметку Н. Л. [Н. О. Лернера] „Прототип Загорецкого“ в „Русской старине“, 1908, № 12, стр. 607 - 613; ср. „Пушкин и его современники“, вып XXIX—XXX, стр. 108 - 110.

478 Личность неизвестная.

479 На выставке Академии художеств были две картины Калама — „Лес“ и „Вид части озера четырех кантонов в Швейцарии“, а также выполненные им гравюры à l'eau forte с собственных картин — „два вида в Швейцарии“ („Указатель художественных произведений, выставленных в музее имп. Академии художеств“, Спб., 1858 (цензурн. разрешение от 4 апреля 1858), стр. 10 и 18, №№ 91, 92, 99 и 228); ср. Эрмион [Н. И. Греч] — „Пчелка. Газетные заметки“ — „Северная пчела“, 1858, № 81, 14 апреля, стр. 377). Шевченко посетил выставку едва ли не в первый день ее открытия.

480 Талантливый польский виртуоз-пианист и композитор (родился 1816, умер 1899), живший в Петербурге в 1854—1867 гг.

481 Автор звучных антологических стихотворений и ядовито-желчных эпиграмм, из которых многие до сих пор не увидели света, Николай Федорович Щербина (1821—1869) был частым посетителем дома Толстых, являясь, по выражению дочери Ф. П. и Н. И. Толстых — Екатерины Федоровны, „душой нашего общества“ (Е. Ф. Юнге, „Воспоминания“, стр. 62). Там он часто встречался с Шевченком, заинтересовавшимся еще в ссылке его оригинальным и ярким талантом.

482 Иван Иванович (1823—1910) — жанрист и пейзажист, с 1860 г. профессор Академии художеств, написавший целый ряд картин из жизни украинской деревни.

483 Речь идет о генерал-майоре Иване Михайловиче Корбе (род. 1800), бывшем с 1 декабря 1849 года управляющим казанскою комиссариатскою конторою и 15 декабря 1857 года уволенном от службы с мундиром (год его смерти неизвестен). Он происходил из дворян Полтавской губернии, воспитывался в Пажеском корпусе

(О. фон-Фрейман, „Пажи за 185 лет“, стр. 216), в молодости служил в кавалергардском полку и одно время (с 24 марта 1844 по 29 января 1848 года) состоял управляющим киевской комиссариатской комиссией („Сборник биографий кавалергардов 1801—1826“, Спб., 1906, стр. 344, с портретом; ср. П. О. Бобровский, „История лейб-гвардии уланского... полка“, т. II, прилож., Спб., 1903, стр. 109—110, „Полное собрание сочинений М. И. Глинки“, собр. Н. Финдейзен, Спб., 1904, стр. 31). Переписка Шевченка с упоминаниями о Корбе свидетельствует, что он был с ним близко, приятельски знаком. Корба женат не был (ср запись в дневнике под 11 апреля — ниже стр. 280).

[484] Шевченко разумеет, конечно, *первую* и наиболее популярную из двух севастопольских песен—о сражении при Черной речке 4 августа 1855 года: „Как четвертого числа, Нас нелегкая несла Горы занимать, Горы занимать“. Вновь найденные материалы подтверждают мнение большинства современников, считавших автором этой будто бы коллективной песни одного Толстого (Вс. И. Срезневский, „К вопросу о принадлежности Л. Н. Тостому севастопольских песен“ — „Литературная мысль“, III, Лгр., 1925, стр. 387—392. Ср. „Архив Раевских“, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. V, П. 1915, стр. 364—366).

[485] Степан Александрович Хрулев (1807—1870), боевой генерал, пользовался тогда большой известностью как один из видных деятелей обороны Севастополя, во время которой он был ранен.

[486] Личность неизвестная.

[487] Известного скульптора Николая Александровича (1815 — 1867), бывшего профессора - преподавателя скульптуры в московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он окончил Академию художеств в 1839 году.

[488] Гулак - Артемовский.

[489] Издание было осуществлено, и книга („Кобзарь“ Т. Шевченко, коштом [иждивением] Платона Симиренка“) вышла в свет через два года (Спб., 1860, стр. 344, с портретом автора). О нем см. статью В. В. Данилова, „К цензурной истории сочинений Т. Г. Шевченка“, „Начало“, 1921, № 2, стр. 239—255.

[490] Жена О. А. Петрова, Анна Яковлевна, рожд. Воробьева (1816—1901)—также известная оперная певица, выступавшая на сцене с 1833 года.

[491] В отрицательном мнении Шевченка о Некрасове отразилось, очевидно влияние его некоторых друзей — С. Т. Аксакова, П. А. Кулиша, враждебно относившихся к личности Некрасова из-за неблагоприятных слухов о его моральных качествах и переносивших эти чувства на его творчество.

[492] „Ренсковый погреб“ (и одновременно „фруктовая лавка“) Сергея Герасимовича Смурова пользовалась тогда большой популярностью среди зажиточной части петербуржцев; он помещался на Большой Морской улице.

[493] По словам Е. Ф. Толстой, на этом обеде в честь Шевченка „присутствовали, кроме наших общих друзей, еще многие его земляки-малороссы, между прочими и Маркович (Марко Вовчок); говорилось много искренних и трогательных речей; говорил и отец мой; Шевченко был так растроган, что не мог кончить своей речи от слез“ (Е. Ф. Юнге. „Воспоминания“, стр. 164—165). М. А. Маркович, однако, в Петербурге тогда еще не проживала, так что Е. Ф. Юнге ошибается, утверждая, что она была на этом торжестве в честь Шевченка.

[494] Педагог, учитель дочери Толстых—Екатерины (впоследствии Юнге). Кроме ее восторженных воспоминаний об этом „большом идеалисте и мечтателе“ („Воспоминания“, стр. 145—147), а также воспоминаний Б. Суханова-Подколзина („Киевская старина“, 1885, № 2, стр. 237—238), очень любопытны страницы, отведенные Старову в воспоминаниях его ученицы по одному из петербургских женских институтов Е. Н. Цевловской — будущей жены К. Д. Ушинского — из которых ясно, что знаменитый педагог был вполне прав, определив Старова как „чистейший тип сантиментального фразера и говоруна“ (Н. Титова) [Е. Н. Цевловская]. - „К. Д. Ушинский и В., И. Водовозов. Из воспоминаний институтки“, — „Русская старина“, 1887, № 2, стр. 485). Портрет Старова приложен к воспоминаниям Е. Ф. Юнге (при стр. 272), а описание его альбома, в котором нашелся автограф Шевченка—стихотворение „Сон“ дано И. Ерофеевым в журн. „Червоний шлях“, 1927, № 11 (54) стр. 265—268. Текст либерального „слова“ Старова на обеде в честь Шевченка приведен в записи под 17 апреля.

[495] Фешенебельный ресторан на Большой Морской улице.

[496] Ср. выше и ниже, стр. 297.

497 С. С. Гулак-Артемовский был частым посетителем дома всемирно прославленного математика Михаила Васильевича Остроградского (1801—1861), полтавца родом. Вместе с знаменитым ученым он „вечера просиживал за столоверчением, чему сам искренно верил и в чем если и не убеждал Остроградского, то все же таки заставлял призадумываться и говорить: „да, да,—многое еще от человека сокрыто!“ З. Недоборовский“, „Мои воспоминания“ („Киевская старина“, 1893, № 2, стр. 190).

498 Известная в свое время поэтесса Юлия Валериановна Жадовская (1824—1883), выступавшая также (хотя с меньшим успехом) и с прозаическими произведениями, родилась калекою: без левой руки и с тремя пальцами на правой, — чем и объясняется сожалительная фраза Шевченка.

499 Владельцем крепостного Шевченка был киевский помещик Павел Васильевич Энгельгардт (1799 — 1849), „гвардии полковник в отставке“, питомец Пажеского корпуса, ранее служивший в Казанском драгунском полку, а затем перешедший в Лейб-гвардии уланский полк; внебрачный сын своего холостого отца, усыновленный через два года после рождения, он приходился внучатым племянником Потемкину (О. фон-Фрейман, „Пажи за 185 лет“, стр. 212, 852; П. О. Бобровский, „История лейб-гвардии уланского... полка“, т. II. прилож. Спб., 1903, стр. 74—75; Н. А. Энгельгардт, „Давние эпизоды“ — „Исторический вестник“, 1911, № 5, стр. 542, 545, 556 — 559, кн. А. Б. Лобанов-Ростовский, „Русская родословная книга“, изд. 2-е, т. II, стр. 426, № 229; „Петербургский некрополь“, т. IV, стр. 648). Типичный крепостник, он отличался всеми качествами, присущими помещичьей „породе“ этого сорта, и от своего бывшего крепостного „казачка“ заслужил краткую, но энергичную характеристику в повести „Художник“, вложенную автором в уста Брюллова: „самая крупная свинья в торжковских туфлях“ („Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке“, стр. 275). Портрет его, работы крепостного Шевченка, воспроизведен в изд. „Шевченко та його доба“, зб. I [Київ], 1927, при стр. 20; другой портрет (неизвестно чьей работы) см. в „Историческом вестнике“, 1911, № 5, стр. 537. — Совсем другими чертами рисуется его сын Василий Павлович (1828—1910), встречу с которым отметил в дневнике Шевченко. Он памятен в истории

русской музыки своими связями с рядом видных композиторов и музыкантов, особенно дружбой с М. И. Глинкой; благодаря его заботам Публичная библиотека в Ленинграде обладает ценнейшим собранием автографов Глинки. Уже в те годы, к которым относится дневник Шевченка, В. П. Энгельгардт являлся крупной фигурой в музыкальном мире Петербурга, отличаясь большой приветливостью и любезностью, подкупившей и Шевченка. Он обладал также солидными сведениями в области астрономии и имел собственную обсерваторию, построенную им в 1872—1879 гг. недалеко от Дрездена, где он постоянно проживал. В 1896—1897 гг. он построил новую обсерваторию около Казани и принес ее в дар казанскому университету со всем имуществом. Тогда же он был избран почетным членом университета, а еще раньше (1889)—членом-корреспондентом Академии наук по разряду математических наук (Б. Л. Модзалевский, „Список членов имп. Академии наук 1725—1907", Спб. 1908, стр. 272; ср. „Исторический вестник", 1911, № 5, стр. 557—559, с портретом на стр. 543).

[500] Карташевские — Варвара Яковлевна (1832—1902), сестра упоминающегося ниже (стр. 418) Н. Я. Макарова и, очевидно, ее дочь Надежда Владимировна (1852 — 1916). В. Я. Карташевская была замужем за Владимиром Григорьевичем Карташевским, служившим по департаменту уделов министерства имп. двора и уделов („Адрес-календарь", 1858—1859, ч. I, стр. 22; ср. „Адрес-календарь", 1857, ч. II, стр. 187), и состоявшим в „свойстве" с семейством С. Т. Аксакова (А. А. Сиверс, „Генеалогические разведки", вып. I, Спб., 1913, стр. 93). У них по вечерам собирались как петербургские украинцы, так и многие литераторы—Писемский, П. В. Анненков, Тургенев (см. его письма к В. Я. Карташевской в сообщении С. А. Переселенкова—„Голос минувшего", 1919, №№ 1—4, стр. 207—220); в доме Карташевских разыгрался последний роман Шевченка, его неудачное сватовство к Лукерье Полусмаковой, крепостной горничной Карташевской. См. „Из воспоминаний В. Я. Карташевской о Т. Г. Шевченке".—„Киевская старина", 1900, № 2, отд. II, стр. 61—63.

[501] Кн. Василий Андреевич Долгоруков (1804 — 1868) состоял шефом жандармов и главным начальником знаменитого III отделения с 1856 года; пост „начальника всех доносчиков в России" (выражение Герцена) он занимал в течение десяти лет.

[502] Трофим Семенович Тупица (ум. 1870), питомец Нежинского лицея, в эти годы служил в инспекторском департаменте гражданского ведомства „делопроизводителем 3 экспедиции“ („Адрес-календарь“, 1858—1859, ч. I).

[503] Степан Степанович Громека (1823—1877)—либеральный публицист конца пятидесятых годов, пользовавшийся тогда особенно широкой известностью за свои выступления в либеральном еще „Русском вестнике“ с обличительными статьями о злоупотреблениях полиции и чиновничества,— „бурно-пламенный Громека“, как его называли в литературных кружках (а иногда и в печати) за темпераментность и страстность его публицистических выступлений. Он раньше служил... в жандармах, а в 1867—1875 гг. занимал пост седлецкого губернатора и был ревностным деятелем по „воссоединению“ униатов с православной церковью, получив, благодаря этому, прозвище „Степан-Креститель“. „Чаще остроумный, но еще чаще злой и насмешливый поэт Н. Ф. Щербина“,—пишет Лесков в одной из своих газетных статей, „говорил, что Громека, подобно Мурильо писал в трех манерах“. Известно, что есть картины Мурильо в серебристом, в голубом и в коричневом тонах. Первые писания Громеки, против административного своеволия („Русский вестник“, М. Н. Каткова) шутливый поэт приравнивал к первой манере, т. е. серебристой; вторая „голубоватая“ началась в „Отечественных записках“, когда Громека рассердился на непочтительность либералов и по приведенной гр. Л. Н. Толстым хорошей поговорке „рассердясь на блох, и кожух в печь бросил“. В третьей же манере которая должна соответствовать мурильевской коричневой, написаны сочинения, до сих пор недоступные критике. Это литература самого позднейшего периода, который относится к „крестительству“ (Н. Лесков, „Откуда пошла глаголемая „ерунда“ или „хирунда“.—„Новости и Биржевая газета“, 1854, изд. 1-е № 243, 3 сентября).

[504] Среди декабристов и вообще прикосновенных к декабрьскому восстанию нет лица с подобной фамилией (ср. сборн. Академии наук СССР „Памяти декабристов“, I, стр. 65 и 96); очевидно, в данном случае — довольно обычное у Шевченка искажение фамилии, известной ему лишь по устному произношению. Один из комментаторов академического издания дневника Шевченка высказал вполне вероятное предположение, что в записи поэта

имеется в виду декабрист Николай Николаевич Оржицкий (1796—1861). Внебрачный сын гр. Петра Кирилловича Разумовского, отставной штабс-ротмистр Ахтырского гусарского полка, он не принадлежал к основному ядру деятелей северного тайного общества, хотя знал о „существовании и цели общества—введении конституции". Осужденный по девятому разряду, он был определен рядовым на Кавказ, отличился в одном из сражений и, благодаря хлопотам влиятельной родни, уже в 1832 году был уволен от службы с обязательством жить в деревне и с запрещением въезда в столицы; через десять лет, в 1843 году, он, однако, получил „высочайшее соизволение" на периодические наезды в Петербург с разрешения шефа жандармов, амнистия же 1856 года освободила его от всех ограничений („Алфавит декабристов" под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, стр. 142, 368—369).

[505] См. ниже.

[506] Молодой генерал Крылов, пришедшийся столь не по душе Шевченку, в записи М. М. Лазаревского на полях подлинной рукописи дневника охарактеризован кратко, но выразительно: „известный каналья". Повидимому, это Александр Дмитриевич Крылов (1821 — 1887), который в те годы в „штатском" генеральском чине действительного статского советника (полученном им 17 апреля, 1857), числился „состоящим по военному министерству" („Адрес-календарь", 1858—1859 г., ч. I стр. 43). Кандидат прав харьковского университета, он начал службу в 1839 году в канцелярии Харьковского учебного округа, а в 1848 году был близок к памятному в летописях русской печати секретному цензурному комитету „2-го апреля" („Русская старина", 1899, № 10, стр. 13—14). Быстро затем продвигаясь по лестнице служебных успехов, он 2 февраля 1855 года получил назначение директором канцелярии главнокомандующего военными сухопутными и морскими силами, в Крыму находящимися (Н. М. Затворницкий, „Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся членов общего состава канцелярии военного министерства с 1802 по 1902 год включительно", стр 553). Впоследствии состоял членом военного суда („Список гражданским чинам первых четырех класов", ч. I, Спб., 1883, стр. 183) и умер в чине действительного тайного советника („Петербургский некрополь", т. II, стр. 540). В печати известны отрывки из его

воспоминаний, относящиеся к его служебной деятельности („Русская старина", 1873, № 6, стр. 843—844 и 1880, № 3, стр. 573—586).

507 Лев Александрович (1822—1862)—видный поэт, драматург и переводчик, в настоящее время, однако, прочно забытый.

508 Перевод Мея первоначально без заглавия появился в журнале „Народное чтение", 1859, № 3, стр. 153. Даем его текст по изданию „Кобзаря" Шевченка, под ред. Н. В. Гербеля (изд. 3-е, Спб., 1876, стр. 115).

ВЕЧЕР

Вишневый садик возле хаты;
Жуки над вишнями гудят;
Плуг с нивы пахари тащат
И, распеваючи, девчаты
Домой на вечерю спешат.

Семья их ждет,—и все готово.
Звезда вечерняя встает—
И дочка ужин подает,
А мать сказала бы ей слово,
Да соловейко не дает.

Мать уложила возле хаты
Малюток-деточек своих;
Сама заснула возле них...
Затихло все... одни девчата
Да соловейко не затих.

Повидимому, Мей для печати несколько переработал данный Шевченку перевод, так как в собрании его сочинений (т. I, Спб., 1911, стр. 357—358) под переводом поставлена дата: „11 мая 1859".

509 В дневнике Шевченка оно уже было раз переписано (см. выше стр. 159—160).

510 Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885), профессор гражданского права петербургского университета, принадлежал к числу наиболее прогрессивных людей своей эпохи. Он покинул университет в 1861 году с группой видных профессоров—Костомаровым, А. Н. Пыпиным, М. М. Стасюлевичем и некоторыми другими вышедшими в отставку в виде протеста против жестоких мер, к которым прибегло правительство при ликвидации студенческих беспорядков.

511 Братьев Жемчужниковых было пятеро; лишь предположительно можно думать, что Шевченко в этот день познакомился с Львом Михайловичем (о котором см. выше стр. 363) и Алексеем (1821—1908), известным поэтом, состоявшим в это время помощником статс-секретаря отделения законов государственной канцелярии („Адрес-календарь , 1857, ч. II, стр. 40).

512 Дарья Михайловна (1835—1896), широко известная в свое время оперная певица-контральто, голос которой очень нравился самому Глинке. Ей принадлежат любопытные воспоминания, напечатанные в „Историческом вестнике“, 1891, (№№ 1—4).

513 Произведение, до нас не сохранившееся. Есть основания предполагать, что оно было уничтожено самим автором как неудавшееся.

514 Т. е. Гринберг, Изабелле Львовне, талантливой салонной певице, дочери варшавского доктора, имевшей небольшой литературно-артистический „салон“. „Уже немолодая девушка. но очень кокетливая“, — вспоминает о ней Е. Ф. Юнге („Воспоминания“, стр. 135), она была талантлива, умна, жива и обладала большим и хорошо обработанным голосом“.

515 Кузьмин, Роман Иванович (1810—1867), профессор архитектуры Академии художеств, знакомый Шевченку со времени учения в Академии. О нем см. воспоминания И. И. Свиязева в „Русской старине“, 1875, (№ 5, стр. 155—158).

516 „У Даргомыжского был истинно композиторский голос,—вспоминает его приятель Ц. А. Кюи,—несколько хороших высочайших теноровых нот, а остальной регистр слабоватый, хрипловатый и какой-то смешной по звуку. Несмотря на это, он певал охотно, выражая в совершенстве, и всегда производил сильнейшее впечатление и в комическом и в драматическом“ (Ц. А. Кюи „Русский романс“, М. 1896, стр. 34—35).

517 Встреча Шевченка с престарелым декабристом (род. 1783), все еще находившимся тогда под секретным полицейским надзором, состоялась 14 мая (см. ниже стр. 297). Штейнгель пережил Шевченка почти на полтора года: он умер 20 сентября 1862 года.

518 Аркадий Васильевич Голенищев, скончивший Морской кадетский корпус в Петербурге в 1809 году, т. е. через семь лет после гр. Ф. П. Толстого (1802), (см. „Обзор

преобразований Морского кадетского корпуса с 1852 года" Спб., 1897, стр. 135 и 110), в год знакомства с Шевченком числился в чине генерал-лейтенанта, „состоящим по морскому министерству" („Адрес-календарь", 1858—1859, ч. I, стр. 345). В отставку он был уволен с производством в полные генералы. 28 декабря 1859 года („Общий морской список", ч. VI, стр. 609—610).

519 Описание барского дома в украинском стиле, построенном Галаганом в 1856 году, в с. Лебединцы, Прилукского уезда, Полтавской губернии, дано самим Галаганом в письме (вероятно, к Л. М. Жемчужникову), напечатанном в „Киевской старине", 1904, № 7 — 8, отд. II, стр. 2 — 5. Возможно, что именно об этом письме идет речь в комментируемой записи дневника,

520 В Большом театре в этот день шла опера Доницетти „Линда ди Шамуни".

521 Иосиф Яковлевич (1835 — 1894) — певец петербургской сцены в 1855—1864 гг., впоследствии приобревший известность в качестве антрепренера, подвизавшегося преимущественно в Киеве. Его настоящая фамилия — Сетгофер (Сетгоф).

522 Барон Петр Карлович Клодт - фон - Юргенсбург (1805—1867)—талантливый скульптор, из работ которого особенно известны четыре группы на Аничковом мосту в Ленинграде, памятник Крылову в Летнем саду, памятник „неудобозабываемому" Николаю I на Исаакиевской площади и памятник вел. кн. Владимиру в Киеве. Встречающиеся ниже отзывы Шевченка о работах Клодта пристрастны (ср. на стр. 288).

523 Зимбулатов — Михаил Иванович Зембулатов, подполковник, состоявший в 1842—1857 гг. преподавателем рисования в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров („Адрес - календарь", 1857, ч. I, стр. 264; „Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища, бывшей школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров", Спб., 1898, приложение, стр. 12). Бориспольц—Платон Тимофеевич Бориспольц (1805—1880), художник, артиллерийский офицер, вышедший в отставку в чине полковника и успешно кончивший курс Академии художеств; почетный вольный общник Академии с 1859 года.

524 Михаил Иванович Сухомлинов (1828—1901)—видный ученый, профессор петербургского университета по ка-

федре русской словесности (с 1852 года), харьковец родом. В 1872 году избран в академики.

[525] Памятник Николаю I работы Клодта поставлен в 1859 году.

[526] Николай Иванович Петров (ум. 1878) — давнишний знакомый Шевченка, питомец Нежинского института (выпуска 1844 года); служил в это время старшим контролером V отделения почтового департамента („Адрес-календарь“, 1857, ч. I, стр. 204).

[527] Николай Степанович Курочкин (1830—1884)—старший брат Василия Курочкина (о котором см. выше стр. 320), врач по специальности, поэт-юморист, библиограф и переводчик, ближайший сотрудник „Искры“. Знакомство его с Шевченком вскоре перешло в дружбу.

[528] Эта рукопись обширного стихотворения Шевченка, написанного еще в 1845 году, до нас не сохранилась. В другом, единственном ныне автографе, оно озаглавлено: „І мертвим, і живим і ненарожденним землякам моім в Украйні і не в Украйні мое дружнее посланіе“. На русский язык оно было переведено А. П. Колтоновским („Кобзарь“, под ред. М. Славинского, Спб., 1911, стр. 116—119) и И. А. Белоусовым („Кобзарь“ в его переводе, изд. 2-е, М., 1919, стр. 147—154).

[529] „Вознесение божьей матери“(большой запрестольный образ).

[530] В современных газетах („Северная пчела“, „Сын отечества“, „С.-Петербургские ведомости“, „Русский инвалид“) нам не удалось найти сведения об „алеутских болванчиках“,—повидимому, каких-то акробатах или фокусниках из разряда „заморских чудищ“.

[531] Резкий отзыв Шевченка о памятнике Крылова работы П. К. Клодта объясняется его художественным воспитанием, приучившим его к напряженной торжественности статуй в античных тогах; немудрено, что несколько интимная „домашность“ клодтовского Крылова показалась ему оскорблением „великого поэта“. Кстати сказать, этот памятник, открытый без особого торжества 12 мая, 1855 года („С.-Петербургские ведомости“, 1855, № 105, 15-го мая, фельетон), имеет свою небольшую, но характерную, историю. Упоминавшийся уже выше (стр. 272) М. М. Попов в одном из своих мемуарных рассказов свидетельствует, что первоначально предполагалось памятник поставить в сквере Александринского театра (где ныне

памятник Екатерине II), но Николай I нашел, что здесь баснописцу находиться не подобает: „близко к фельдмаршалам!“ (т. е к памятникам Кутузову и Барклаю-де-Толли против Казанского собора). Возникло предположение о постановке памятника на набережной Васильевского острова, между университетом и Академией художеств, „но государь и это место нашел слишком видным для писателя“. Тогда пришла идея „упрятать“ Крылова в Летнем саду („Русская старина“, 1896, № 3, стр. 564 — 565; ср. „Клочки воспоминаний“ А. А. Стаховича, М., 1904, стр. 105—106). Через десять лет после записи, сделанной Шевченком в своем дневнике, в „Искре“, 1867, (№ 47, 10 декабря, стр. 584) появилась (за подписью *П. Ш.*), ставшая затем чрезвычайно популярной, стихотворная надпись П. В. Шумахера:

К ПАМЯТНИКУ КРЫЛОВА

Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: о, милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!

532 Алексей Васильевич Тыранов (1801—1859) - художник, воспитанник Академии художеств (1830), в 1839 году получивший звание академика. Одно время он был модным портретистом, но неудача в личной жизни (1844) выбила его из установившейся колеи и едва не довела до сумасшествия. Возможно, что его картина, вызвавшая замечание Шевченка, относится именно к этому несчастливому периоду его жизни. О постоянной выставке художественных произведений, устроенной Обществом поощрения художников „в одном из принадлежащих к Бирже домов, против самого Дворцового моста“, есть заметки в современных газетах („С.-Петербургские ведомости“, 1858, № 74, 6 апреля, стр. 421, фельетон „Петербургская летопись“; „Северная пчела“, 1858, № 96, 5 мая, фельетон „Пчелка“. Газетные заметки“), не дающие, однако, перечня представленных на выставке картин.

533 Популярный в течение долгого времени эстампный магазин в начале Невского проспекта (считая от Адмиралтейства).

534 1-е мая — день традиционного „гуляния“ в Екатерингофе.

[535] В. Л. Модзалевский („Малороссийский родословник", т. III, стр. 760) указывает, что женою М. В. Остроградского была Мария Васильевна фон-Лютцау (ср. „Исторический вестник", 1901, № 12, стр. 1057, где указана другая фамилия—Купфер); один из учеников знаменитого академика по Михайловской артиллерийской академии (1856) рассказывает о его семейной жизни неожиданные подробности: „Остроградский много лет не жил с своей женой, что служило предметом различных толков и сплетен. У нас говорили, что он где-то на станции ночью по ошибке сел в чужой экипаж, в котором уже сидела, как он думал, его жена; когда обнаружилась ошибка, бывшая [в экипаже] женщина посоветовала ему не исправлять этой ошибки, так как его жена все равно уехала с ее мужем. Таким образом они поменялись женами с одним помещиком. Впоследствии мне довелось точно узнать эту историю от человека, очень близкого к Остроградскому. Михайло Васильевич ежегодно ездил в свое имение в Полтавской губернии. Один год жена его уехала в имение раньше мужа, и когда Остроградский приехал, то жена его оказалась у соседа Козельского; Остроградский поехал туда, жену свою не застал там, а нашел все ее платья и вещи, которые показали ему, что жена его окончательно поселилась у Козельского. Он тотчас уехал домой, а вслед за ним приехала к нему жена Козельского и объявила ему, что так как жена его переселилась к ее мужу, то она сама не намерена жить дома, а останется у него в качестве воспитательницы его детей. Более близкие отношения их были созданы сплетней" (В. Г. фон-Бооль, „Воспоминания педагога", „Русская старина" 1904, № 9, стр. 583—584). Вероятно, именно Козельскую (имени и отчества которой нам не удалось установить) Шевченко принял за жену („благоверную") Остроградского. У последнего от брака с фон Лютцау (Купфер?) было несколько человек детей: сын Виктор (род. 1833), не унаследовавший от отца его блестящих математических способностей и много лет спустя умерший в „Доме призрения бесприютных дворян Полтавской губернии" („Исторический вестник", 1901, № 12, стр. 1061), и четыре дочери—Мария, Ольга, Надежда и Софья (В. Л. Модзалевский, „Малороссийский родословник", т. III, стр. 766—767).

[536] Из работ итальянского скульптора Пьетро Тенерани (1789 — 1869) в Эрмитаже находится статуя „Психея",

которую Шевченко называет „Душенькой", вспоминая, вероятно, старую поэму И. Ф. Богдановича „Душенька" (1783), создавшую славу своему автору.

[537] Устроенная российским обществом садоводства „первая выставка предметов садоводства" находилась в здании Гвардейского штаба на Дворцовой площади, в экзерцир-гаузе (см. „Русский инвалид", 1858, № 90, 27 апреля, „Северную пчелу", 1858, № 92, 29 апреля, стр. 421, „Сын отечества", 1858, № 18, 4 мая, стр. 515).

[538] Личность Маслова определить нам пока не удалось (вряд ли это был приятель Тургенева Иван Ильич Маслов (1817 - 1891), черниговец родом, питомец Нежинского лицея (1835), состоявший в это время управляющим новгородскою удельною конторою („Адрес-календарь" 1858—1859, ч. I. стр. 24). Что же касается Уварова — это, вероятно, Сергей Иванович Уваров (1816—1868), статский советник, „старший помощник экспедитора государственной канцелярии" („Адрес - календарь" 1858 — 1859, ч. I, стр. 40; „Список гражданским чинам пятого класса", Спб., 1858, стр. 897; „Петербургский некрополь", т. IV, стр. 318). Вспоминая в автобиографической повести „Художник" о времени своей академической жизни, Шевченко упоминает и о семействе Уваровых — „не подумайте графов: боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них как самый близкий родной" („Поэмы, повести и рассказы Т. Шевченка, писанные на русском языке", стр. 323—324; ср. стр. 344).

[539] Жена С. С. Гулака-Артемовского, рожд. Иванова.

[540] Франц Осипович (Казимирович) Служинский (Слюжинский, Случинский (ум. 1864) – питомец Академии художеств, в 1837 году получивший звание „неклассного художника по части гравирования" (см С. Н. Кондаков, „Список русских художников. К юбилейному справочнику Академии художеств" [Пгр., 1915], стр. 439).

[541] Знаменитый гравер Николай Иванович Уткин (1780—1868) был учителем Служинского в искусстве гравирования.

[542] Намек на несчастливо сложившуюся семейную жизнь Кржисевич.

[543] Киевским предателем Шевченко называет Владимира Михайловича Юзефовича (1819—1889), бывшего

в 1842—1858 гг. помощником попечителя киевского учебного округа, и с 1857 года до смерти—председателем „киевской комиссии для разбора древних актов." Сблизившись в сороковых годах с рядом украинских деятелей—Максимовичем, Кулишом, Костомаровым, он во время ареста участников Кирилло-Мефодиевского общества сыграл в отношении одного из них - Костомарова — роль подлинного предателя, представив „по начальству" черновую рукопись „крамольного" сочинения Костомарова о славянской федерации, которую перед обыском у Костомарова „по дружбе" предложил ему спрятать у себя („Автобиография Н. И. Костомарова", М., 1922, стр. 197 - 198). Можно думать, что и в отношении других лиц, арестованных в связи с этим делом, его роль была не лучше (ср. „Киевскую старину", 1899, № 3, стр. 312). Позже он сделался совершенно открытым сторонником реакции и навсегда связал свое имя с „высочайшим указом" 18 мая 1876 года о запрещении в пределах царской России „малорусского наречия": это распоряжение, надолго остановившее нормальное развитие украинской культуры на территории „российской империи", последовало в результате доноса Юзефовича на ряд киевских культурных деятелей, которых он обвинял в „постепенном, но вместе с тем деятельном и систематическом стремлении... к проведению в народные массы Южной России идеи о самобытности малорус[ской] национальности" („Україна", 1907, № 5, стр. 137). Он приходился двоюродным (а не родным) братом новому знакомому Шевченка — Виктору Владимировичу Юзефовичу (1817—1871), занимавшему должность „обер-секретаря I распорядительного отделения канцелярии св. синода" („Адрес-календарь", 1858—1859, ч I, стр. 111) и умершего управляющим вятской палатой государственных имуществ (некролог—„Вятские губернские ведомости", 1871, № 99).

544 Автора известного дневника (род. 1804, ум. 1877).

545 Константин Петрович Вильбоа (1817—1882) - композитор-диллетант автор нескольких романсов и трех опер — „Наташа или волжские разбойники", „Тарас Бульба" и „Цыганка", из которых лишь первая была напечатана (М., 1861, Спб., 1863) и поставлена на сцене. Может быть, именно о ней идет речь в дальнейших строках записи Шевченка.

546 Личность неизвестная.

547 Личность неизвестная.

548 Торжественное освящение Исаакиевского собора, начатого постройкой 26 июня 1819 года, состоялось 30 мая 1858 года; до этого дня публику пускали в уже оконченное здание собора лишь по особым билетам. Сенатор гр. Александр Дмитриевич Гурьев (1786—1865), председатель департамента государственной экономии в государственном совете, был председателем „комиссии о построении Исаакиевского собора“, а товарищ военного министра кн. Виктор Илларионович Васильчиков (1820—1878)—членом той же комиссии.

549 Польская газета „Slowo“, начавшая выходить в Петербурге с начала 1859 года, под редакцией И. Огрызко, была запрещена после выхода № 15, где появилось письмо польского историка Иоахима Лелевеля; несмотря на невинность содержания самого письма, Огрызко был посажен в крепость и газета запрещена — и все из-за того, что имя Лелевеля, участника польского восстания 1830 года, было в России сугубо запретным: он первый подписал революционный акт о свержении Николая I с польского престола (см. заметку М. К. Лемке в полном собрании сочинений и писем А. И. Герцена, т. IX, стр. 544—550).

550 О встрече с Шевченком в мае 1858 года на подобном же вечере в какой-то, повидимому, „великосветской“ семье, рассказывает в своих воспоминаниях известный кавказский деятель А. Л. Зиссерман, тогда только что приехавший с Кавказа: „В одном знакомом доме вечером встретил я двух известных поэтов: Бенедиктова и Шевченку. Первый производил когда-то на нас, юношей, немалое впечатление своими трескучими стихами, своими „очами темнее ночи“ или „локонами, обвивающимися как змеи“, вообще в этом роде; второй был нам менее известен, хотя мы слышали о его ссылке, его страданиях, его своеобразной малороссийской поэзии и кое-что читали в рукописи. Одетый в какой-то оригинальный полуазиатский, полухохлацкий костюм, Тарас Григорьевич напоминал чистокровного малоросса, каких на каждом шагу встречаешь в юго-западных губерниях. Бывший на этом вечере певец Артемовский своим сильным басом [sic] пропел несколько малороссийских песен, и нужно было видеть Тараса, таявшего от восторга...“ (А. Л. Зиссерман, „Двадцать пять лет на Кавказе“—„Русский Архив“, 1885, кн. II, стр. 144).

551 Н. И. Толстая сдержала свое обещание—и с начала июня Шевченко поселился в небольшой квартире из двух

комнат в помещении Академии художеств (рядом с б. церковью) и прожил здесь до последнего дня своей жизни. См. в статье Н. С. Лескова, „Последняя встреча и последняя разлука с Шевченком“ (Н. С. Лесков, „Избранные рассказы“, под ред. Л. П. Гроссмана, М.-Лгр., 1926, стр. 199—200; первоначально — „Русская речь“, 1861, № 19—20, стр. 314).

[552] Микешин Михаил Осипович (1836—1896),—талантливый художник и скульптор, автор не вполне достоверных воспоминаний о Шевченке (1876), изображенный в повести Лескова „Островитяне“ (1866) под именем художника Истомина. Ему принадлежат иллюстрации к „Кобзарю“ („Иллюстрированный Кобзарь“, М. 1896) и портрет Шевченка, приложенный к „Кобзарю“ в издании 1860 года. Эта книга имеется в Пушкинском Доме с авторской надписью на шмуцтитуле: „Михайле Осиповичу Микешину. На память, автор. 5 февраля 1860. Глебовский — Станислав Хлебовский (род. 1835), питомец Академии художеств, получивший вторую золотую медаль за картину „Ассамблея при дворе Петра Великого“, которая находилась на выставке Академии в апреле 1858 года („Указатель художественных произведений, выставленных в музее имп. Академии художеств“, Спб., 1858, стр. 2); в 1859 года ему была присуждена первая медаль за картину „Императрица Екатерина II принимает запорожских казаков“ и тогда же он получил звание „классного художника живописи de genre“. В 1862 году отправлен пенсионером Академии за границу на шесть лет (С. Н. Кондаков, „Список русских художников. К юбилейному справочнику Академии художеств“, стр. 211). Этими данными ограничиваются наши сведения о нем.

[553] Повидимому, Константин Елисеевич Троцина (род. 1827) — полтавский помещик, один из земляков и приятелей Шевченка, питомец Нежинского лицея (выпуск 1847 года); впоследствии (1887) был нежинским уездным предводителем дворянства („Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко в Нежине, изд. 2-е, Спб., 1881, стр. 464—469 и LXXX; гр. Г. А. Милорадович, „Родословная книга черниговского дворянства“, т. II, ч. VI, стр. 200). Он напечатал несколько статей по истории судопроизводства и по крестьянскому вопросу.

[554] Ресторан в Петербурге (на Большой Морской улице)— такого же фешенебельного стиля, как и ресторан Бореля,

упоминавшийся выше (стр. 280); они находились друг против друга—через улицу.

555 Макаров—Николай Яковлевич (1828—1892), служивший тогда в канцелярии государственного контроля („Адрес-календарь“, 1858—1859, ч. I, стр. 269). Питомец Нежинского лицея, он начал службу в Петрозаводске совместно с В. М. Белозерским, благодаря которому его интересы обратились в сторону украинской литературы и культуры; в годы, к которым относится дневник Шевченка, он стоял в центре украинского кружка; еще раньше, в начале пятидесятых годов, он довольно деятельно сотрудничал в „Современнике“ и „Вестнике Географического общества“, печатая там компилятивные статьи. Ему посвящено глубоко интимное стихотворение Шевченка „Барвінок цвів і зеленів“, связанное с любовью Шевченка к крепостной семьи Макаровых — Лукерье Полусмаковой (ср. выше стр. 405).

556 БРАТУ ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ

Сын народа—вождь народный,
Мученик, твой путь прекрасен,
Лавр славы благородный,
Как и песни, скорбен, ясен.

Два венца обрел сплетенных,
Оба дивны, но кровавы—
Ты трудился не для славы,
А для братьев угнетенных.

Им сдавили стоны муки—
Ах! и стоны—преступленье,
Громким эхом во мгновенье
Повторил ты эти звуки.

Каждый стих, предел страданья,
Жгучей болью наносимый,
Ты оплакал до созданья,
Духом свыше осененный.

Скорбный! видишь чудо слова?
Как никто не спрячет снова
Солнца днем,—так не посмеет
Слово смять рука тиранов;

Слово—божье и имеет
Бардов вместо капелланов—
Мрак и холод зимней ночи
Гонит солнечный восход—
И к свободе путь короче,
Если дал вождя народ!

Антоний Сова.

(Перевод Г. Д. Вержбицкого, исполненный для настоящего издания). Стихотворение Желиговского (ср. выше стр. 394—395), вписанное в дневник Шевченка рукою самого автора, впервые появилось в сборнике его стихотворений „Poezye Antoniego Sowy". Petersburg, 1857, стр. 165—под заглавием „Do poety ludu (z. Bulgarskiego)", с кое-какими вариантами, и, главное, без последних 4 строк. Нужно думать, что при создании своего стихотворения Желиговский имел в виду именно Шевченка и лишь по цензурным соображениям утаил в печати его имя и в подзаголовке сослался на мнимый болгарский оригинал. Стихотворение это имеется также в украинском переводе М. Школиченка (журн. „Правда", 1894, № 11; см. М. Комаров, „Вінок Т. Шевченкові із віршів...", стр. 12—13).

[557] В подлинной рукописи дневника запись этой песни сделана рукою Д. С. Каменецкого.

[558] Юбилей А. М. Гедеонова, стоявшего в течение двадцати пяти лет во главе императорских театров, был отпразднован 25 мая 1858 года.

[559] Под таким заглавием нам известно анонимное стихотворение, появившееся в „Полярной звезде" на 1861 год кн. VI, стр. 200—202 („Я странный видел сон. Мне снилось, будто где-то"). Может быть оно расходилось раньше в рукописях и его-то и прочел Щепкин в тесном кругу друзей и близких знакомых.

[560] Николай Иванович Ильин (1777—1823)—драматург и переводчик, подражатель Коцебу (см. выше стр. 351).

[561] Знаменитый московский актер Пров Михайлович Садовский (настоящая фамилия Ермилов, 1818—1872), создавший роль Расплюева в этой пьесе А. В. Сухово-Кобылина, был в те дни в Петербурге на гастролях. „Садовский-Расплюев, — писал один из тогдашних обозревателей петербургской жизни, — это верх совершенства, это одно из тех явлений сценического искусства, перед которым останавливаешься в недоумении" („Сын оте-

чества", 1858, № 21, 25 мая, стр. 598 – 599; ср. „С-Петербургские ведомости", 1858, № 95, 4 мая, стр. 558, и „Клочки воспоминаний" А. А. Стаховича, М., 1904, стр. 89 и сл.).

562 Василий Васильевич (1812—1887), не менее прославленный, чем Садовский, петербургский актер, всегда заранее вдумчиво прорабатывавший и изучавший свои роли; он замечателен по исключительному „диапазону" своего репертуара—от классических трагедий до пошлого водевиля.

563 Небольшая актриса Александринского театра, выступавшая в 1852—1877 гг. (А. И. Вольф, „Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года" [ч. III], Спб., 1884, стр. 80).

564 Опера Джузеппе Верди (1813—1901).

565 В подлинной рукописи дневника песня записана рукою Ивана Матвеевича Лазаревского (ум. 1887), младшего из шести братьев Лазаревских, тогда студента петербургского университета.

566 Популярный герой украинских народных преданий, „справедливый разбойник" из беглых крепостных, беспощадный к богатым, „благодетель" бедных, щедро, помогавший им из своей разбойничьей казны. Он был убит в 1835 году в столкновении с полицией (род. 1790).

567 Тимко Падурра (1801—1871)—поляк по происхождению, украинский поэт, принадлежавший к польской школе в украинской литературе. Шевченко ошибся, приписав ему песню о Кармелюке: она, очевидно, принадлежит совсем другому лицу (ср. „Киевскую старину", 1892, № 3, стр. 372).

568 Посвященное позже М. А. Маркович, это стихотворение появилось впервые в „Русской беседе", 1859, кн. III, (15), стр. 5—6, с некоторыми вариантами и с исключением последних двух строк. Приводимый перевод А. Н. Плещеева сделан с этого окончательного текста („Кобзарь Тараса Шевченко в переводе русских поэтов", под ред. Н. В. Гербеля, изд. 3-е, стр. 103—104).

СОН

Она на барском поле жала
И тихо побрела к снопам—
Не отдохнуть, хоть и устала,
А покормить ребенка там:

В тени лежал и плакал он.
Она его распеленала,
Кормила, няньчила, ласкала
И незаметно впала в сон.

И снится ей: житьем довольный—
Ее Иван.. пригож, богат..
На вольной, кажется, женат—
И потому, что сам уж вольный...

Они с лицом веселым жнут
На поле собственном пшеницу;
А детки им обед несут...
И тихо улыбнулась жница.

Но тут проснулась... Тяжко ей—
И, спеленав малютку быстро,
Взялась за серп—дожать скорей
Урочный сноп свой до бурмистра.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ



Цена 4 руб. Папка 50 коп.